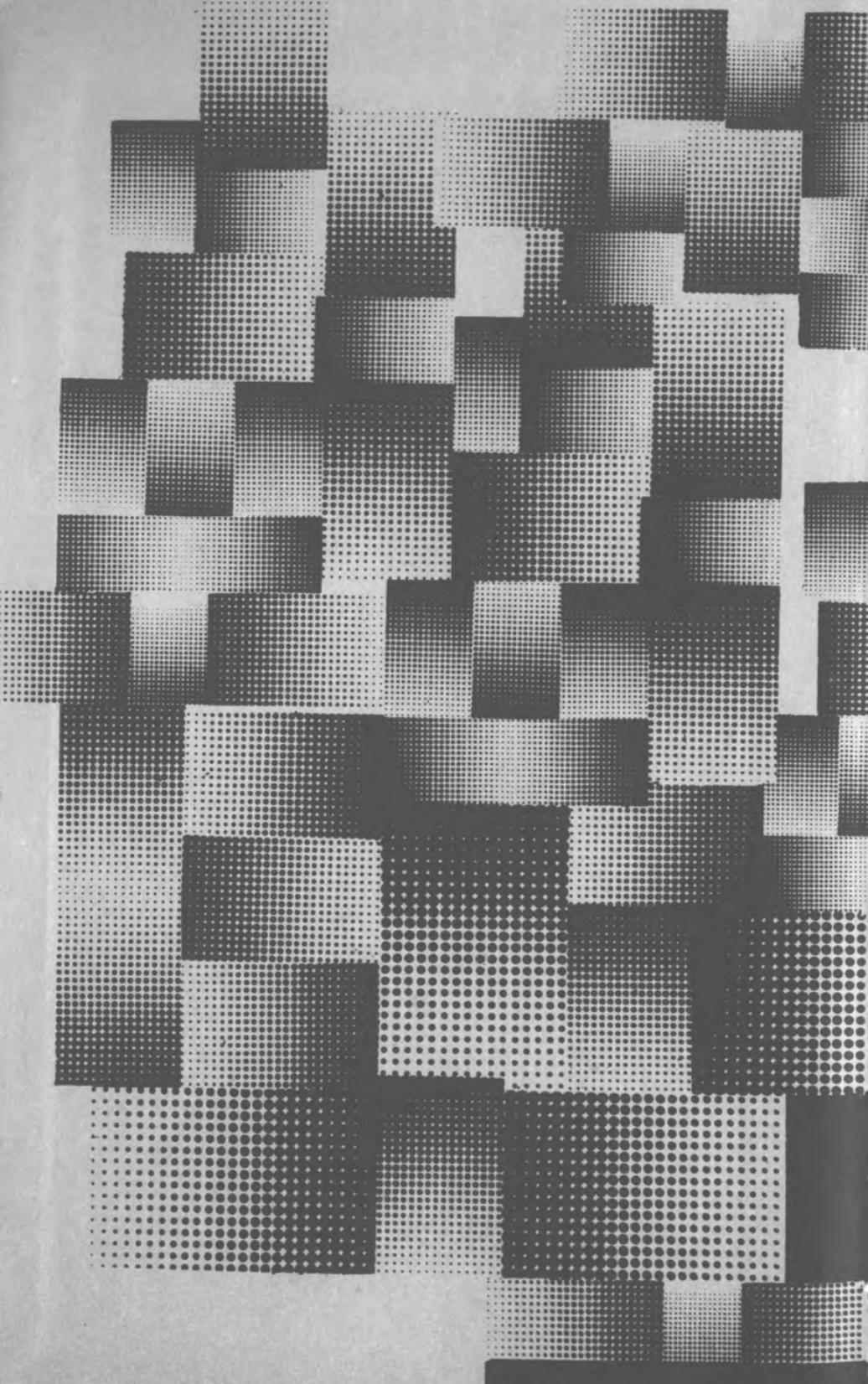




ИОСРЕБИКЕР ИВИК







**АХТО
ЛЕВИ**



**ПОСРЕДИНЕ
ПУТИ**

РОМАН

МОСКВА
«СОВРЕМЕННОК»
1990

ББК 84Р7
Л36

$\frac{4702010200-014}{M106(03)-90}$ 90—90

ISBN 5-270-00732-0

© Издательство «Современник», 1990

*Памяти учителя
Густава Матто —
посвящаю*

Тысяча девятьсот шестьдесят восьмой год был для меня значителен тем, что напечатали мои «Записки Серого Волка».

Писать я начал давно. В девять лет из-под «моего пера» выходили потрясавшие поклонников в коротких штанишках истории о невероятных приключениях. Я также вел дневники, в которых бесцельно фиксировал состояние погоды и качество каши, которую варила мама. Я не затруднял себя какими-либо мыслями — их, в сущности, было очень мало.

Мысли стали возникать, когда в моей жизни появились любовь, ненависть, страх. Но и тогда я еще не очень четко сознавал, почему тянет писать. Просто образовалась такая привычка, я видел в ней возможность сказать то, что хотел, не боясь быть осмеянным, не боясь возражений, быть правым хотя бы для себя. Правыми хотят быть очень часто и самые неправые в своих делах. Так что здесь-то и появилась пока еще подсознательная цель — освободиться. Быть свободным хоть на бумаге, в то время когда физически то так, то этак я все более и более лишался свободы. Но и на бумаге это было доступно только потому, что я не предвидел ни возможности, ни необходимости печататься. Это появилось позже, отчасти случайно. Возможно, когда и я — кто знает! — стану писать мемуары, об этом расскажу.

Но «Записки Серого Волка» были сделаны уже сознательно. Это был не первый, но один из самых значительных шагов к свободе. Тогда наконец-то слово «свобода» заняло прочное положение на моих страницах... Очень важное слово не только для меня.

Подчеркну, что я не писатель, в моем удостоверении личности написано — литератор, то есть занимаюсь литературным трудом по мере своих способностей и этим живу. Писатели же в моем представлении — люди все-сторонне образованные и умственно развитые или же необычайно одаренные. Писатель к тому же должен быть



глубоко принципиальным, то есть его слово не должно расходиться с делом, а его личная жизнь должна соответствовать тому, что он в своих произведениях пропагандирует. Слава богу, что в мире таких писателей много.

Итак, сначала было освобождение от страха, когда не боишься боли, когда кидаешься в драку, не боясь быть избитым (на самом деле ты всегда боишься, но в драку тем не менее кидаешься).

Затем освобождение от страха быть убитым, когда бежишь в тайгу от конвоя, зная, что по тебе будут стрелять. Ты, конечно, боишься здорово, но все равно бежишь. Это, конечно, не то, что на войне бросаться в атаку,— там поднимают приказ командира и сплоченность товарищей, коллективная воля; только на амбразуру кидаются в одиночку, без приказа, подчиняясь собственной воле. Сопоставление получилось неудачное: кидаться на амбразуру человека заставляет совсем иное нравственное начало, чем кидаться в тайгу от стреляющего по тебе конвоя... но тоже заставить себя надо.

Потом последовали другие переоценки ценностей, другие освобождения. Здесь, во-первых, понимание свободы, достигнутой законно, и свободы незаконной,— они неодинаковы. Когда я обставлялся в первой в своей жизни квартире, то понял, что, кроме свободы вообще, никакие ценности значения не имеют, так что прав был Сократ, сказав, что в мире до черта барахла, которое ему абсолютно до лампочки.

Так что выход из тюрьмы вовсе не означает полного освобождения. Надо избавиться от вранья и притворства, быть самим собой от начала до конца и не стараться казаться лучше, чем ты есть. Это и есть самое трудное. С другой стороны, если даже плохой человек может, то есть если он однажды захочет быть лучше самого себя, значит, и он в состоянии стать нормальным человеком, а это уже кое-что. А как можно быть лучше самого себя? В глубине души большинство людей знают, что они собой представляют, и стараются замаскировать свою сущность. Даже при наблюдении за людьми в городском транспорте не оставляет мысль, что они, выходя из дома, надевают маску — самые простые, обыкновенные, даже хорошие люди: на лицах неприступность, подчас высокомерие, что-то недружелюбное, отталкивающее. Многие люди всю жизнь ходят в масках, а их надо сбрасывать!

Так было и со мной. Тоже носил их немало. И «Записки Серого Волка» — одна из них. Тем не менее сам факт, что они появились, что их напечатали, приблизил меня на приличный шаг к свободе. Ведь «Записки» были историей «о себе». Читатели захотели узнать о жизни Серого Волка дальше, и я написал еще одну книгу «о себе» — «Улыбка Фортуны». Название соответствует содержанию книги: в это время я встретил друга, то есть маленького Зайчика, и в кои-то веки мне улыбнулась фортуна. Книга фактически состоит из двух отдельно написанных произведений — романа «Что было потом» (о том, как Серый Волк осваивался на воле) и другого романа — «Улыбка Фортуны». Автор мыслил не очень гибко, писал неуклюже, потому редактор из обеих книг подсократил по половине, оставшееся склеил и один какой ни на есть, но роман все-таки выкроил. Это был еще один шаг к освобождению.

Затем с грехом пополам я написал новую историю «о себе» в романе «Бежать от тени своей»... Это был рассказ об освобождении от алкоголизма.

Я вдруг понял — истории «о себе» могут стать моей работой. Ведь что-то же должен делать и я в этой жизни, а поскольку меня печатают и читают, то в чем дело? Ведь образования у меня кот наплакал, специальности — в нормальной жизни непригодные... Конечно, мой герой сам по себе не ахти какой, все «я» да «я».. Но ни в одной из этих историй нет речи обо мне конкретно. Однако кто все их последовательно прочтет, тот и обо мне что-нибудь узнает, если захочет. Главным же образом они рассказывают о жизни человеческой, которую автор стремится узнать и понять.

В то же время моему «я» так или иначе необходимо во что бы то ни стало пробиться к свободе — это цель жизни. Кое-кто подумает с иронией: нашел к чему стремиться! Что ж, каждому свое. Но для меня путь к освобождению еще не окончен, хотя никогда я не стоял к свободе ближе, чем сегодня, когда нахожусь посредине моей дороги жизни.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Мое знакомство со Старой Дамой началось лет пятнадцать назад, когда она и ее отец прислали мне письмо. Они упрекнули меня в том, что предпочитаю жить на чужбине. Генеральная идея их послания: я — эстонец, следовательно, моя земля — Эстония. Москва для меня чужой край, и жить там — ненормально. Вот так. Причем ни имя, ни фамилия автора мне ни о чем не говорили, из подписи «Таймо» я даже не понял, какого пола человек. Очень коротко и вежливо я ответил, что родиться где-либо не значит иметь там дом, а следовательно, и возвращаться-то некуда. В то же время в чужом краю у меня друзья и собственное жилье.

Отвечая, я был уверен, что пишу какому-нибудь тартускому студенту, переполненному националистическими сентенциями. На этом переписка оборвалась, но адрес корреспондента у меня сохранился. В Тарту же я оказался шесть лет спустя, проездом. До поезда в Ригу оставалось несколько часов, и я решил отыскать моего студента, чтобы не было скучно коротать время.

По адресу, в квартире номер девять, никого не застал. От проживающих по соседству старика и старухи узнал, что адресат может находиться на работе или в гимнастическом зале. Последнее еще более убеждало: студент. К сожалению, в эстонском языке отсутствует разделение людей на «он» и «она»... Мне посоветовали позвонить на работу и сообщили номер телефона.

Я позвонил из автомата, ответил женский голос:

— Я вас слушаю.

— Можно мне поговорить с Таймо? — спросил я.

Мне ответили, что пойдут искать. Вскоре я услышал другой женский голос:

— Я вас слушаю.

Я опять сказал, что имею желание поговорить с Таймо.

— Так я вас слушаю.

— А вы разве... не мужчина? — задал я, вероятно, не слишком толковый вопрос. В ответ в телефонной трубке засмеялись и спросили:

— А почему, собственно, мне надо быть женщиной? Наверное, вас кто-то разыграл...

Спустя час ко мне на вокзале подошла седоволосая женщина в старомодных очках и, улыбаясь, представилась:

— Вот видите, я не только женщина, но еще и старуха.

Странно, но с этим я сразу же согласился, хотя ей было тогда столько же, сколько мне сейчас. Но самого себя я старым почему-то вовсе не считаю. Ну да, тогда-то я был намного моложе. Да и теперь, когда ей седьмой десяток, а мне пошел шестой, я по-прежнему считаю ее Старой Дамой. Но любопытно, как я буду относиться к своему собственному возрасту, когда мне стукнет столько же, сколько ей теперь, если «стукнет»...

Я был приглашен к ней домой. По дороге (разумеется, шли пешком) она рассказала, как читала обо мне, как решили с отцом мне написать; он умер пять лет назад в возрасте восьмидесяти девяти лет.

На улице Пуйестее поднялись по крутой лестнице на второй этаж дома и уперлись в дверь, на которой была приклеена картинка: мальчик, спустив штанишки, сидит на горшке. Ясно, что эта дверь вела не в квартиру. В нее мы попали через другую, рядом. Это было крохотное жилище.

— Вот здесь мой дом уже тридцать с лишним лет,— сказала она гордо.

Эстонцы чаю предпочитают кофе. Чтобы я не скучал, пока он варится, она включила радио, не переставая в то же время рассказывать истории из своего детства: об отце, о брате, и я был вынужден все это усвоить вместе с ариями из оперетт Кальмана. Наконец кофе был на столе, и только теперь она поинтересовалась моей жизнью — есть ли у меня дом и есть ли у меня жена.

Почему-то женщины всегда этим интересуются, словно это так уж важно. Я рассказал Старой Даме, как появился в моей жизни жена, которая всего боится: чужих людей, пожара, протекающих кранов (Старая Дама призналась, что сама боится протекающих кранов), темноты, воров. Но улицу переходит, не поглядев ни налево, ни направо, заботясь лишь о том (если дождь), чтобы не забрызгать чулки... Конечно, рассказывал я дальше, всем

этим страхам объяснение есть: во время войны, когда моя жена с мамой проживали где-то в подвале, их не раз обкрадывали, забирая последние хлебные карточки, да и пожары были, все это оставило след на всю жизнь; они лишились своего скудного имущества, а бедность все-таки большое свинство.

Я обратил вдруг внимание, что совсем заговорил Старую Даму. Эту свою склонность я вообще-то знаю и обычно стараюсь свою речь контролировать, чтобы сдерживать вовремя извержение моих «умных» мыслей. Но существует сорт людей, которые своей реакцией на твои высказывания как будто провоцируют тебя на дальнейшие излияния. К таким можно отнести и Таймо: когда в моей речи иногда возникают вопросы или обращения, требующие согласия или отрицания от собеседника, она с готовностью, даже подпрыгивая на стуле, восклицает:

— Ну конечно! Да, да... — и смотрит так, словно это именно она сама и хочет меня убедить, насколько я прав. Когда же она мне не поддакивала, то слушала не перебивая, иногда я улавливал в выражении ее глаз как будто тоску, и мне думалось, что, наверно, ей не нравятся те люди или моменты, о которых я в это время рассказывал. Только никакими словами она это не подтверждала. Постепенно мне стало казаться, что она, словно японка, никогда не произнесет слова «нет», а точнее — она не любит высказываться в отрицательном порядке.

Так или иначе, но мне надо было закругляться, не забывая, что хорош тот гость, который вовремя распрощается. Ради приличия я все же поинтересовался, почему, собственно, они с отцом мне написали и почему считали, что мой дом возможен только в Эстонии, ведь живут же в Эстонии русские уже более тридцати лет и как будто несколько не тяготятся этим.

— Не знаю, — произнесла она задумчиво, немного даже с грустью. — Если я живу в своем маленьком жилище тридцать с лишним лет, то ничего мне больше не нужно; пусть мне предлагают самую роскошную квартиру с центральным отоплением, с горячей водой, с ванной — я ни за что эту свою убогую квартиру не поменяю. Здесь печь дымит, надо разобрать, отремонтировать. Когда соберусь — неизвестно. Да и туалет зимой замерзает, воду спустишь — все на нижних соседей пойдет, и надо тогда бегать в другой подъезд в общий туалет; ночью особенно неудобно. Но я не представляю,

чтобы я где-нибудь в другом месте жила. И отец здесь жил и умер здесь. А я сюда поселилась во время оккупации, когда и паспорта не имела, а меня был немецкий аусвайс, да никто по этому аусвайсу не мог сказать, кто я — женщина или мужчина; немцы написали имя, фамилию и еще, что я бриллентрегер — очко-носитель. А когда фронт пришел в Нарву, мы с Михкелем из Силласте ушли самыми последними после того, как я всех своих девчат увела с немецких укрепительных работ, куда нас гоняли, мы им там ров должны были рыть, а русские самолеты летали уже низко над головой и стреляли из пулеметов. Я сказала девчатам, чтобы все бежали домой, и мы побежали, а немец кричал: «Хальт!» Я ему показала наверх и сказала: «Не ори, а смотри туда, видишь пятиконечные звездочки, красные!» И затем мы побежали. Домой пришла, теткина двоюродная сестра Тилулилу Линда погнала меня корову доить. Корова паслась у дороги. Рядом один немецкий офицер и два солдата взрывали телефонные столбы. Моя черная корова так испугалась взрыва, что меня опрокинула, молоко разлила и убежала. Лежала я в луже и плакала от обиды, а тут, слышу, кто-то надо мной хохочет — эти три немца за животы держатся. Встала я и от злости оставшееся в подойнике молоко выплеснула им в морды: «Нате вам в последний раз эстонского молока, больше не дадут!», показала язык и убежала, а они все ржали вдогонку.

Когда с Михкелем добирались в Тарту на его лошади — а отец уже в Тарту жил, — немцы остановили все повозки и велели мужчинам аусвайс показать. Только мужчинам. У Михкеля аусвайса не было, и я ему сразу свой передала, ведь из моего никто не понимал, чей он — мужчины или женщины, фотокарточки не было, было лишь написано «бриллентрегер». Но Михкель очков не носил. Я напялила ему на нос свои. Так нас пропустили и...

...В общем, я обалдел, как говорится, но выслушал эту предлинную историю до конца, ведь она же меня слушала. Только на восклицание типа «Ну конечно!» у меня не осталось даже малейшей паузы. В результате мне уже на все было наплевать, потому что мой поезд давно находился на подступах к Риге...

Конечно, я обещал ее навестить, если случится оказаться в Тарту. И ушел на вокзал добывать би-

лет на следующий поезд. Был август, дул ураганный ветер, была гроза.

2

Теперь май, но день стоит ясный и теплый, хотя какое будет лето, еще не скажешь. Лежа в гамаке, я могу сосчитать все сосны, растущие на левом берегу озера. Но я их уже давно все сосчитал — их семьдесят девять, тех, что мне видны, когда лежу в гамаке головой на запад. Я только что искупался, и что это за скука и красота одновременно — купаться в озере одному. Ни одной человеческой единицы вокруг, только вороны, дятлы, белки, и синички еще, проявляют любопытство. Сколько сейчас горожан по всей стране, по всем странам и континентам отдали бы не знаю что, лишь бы очутиться здесь. Но нет, благодарю. Мне они не нужны. Купаться одному скучно, но это лучше, чем окружающие тебя где-то на юге, на пляже, орущие, шумящие, жующие, пьющие, оставляющие на каждом шагу после себя горы объедков, бумаги, окурков и другого мусора человеческие толпы.

Здесь чисто настолько, что даже трудно современному горожанину понять, да и мне трудно описать — чисто, и все. И тихо. Самолеты, единственно, где-то на невидимой высоте летают, слышен шум их моторов, но он как будто вне действительности, настолько отдален. Гамак — вот изумительное изобретение. Колесо, говорят, было самое прогрессивное изобретение еще миллиард или триллион лет назад и от него пошла цивилизация... Не знаю. Для меня колесо — ноль. Сюда, на Черное озеро, на колесах не добраться — только на своих ногах, и то изрядно попотев. Не будь так, не было бы здесь давно уже ни чистоты, ни тишины и покоя. Человек обожает оставлять везде следы своего пребывания, так он ужасно тщеславен. Вероятно, так было бы и со мной, но мне ведь пришлось воспитываться в сознании, что нельзя, что прямо-таки опасно оставлять какие-либо следы после себя. Что ни говори, а воспитание — великая вещь!

С Таймо мы подружились основательно. Благодаря ей мне в какой-то мере удалось восстановить знание эстонского языка. Она стала мне регулярно высылать в Москву литературу: журналы, газеты, причем мне очень понравилась тартуская «Эдази». Газета небольшая, намного мень-

ше центральных, но насыщенная. Притом техника подачи информации предельно проста: вначале сведения об основных событиях в городе и стране, сжато и ясно, потом таким же образом обзор международных событий; ухитряются напечатать что-нибудь с продолжением — роман или публицистику. На последней же странице объявления о похоронах, о купле-продаже, обмене и находках-потерях. Можно встретить объявление: «Потерян кошелек с крупной суммой денег и золотыми кольцами. Честного человека, нашедшего кошелек, просим доставить по данному адресу за вознаграждение»... (Интересно бы узнать, какова сумма вознаграждения в сравнении с потерей.)

Естественно, бывая в Тарту, я всегда наносил визит Старой Даме, как и обещал, чтобы дать ей возможность что-нибудь подарить мне. Обычно это запонки (у меня их набралась со временем целая коллекция, хотя уже давно не ношу сорочек с галстуком и с запонками). Иногда она мне дарила рубашки, еще носки, носовые платки. Еще — собственноручно связанные вещи: шарфы, перчатки, те же носки, и Зайчишке что-нибудь — платье, шаль, перчатки. У Таймо вообще страсть делать подарки. У нее имеется список с датами рождения многих людей, и она всем что-нибудь посылает, хотя сама не получает ничего ни от кого.

Когда же она стала обижаться, что я останавливаюсь в гостинице, мне пришлось отказаться от удобств и жить у Таймо на Пуйестее, что само по себе было связано с небольшими неудобствами. Во-первых, соседи: они никак не могли понять характера моего контакта с Таймо, а понять им очень хотелось. Не то что характер контакта, они меня никак и увидеть не могли, ведь насчет следов я уже говорил... Но они знали, что у Таймо время от времени происходит что-то необычное, с их точки зрения, ибо иногда на ее бельевой веревке с женскими предметами туалета непривычно соседствовали мужские рубашки. Да и стены, наверное, позволяют (если прижаться к ним ухом) разобрать, что Таймо с кем-то разговаривает. Правда, Таймо говорит и тогда, когда совсем одна, хотя совсем одна она (как и никто из людей) не бывает: она разговаривает с воробьями за окном, с пауком в углу, с мухами на потолке (очень враждебно), с многочисленными своими кактусами, с медной отцовской трубой (кларнет), с испорченным дверным замком, с крапом, которому вздумалось начать течь,— у нее уйма тех,

с кем можно говорить. Среди всех особо выделяется олимпийский мишка, мною подаренный, и игрушечная мягкая маргышка. Но, разумеется, все здесь перечисленное молчаливо, тогда как я отвечаю ей. Такую разницу соседи, естественно, заметили.

Но увидеть меня они не могли. У Таймо отдельный вход прямо с улицы, да и окна расположены неудобно. Соседи — старые люди — всячески старались выяснить обстановку. Они, кажется, спали на своих подоконниках, которые в сторону улицы, чтобы увидеть, когда я вхожу или выхожу, но все напрасно. А носки мои и рубашки нет-нет да и сушились во дворе — это факт. Что носки! Что рубашки! Если бы они еще могли увидеть мой портрет на полке...

Конечно, такое повышенное внимание соседней является до некоторой степени неудобством, но гораздо большее неудобство заключалось в самой Старой Даме, с которой мы делили ее небольшую, до предела загроможденную квартиру. В сущности, мы всегда были как пассажиры купейного вагона: когда мне надо ложиться, она удаляется на кухню, и наоборот. Ночи для меня лично были бессонными. Она оказалась первоклассной храпуньей и храпела мастерски, просто музыкально, с богатым регистром. На мои робкие призывы повернуться на другой бок она не реагировала никогда, она их не слышала. Поскольку же между нашими кроватями стоял массивный квадратный стол на колесиках, я этот стол толкал, и он стучался о ее кровать. Тут она испуганно вскакивала, затем, уяснив ситуацию, ложилась, и вскоре все снова повторялось. Если же я ее будил три раза подряд, она обиженно уходила на кухню, устраивалась там в глубоком кресле и храпела без помех до утра. Наутро с ее стороны никакой обиды, всегда бодрое: «С добрым утром!»

Еще одно неудобство заключалось в Таймо — ее разговорчивость. Она мне постоянно о чем-нибудь и, что еще хуже, — о ком-нибудь рассказывала. Конечно, она рассказывала живо, иногда в лицах изображая какое-нибудь событие. Но если бы я хоть кого-нибудь знал из тех, о ком она говорила...

Ну что для меня могло быть интересного в том, что тот женился когда-то, сто лет назад, на той, которая любила на самом деле того, а тот опять любил ту, которая была влюблена в этого, и у них родились дети, из которых три мальчика выросли и поже-

нились (перечень, кто на ком женился) и три девочки, которые тоже выросли и вышли замуж (перечень — за кого они вышли замуж), а этот умер, после чего и эта заболела и вскоре померла?

Причем такой длинный рассказ об этом или другом, или еще о чем-нибудь надо было слушать в сопровождении радио, иногда под джаз, иногда под поп-музыку, случалось и в сопровождении ансамбля «Длинные носы».

Еще не зная хорошо Старую Даму, я стремился вникнуть в суть ее рассказов, но это было чертовски трудно, потому что они, как правило, походили на фильм «Рукопись, найденная в Сарагосе», то есть ее рассказ никогда не кончался, он постоянно переходил на новые рельсы.

Позже я догадался, что в то время, когда она мне рассказывает, достаточно лишь смотреть ей в глаза, слушать радио и время от времени произносить «да», «да»... Или же «О, да»... А можно было сказать: «Ну конечно!» Или что-то в этом роде. Еще позже я установил, что и в глаза ей смотреть тоже не обязательно, можно читать книгу, иногда, оторвавшись, говоря: «Ах, так?..» А можно было, как я быстро затем убедился, ничего не говорить, а делать спокойненько свое дело — читать, писать или даже спать.

Да, приезжая в Тарту, я всякий раз оказывался в трудном положении: поселившись в гостинице, встречу Таймо и — обида (значит, я пренебрегаю ее домом, мне у нее плохо); поселившись у нее — подарки, храп, рассказы в рассказах с песнями Лещенко. Город ведь небольшой, несмотря на то, что является вторым и по величине, и по значению в республике. Но Таймо — мой друг. Вот в чем дело. Но почему? Да кто же это может объяснить, почему она ко мне с такой любовью относится?

Конечно, по дому пошли разговоры: к Таймо мужчина повадился. Нас с нею, наверное, любовниками сочли, ведь людям свойственно отыскивать в других собственные склонности. А любви, говорят, все возрасты покорны. Но для меня было важно, что нашлась такая женщина, друг, которая от меня ничего не хотела. Потому что, если женщина с тобой очень близка, у нее есть к тебе свой интерес, и если ты как-то или в чем-нибудь не удовлетворишь этому интересу, тебе несдобровать. Когда же человек тебя любит за что-то свое, просто как чело-

века — на него можно положиться во всем, никогда не бросит, не предаст.

Сколько раз, бывало, я приходил к Таймо обворованный, разбитый, кровью залитый, ободранный, грязный! Обстирала, обштопала, денег дала, продуктами снабдила в путь-дорогу — и без единого упрека.

В первое время от ее храпа я приходил в ужас. Но привычка — большое дело. Ко многому можно привыкнуть, все зависит от твоего отношения к явлению, а я относился к Старой Даме с исключительным уважением и любовью. Здесь и обратил внимание на такую деталь: удивительно приятно любить именно тех людей, которые любят тебя. Тем более что я, наоборот, терпеть не могу тех, кто относится ко мне плохо. Потому-то я и сказал самому себе: пускай Старая Дама храпит, как ведьма, ведь она же не ругается, когда у меня болит голова по моей собственной вине, она никогда не возражает, даже когда не согласна, что видно только по ее глазам; а я очередной раз убеждаюсь, что любят-то люди все-таки сердцем и ничем другим, все другое имеет к любви лишь приложительное отношение. Неприятно, когда она тянет носом, но... она же меня любит.

Итак, я стал к ней привыкать, и у меня выработался определенный стиль поведения с ней. Ведь и ее говорливость объясняется просто — одиночеством. Не станет же человек просто так выяснять отношения с дождем и облаками, да бельевой веревкой, да с уличными кошками. Однажды она, провожая меня в аэропорт, сидя рядом в автобусе, уткнув свой крупный нос в стекло окна, произнесла с грустью: «Сегодня и домой-то идти неохота (а я у нее пробыл недели две), что там делать?» Она имела в виду, что никого дома нет.

— А медведь олимпийский?

— Но он же не разговаривает,— ответила Таймо.

Судьба ее грустная, как и у многих людей, переживших вторую мировую войну. Ее отец был учителем и страстным собирателем старинных предметов культуры. Мать Таймо умерла от туберкулеза, когда Таймо было лет девять. С тех пор она стала вести хозяйство в отцовском доме и надзирать за весьма škодливым младшим братом. Однако и ей было суждено заболеть туберкулезом, и как ей удалось выкарабкаться, никто объяснить не может, врачи приговорили ее к наихудшему. Война. Переезд из Нарвы в Тарту. Брат, ушед-

ший с немцами, оказался в Германии, Австрии и, в конечном счете, в Канаде, где и живет по сей день, проработав всю жизнь пекарем, будучи отцом многочисленного семейства — семерых детей, ну и дедом теперь неоднократным. А Таймо, хотя и спаслась от болезни, не избавилась от нее совсем. Снова заболела, и долгие тридцать лет ушли на борьбу с туберкулезом. Жили они вдвоем с отцом в этой самой квартире на улице Пуйестее. Наконец болезнь была побеждена окончательно, но победительница превратилась в рано поседевшую, усталую женщину с больным отцом на попечении. Но Таймо сильная (она это любит подчеркивать и поведением и в разговоре). Она не сдавалась, записалась в секцию гимнастики, стала спать при открытых окнах. Окончила кулинарный техникум, курсы кройки и шитья, научилась переплетать книги. Вязать еще в детстве ее учила мама, печь хлеб — тетя Милли, слесарничать — дядя Калле (как же она интересно ругается, когда чинит дверные ручки!). Таймо умеет делать все. Она подвижна, как ртуть, прыгает, танцует — живчик. Старухи по соседству называют ее ведьмой, скорее всего от зависти, ведь сами они способны лишь охать да таблетки глотать, которых Таймо не признает. Она в них и не нуждается... «У меня сердце, — сказала она, — как у пятилетнего ребенка, мне врач так объяснил. Я — сильная».

Я должен прерваться, чтобы выразить восхищение этими неутомимыми комарами и мухами. Я устроился в гамаке, чтобы отдохнуть после обеда, который себе сварил внизу на «кухне», построенной из камней. Здесь, в лесу, я питаюсь преимущественно рисом.

Так эти твари то и дело садятся на голову, шею, руки-ноги, не лежать же мне в жаркий день укутавшись. Кто их только выдумал! Так или иначе, но валяться в гамаке они мне не дадут, а отравы, которой против них мажусь, кончилась. Так что придется встать и продолжать работу, которую я решил начать и кончить, чтобы хоть самому себе доказать мою жизнеспособность, да и пример Таймо играет здесь не последнюю роль.

Что, собственно, представляет из себя эта работа? Если совсем коротко, то это похоже на послесловие к роману «Бежать от тени своей» (да и к другим моим маленьким книгам тоже). Ведь после публикации этого романа я получал немало писем от читателей, выражавших восхищение силой воли героя и автора, которые сумели покон-

чить с алкоголем, вырваться из когтей Зеленого Дракона. Мне было, скажу честно, горьковато читать эти доверчивые письма, я в то время вовсе не мог похвастать результатами, как не могу и сегодня. Да, да, одного желания здесь еще недостаточно, хотя, с другой стороны, если еще есть желание расстаться с водочкой, то не потеряна и надежда. Когда же нет уже такого желания — все кончено. Надежда у меня сохранилась, и сохранилась привычка время от времени что-нибудь писать.

Здесь моей настольной (или напенной, от слова «пень») книгой является «Джон Ячменное Зерно» Джека Лондона. Эту книгу я прочитал впервые неизвестно где около миллиона лет назад, не задумываясь особенно над многими явлениями, которые эта книга задевает. Она мне даже не очень нравилась, показалась скучноватой, и я даже не разобрался, насколько эта книга автобиографична на самом деле. Сегодня же, когда читаю ее снова и снова, у меня имеется немалый опыт в столкновении с этим самым господином, которого Джек Лондон назвал Джоном по прозвищу Ячменное Зерно, и я могу спорить или не соглашаться с Лондоном (но не с Джоном, с ним не спорят, с ним только соглашаются).

«Бежать от тени своей» — небольшая книжка, но писать ее мне было трудно по многим причинам, как бывает всегда, когда надо говорить о неприятных явлениях; после того, как ее напечатали, уже многие высказывали недовольство: написанное мною вообще-то неправильно, живем мы не так, как изобразил я, картин алкоголизма у меня показано неоправданно много, я сгущаю краски, и тому подобное. Но кому-кому, а мне ли не помнить, сколько, где и каких только бункеров я ни облазил, когда задумал подступиться к Зеленому Дракону, который меня самого уже облизывал с наслаждением, прежде чем сожрать; и я понимал также, что люди эти, меня упрекающие, сами все это прекрасно знают, но выражают свое мнение по разным причинам: кто по обязанности, в силу занимаемой должности, а кто просто хочет убедить хоть самого себя в том, что все хорошо. Так ведь легче: закрый глаза и скажи себе, что все хорошо, а пьяных и нет вовсе, потому что ты их не видишь. А за то, чего нет, у тебя и душа болеть не должна. А за то, что есть — и это все понимают, — каждый мало или много да отвечает, даже если сам совсем ангелочек и пьет одну лишь воду из крана.

Что же касается бункерной жизни, я в нее окунался с головой, и мне не кажется, что это неинтересно. Уже само развитие этой жизни, ее внедрение, ее захватнические приемы — разве не интересны? Я изучал подпольную алкогольную монополию в Риге, Челябинске, Москве, Тарту, в Центральной России и на Дальнем Востоке и кое-что об этом знаю.

Например, Рига. Здесь имеется улица, которая называется Киевской с незапамятных времен, я про нее читал в газете, изданной еще в буржуазной Латвии. Причем из этой же старой газеты я узнал, что улица Киевская в Риге известна как центр подпольной торговли алкоголем тоже чуть ли не со времен Ивана Грозного и польского короля Батора, во всяком случае при Николае Последнем она точно функционировала. И по сей день функционирует.

Как можно купить водку в Риге вечером после закрытия магазинов или ночью? Надо сесть в такси. Адрес водителя не интересует, если вы скажете, что надо ехать на Киевскую. Он не спросит номер дома, он едет. Приехав на Киевскую, останавливает машину все равно где. Из такси видно, что на улице — длинной, извилистой — то тут, то там прохаживаются парочки или стоят по два-три человека. Можно подойти к любому и намекнуть, что...

И вас обслужат. Но можно из такси не выходить, и водитель опять не поинтересуется — почему. Он сидит молча за рулем, вы сидите молча в кабине. К такой таинственной машине скоро подойдут люди, допустим, их двое. «Шеф, — обратятся они к водителю, — отвези нас к чертовой бабушке (или в другое место)». Таксист скажет, что у него есть уже пассажир. Тогда эти двое, пожелавшие ехать к чертовой бабушке, спросят, опять ни к кому не адресуясь, что, наверное, пассажиру что-нибудь надо. Шофер, естественно, «не знает», что надо его пассажиру, и теперь тот сам должен подать голос, и он, допустим, дает понять, что ему надо...

Тогда двое скажут, что вообще-то они тут кое-кого знают...

Тогда пассажир выходит из машины, не отпуская при этом такси.

Тогда двое заводят его за калитку или в подъезд ближайшего дома и тут же следует вопрос — прямой, как пистолетный выстрел: «Тебе сколько?»

Допустим, вам надо две бутылки. Вам скажут цену,

инкассируют деньги, вручат товар, и через две минуты такси увозит вас по адресу, в котором теперь уже можно сказать не только название улицы, но, конечно же, и номер дома, как делают все нормальные пассажиры, когда едут по нормальному адресу.

Есть и другой способ. Вы садитесь в такси и заявляете прямо, что вам очень надо, потому что приспичило. Таксист просветит вас своими рентгеновскими лучами и, если не обнаружитстораживающих симптомов, поедет в центр города, здесь в одном месте чуть приостановится, и в такси на ходу садится широкоплечий пассажир с толстым портфелем. Обращаясь к вам, он спросит: «Сколько?» Всего одно слово. Вы скажете ровно столько же, дадите деньги, вам вручат товар, через пятнадцать метров такси чуть приостанавливается, и пассажир с портфелем исчезает, будто его и не было. Причем таксист и здесь в деле не участвует, и его не касается, чем там обмениваются его пассажиры, это их дело.

Есть и третий способ. Вы садитесь в такси...

Да, опять в такси. Но это уже в Челябинске или в Тирасполе, можно в Киеве и даже в Москве, хотя здесь вообще-то гарантии, что получите, нет. У одного может быть, у другого... Он не тот, не такой, он, оказывается, лишь развозит пассажиров. Но в Тарту редко когда водитель такси только развозит пассажиров, здесь таксисты стараются обслуживать пассажиров по всем пунктам, и с водкой проблемы нет. Причем такой системы, как в Риге, здесь тоже нет. Ну, самое большее, вы садитесь в такси, но вам скажут, что... в машине нет, что надо захватить домой, и вы поедете, и все равно желаемое получите, а за лишние метры, что ездили домой, никто с вас ни копейки не возьмет. В Тарту есть, разумеется, и другие точки ночной монополии (как, впрочем, во всех других городах), где также идет торговля в темное время суток, причем в Тарту, как нарочно, мой излюбленный бункер находится рядом со штабом добровольной народной дружины. Ну, а рядом с дружиной опять же ночная монополия.

Это на улице Ямы. Получается треугольник: ночная монополия — штаб дружинников — бункер. Правда, тут же рядом стоит и винный магазин, вполне законное учреждение, но он как-то сам по себе, отдельно, штаб тоже как будто отдельно, и лишь бункер с монополией существуют в зависимости друг от друга. Магазин, он

отторговал положенное количество часов и закрылся. Штаб дружинников в ночное время функционирует, огонек у них там внутри горит, иногда можно увидеть и самих дружинников — стоят под окном, смотрят в сторону бункера, но далеко от своего помещения не идут, разве что если кто-нибудь громко закричит: «Караул!» Но если и закричит, так смотря где кричит... Издалека сюда не слышно, а близко не кричат, даже если где и подерутся, что бывает часто. Мне самому тут как-то немилосердно отломили по шее, а потом того, кто отломил, в другом доме, чуть подальше (другой бункер) ограбили. Всякое тут бывает.

А теперь надо собираться в Тарту. Потому что топить баню на Ванаталу не хочется, а по парилке я уже скучаю. Если бы на хуторе обстановка была более благопристойной, то можно было бы и топить. Дело даже не в том, что банька слегка грязновата и дымит, ведь можно, конечно, убрать, а когда кончаешь топить, перестает и дымить, потом надо хорошо проветрить, и вся премудрость. Но еще портит обстановку старик. Он считается хозяином этого уже порядком запущенного хозяйства. Но никто не помнит, когда и как он здесь появился. Говорят, в доме жила еще старуха, но в поселке мало что о них знают.

Когда попиваю иногда с местными мужиками пиво у магазина, то даже высказывается удивление, что меня вообще на жительство приняли. Старика знают как чрезвычайно замкнутого и недружелюбного, во всяком случае малообщительного человека. Так в сущности и есть, он и со мной не всегда разговаривает, даже может не ответить на приветствие, а иногда можно подумать, что его нет, потому что не видно его по нескольку дней подряд, и что он делает, неизвестно.

Дом огромен. На нижнем этаже комнат пять, в одной из них старик живет сам, оставшиеся — в распоряжении мышей. Наверху имеются три комнаты. Одну занимаю я, в двух других жить фактически невозможно: не отапливаются и протекают, то есть протекает крыша над ними, но старику на это глубоко наплевать. Он, похоже, подсчитал, что до конца его дней дом не развалится, следовательно, ему незачем ломать голову. Пусть это делает кто-нибудь другой после него. Может, им будет тот мужчина, который иногда приезжает на хутор из Тарту на выдавшем виды «Запорожце». Кто он старику,

я не знаю. Сам он к старику именно так и обращается: «старик». Уважительного мало.

Они тогда сидят у старика, внизу, и, судя по всему, пьют водку. Наутро гость, как правило, очень рано уезжает. Меня они на свои посиделки ни разу не звали, хотя, когда я сам старику привезу бутылочку, он ее милостиво со мной делит. Мы сидим тогда внизу в огромной кухне, и он бывает весьма разговорчивым. Этот восьмидесятилетний человек тем не менее, даже когда выпьет, умудряется ни о чем не говорить, хотя болтает без умолку да хихикает неизвестно по поводу чего. А говорит он главным образом про баб. В его-то возрасте!

Отношение у него к женщинам далеко не уважительное.

Или же про войну. О том, как пришли немцы. Главным образом о том времени и разговоры. Но хоть убей, о себе он не расскажет — что он делал, воевал ли, на чьей был стороне... Ни намека.

На чьей стороне он мог быть, можно все же догадаться. Сидя напротив, глядя на меня серыми, еще цепкими глазами, этот высохший седовласый хрыч очень сильно напоминает такого богатого хозяина, да и слышится в его воспоминаниях ностальгия по тому доброму времени, когда были бедные и богатые, довольные и недовольные, слуги и господа, когда говорили о войне и даже ждали как будто ее, ибо человечество всегда говорило о войне, потому что всегда на земле была война, но говорили не об атомной войне, как говорят люди теперь в панике везде на планете — докатились, договорились, доболтались, довоевались, так что скоро уже больше некуда. Но старик про атомную ничего не говорит, молчит.

Старые люди чаще всего любознательны. Старика же совершенно не интересует моя жизнь. Он не суется ко мне и не любит, чтобы без спросу ходили к нему. Так и живем каждый по себе. Я ему плачу пятнадцать рублей в месяц, иногда привожу водочки, ухожу и прихожу, не докладывая. Да и не стараюсь я особенно с ним общаться — нет расположения. Меня не очень даже интересует, что за упаковки привозит тот, кто приезжает на «Запорожце». Может, это белье. Может, еда — старик крайне редко отлучается куда-нибудь. Я не знаю, и ладно. Гость хозяина моей особой тоже не интересуется —

таинственные люди. Этому приезжающему лет сорок — может, он сын старика?

Попал я сюда благодаря Таймо. Она меня направила к своим родственникам в этом же районе. Тоже уже старые люди в старом доме. Но они не захотели брать постояльца и вспомнили, что на хуторе Ванаталу живет одинокий старик, о котором они мало что знают...

Тропинки, выводящие меня из леса от Черного озера через сосновые леса и большие россыпи плитняка или известковые валуны, похожие на сказочных доисторических зверей, — тропинки изумительно красивы.

3

Старика я на хуторе не встретил, помылся, переоделся, достал из тайника необходимую сумму и зашагал в поселок, чтобы успеть на автобус, который доставит меня в Тарту лишь к утру, ровно к шести часам.

Здесь от вокзала до улицы Пуйестее, если нормально шагать, можно пройти за пятнадцать минут. На Пуйестее в этот час почти нет прохожих, тишина.

Приятно шагать в утреннем покойстве, когда даже голуби еще спят, лишь воробьи и синички пробудились и обмениваются какими-то своими птичьими впечатлениями, касающимися, конечно же, летнего солнца, которое уже освещает деревянные одно- и двухэтажные дома на моем пути, кроны лип по одной стороне улицы и трубочиста, шагающего навстречу, как предвестника чего-то хорошего, так что мне теперь и черный кот, осмелившийся пересечь дорогу, ничем.

Старая Дама наверняка спит в этот час, но у меня уже давно имеются свои ключи. Иногда она, правда, оставляет собственные ключи внизу в замочной скважине и тогда... танцуй. Ведь за дверь двадцать две скрипучие ступеньки по крутой лестнице вверх, и достучаться невозможно. Не потому, что она уж очень плохо слышит — у нее ведь радио начинает работать с того момента, когда она встанет. Тогда надо бросить в окно камешек. Однажды я докидался... разбил стекло. Так что рискованно. На этот раз замок щелкнул, и дверь открылась.

Дверь же наверху оказалась незапертой, значит, Таймо уже встала и выходила. Но и в квартире я ее не нашел, была тишина. Такая тишина возможна только

здесь. Это своего рода блаженство. Ты стоишь, не дышишь, только слушаешь и не слышишь ничего, кроме «тик-так», «тик-так»... Ходят настоящие часы. Но нет, еще какие-то непонятные звуки. Откуда? Что? Обратил внимание сразу на два непривычных обстоятельства: исчез здоровенный шкаф, и дверь, которая вела из ее спальни (она же кабинет и оранжерея) в небольшую кладовую рядом, оказалась открытой. Шкаф почему-то очутился в кладовке, оттуда и доносились звуки. Теперь можно было понять, что где-то там, между шкафом и стеной, находилась Старая Дама.

Когда мне удалось наладить с ней связь, выяснилась такая картина: она очутилась в плену. Сначала она этот шкаф тянула, потом толкала, потом тянула, потом опять толкала и добрались они из ведьминой лаборатории (кухни) до кладовки, но отсюда она опять тянула шкаф за собой в кладовку, намереваясь его здесь поселить. Там она его развернула как-то неудачно, так что шкаф заклинило, а ей из-за него не выбраться. До моего слуха доносилась гневная речь: «Что же это такое!.. Мне ж надо где-то поставить мешки с нитками... Здесь чем тебе плохо? Спокойно...»

— Что ты там делаешь?! — крикнул я ей и доложил, что я приехал.

— Я здесь, — послышалось в ответ. — Ты подожди, сейчас выйду.

Затем что-то треснуло, и вот из шкафной двери высунулась голова с круглыми от возмущения глазами. Вся она сразу выбраться не могла, что-то там через чего-то (очевидно, через заднюю стенку шкафа) никак не пролезало, но когда опять треснуло, она выскочила из шкафа целиком. И принялась ругать какого-то старика (не того, что на хуторе), который ее завалил совершенно не нужными ей гнилыми шерстяными нитками.

— Он их покупает, старье всякое. А дома у них кошки и все ужасно воняет.

— Зачем же тебе это старье?

— Сама не знаю, зачем я их покупаю...

Таймо безнадежно махнула рукой: она смотрит, как побитая собака...

— Старуха умерла, дочь инвалид от рождения, у нее глаза не стоят открытыми... Ей веки лейкопластырем приклеивают ко лбу, чтобы глаза были открыты. Она распускает тряпки, а старик мне пряжу эту та-

щит, потому что я вяжу. Я уж звонок сняла с двери, чтобы не звонил. Если не звонят, значит, никто не приходил, а то ведь совсем уже некуда положить эти нитки.

Это верно. Даже вся лестница заставлена тюками с тряпками, пряжей, обувью на все сезоны.

Завтрак у нас не занимает много времени. Варить кофе — это мое дело. Таймо собирается на работу. В доме, конечно, хаос, везде валяются одежда, тряпки, но когда здесь бывало по-другому? С этим примирился даже я. Привыкнуть-то я привык, но все же недолго сумел вытерпеть, что и явилось причиной моего переселения на Ванаталу. Там, по крайней мере наверху, все так, как хочется мне, про лесное мое убежище и говорить нечего. Когда кавардак в большом хозяйстве — с этим можно мириться, потому что можно где-нибудь еще отыскать более или менее изолированное место. У Таймо на ее шестнадцати квадратных метрах деваться некуда. Когда же я иногда пробовал провести воспитательную работу, то убедился, что она вообще-то не очень кроткое существо, а критику в свой адрес не терпит никакой.

— Что, тебе так мешают мухи? — недоумевала она, заморгав удивленно.

А мухи у нее, естественно, водятся в изобилии, всякие-разные.

— Да не мешают мне мухи! — заорал я. — И осы не мешают. Пауки тоже. И мыши — нет! Но мне мешает постоянно невымытая посуда, захламленность, и мне надоело то и дело садиться на кактусы, они везде валяются.

Таймо была потрясена. Но виноватым во всем, оказывается, был я сам, потому что постоянно мешаю ей заниматься уборкой, и посуду мешаю мыть и все такое, а кактусы, чтоб мне было известно, очень нужные растения, а чтобы на кактус не садиться, следует не шлепаться куда попало, а смотреть сначала, на то у меня глаза...

— У меня всегда порядок, — закончила она, — ты еще ни разу не ел в моем доме из невымытой посуды.

Действительно, не ел из невымытой посуды. Но с мытьем посуды дело обстоит здесь так: сначала грязная посуда кладется в раковину, когда же в нее уже не помещается, оставляется на столе, лишь отодвигается по мере того, как на стол ставится чистая посуда, которая берется

из ее многочисленных сервизов. Трудно сказать, сколько у нее всякой посуды, но она покупает новую: то чашки притащит, то бокалы, то вазу, и у нее всякого стеклянного-глиняного-фарфорового громаднейший склад. Я понимаю, что женщине время от времени что-нибудь купить столь же необходимо, как алкоголику напиться. Но если некуда ставить...

Кофе готов. Таймо, кажется, одета. Но скажите пожалуйста, что это она еще возится, согнувшись у плиты, когда кофе разлит и остывает? Ну да, она крошит хлеб, а это значит — и как я мог о том забыть,— что одновременно с Таймо будут завтракать еще воробьи и прочие мелкие пичужки, «столовая» их висит на крючке за кухонным окном. Сейчас туда высыплют хлебные крошки, и «столовая», не вмещая сразу всех желающих в нее попасть, начнет раскачиваться от напора и колотить в окно, а Старая Дама будет смотреть и довольно улыбаться.

— Кофе остывает! — ору я. И мы садимся за стол. Но я слышу, что кто-то стучит в дверь там, внизу.

Таймо не слышит, а это значит (по ее логике), что никто не стучит. Но я слышу, и по моей логике получается, что кто-то хочет войти. А если это тот, кто таскает гнилые нитки? В таком случае она будет мне благодарна, если и я не услышу. Но, ради бога, надо же включить приемник, ведь должны же мы узнать, какие дела происходят в мире, хотя бы в Никарагуа. Там враждебные элементы стремятся навредить маленькому и, на мой взгляд, ужасно красивому народу. Эти жизнерадостные, искренние люди, с горячей любовью борющиеся за свободу, нравятся нам с Таймо так, что если бы я не был эстонцем, то хотел бы быть никарагуанцем.

И сразу стало не слышно никакого стука...

Итак, Таймо направляется на почту, ведь в настоящее время она почтальон. Она разносит письма, газеты, журналы, телеграммы и пенсии. Уходит из дома рано, возвращается поздно. Иногда, а точнее, довольно часто приносит яблоки, один-два рубля «чаевых» и цветы, которые ей дарят пенсионеры. К ней почти все относятся с уважением, она многих знает лично, многие знали ее отца, покойного Густава. Но главное, за что их обоих люди ценят,— за честность.

Для эстонцев быть честным — это вопрос принципа,

даже как бы самоцель, главное в жизни. Таймо в этом отношении ярчайший образец: район, который она обслуживает, расположен довольно далеко от центральной почты на местности, где чередуются спуски и крутые подъёмы. Человеку все же седьмой десяток пошел, так что после целого дня беготни она едва ноги волочит, домой идет — нос висит. Но, попив чаю, съев бутерброд, она опять начинает одеваться, хотя на улице уже темно: один человек в другом конце города остался без «Эдази», у нее их почему-то не хватило. Она купила в киоске экземпляр газеты (довольно часто это делает) и теперь понесет человеку. Бесплезно ее убеждать, что тот человек уже готовится ко сну и сегодня больше за почтой не выйдет, что завтра она и эту газету отдаст,— она все равно пойдет.

Если же ей не дают яблок или роз, она их все-таки принесет. Яблоки с деревьев падают «прямо ей на голову» с веток, что протягиваются через заборы, и почему бы Таймо их не поднять?.. Цветы, пусть не розы, а дикие — что из того! — она рвет в кюветках, пусть даже крапиву, если она цветет. А то скажет:

— Я две картофелины принесла, нашла на улице. Я их сварю с гречкой...

Действительно, это же еда, почему она должна валяться на земле? А против того, чтобы на хлеб набавили цену, Таймо не возражает. По ее мнению, люди хлеб не берегут, потому что он дешев, а был бы хлеб дороже, то не бросались бы. Я с ней согласен.

И вот мы с ней позавтракали, одеты и можем отправляться в дорогу: ей — на почту, мне на Променад Глубоких и Серьезных Размышлений, на традиционное место моих прогулок в этом городе — на Тополиную аллею. Таймо спустилась вперед меня и открыла дверь.

За дверью стоял мужчина небольшого роста, худой, с воспаленными глазами, в шляпе, в коричневом костюме со свертком под мышкой. Это был не старик, который таскал Таймо непригодную пряжу. Это был Волли, тот самый из Супового района, с которым сто лет назад мы пили ампулы с лекарством, выписанным ему для лечения от алкоголизма. Он жил тогда на чердаке в небольшой комнатухе на улице Гороха. Его-то я здесь увидеть не ожидал, впрочем, как и он не ожидал встретить меня. Таймо же с ним совсем не знакома.

Моей первой мыслью было, что Волли как-то удалось

вынюхать мою тайную квартиру на Пуйестее, которую я никогда никому из людей в бункерах, да и другим, не показывал и о ней не рассказывал, особенно теперь, когда Таймо стала пенсню различать, ведь у нее порою с собой бывают довольно крупные суммы, а алкоголики (разумеется, я имею в виду тех, кто уже превратился в подонков) способны и за меньшую сумму человека угробить, да и вообще никто не может никогда сказать-угадать, когда именно в психике алкаша наступит такой критический предел; поведение алкоголика никогда не бывает адекватным (попросту говоря).

Конечно, Таймо носит в кармане свисток, но он, мне кажется, часто служит для окружающих сигналом спешить не на помощь, а наоборот, бежать прочь. Такое встречается рядом с принципиальной честностью.

Нигде и никто мне столько не вредил, не обворовывал меня, как на родине, земляки, но всегда толчком для этого служила жажда выпить за мой счет. Я уж не говорю о том, как меня трижды снимали с поезда главным образом из-за моей скупости, нежелания дать водки или денег на ее приобретение молодым, ретивым и очень честным с виду проводникам вагона.

Никарагуанцы также небольшой народ, но как они сплоченны и дружны! Пусть на меня не обижаются честные эстонцы, которые не пьют и моим кошельком никогда не интересуются. Во всяком случае, я стал летать самолетом, с него хоть не снимут, если уж посадили...

Однако Волли ничего не вынюхивал. От старика, чья дочь держит глаза открытыми при помощи лейкопластыря, он узнал, что тот продавал Таймо совершенно дерьмовую пряжу. Вот и все. А Волли, оказывается, уже не живет на чердаке, он имеет собственный дом на улице Сыбра, который им с матерью достался по наследству от его тетки.

— Дом старый, мебель — дрова. Моль все поела,— объяснял Волли.— Все старье. Единственно, живу все же не на чердаке, а в собственном доме. Но два мешка шерстяной пряжи там нашел. Хорошая пряжа... Если хотите, дешево отдам. Мне она ни к чему...

Таймо посмотрела на меня так жалобно, словно этого продавца я к ней привел. Слава богу, Волли не относился к наглецам, он был трезв и тактичен. Понял — в его шерсти здесь не нуждаются.

— Пойду на рынок,— сказал он решительно, но не сразу с нами расстался, все оглядывался, словно что-то спросить хотел, и наконец, спросил: — Тебя давно не видно... Я и не знаю, ты как... поделил меня на три части или нет?

Я как-то грозился сделать из него три различных персонажа.

— Да что ты, Волли,— ответил я ему.— Ты же не пирожное, в конце концов... Да из тебя и двух гавриков не выкроишь, больно ты тощ...

Из его вопроса я заключил, что книг Волли не читает. Семнадцать лет он играл в районном театре Аладдина. От него ушли жена и собака. Его выгнали из Ванемуйне, где он попробовал себя на ответственной должности администратора, и хватит с него любого искусства. Теперь он комендант двух старых жилых комплексов.

4

За деревянным мостом у «Леннакана» (универсам) мы с Таймо расстались. Отсюда ей налево, мне направо. Таймо отправляется к своим собакам, я — к своим, то есть Таймо встречают собаки во дворах и в домах, куда она носит почту, она их всех знает и таскает им в карманах косточки. А по вечерам, возвращаясь из района, она расскажет мне, как ее какая-нибудь собака встречала, как лаяла, с каким выражением собачьего «лица». Мои собаки — те, которые выводят своих хозяев на прогулку на Променад Глубоких и Серьезных Размышлений, хотя что уж эти собаки мыслят — мне неизвестно.

По утрам на Променаде, когда нет дождя, изумительно: справа река, слева большой пруд, или наоборот, смотря в какую сторону идешь. По обеим сторонам Променада растут старые тополя, им, наверное, лет сто. Всегда я встречаю здесь добермана-пинчера в сопровождении чопорной (что вы хотите, у нее все-таки пинчер!) дамы средних лет. Она, правда, приятной наружности, но в ее глазах нет искренней сердечности, как у той дамы, в честь которой посажено впереди за поворотом дерево. Тем не менее культурно здоровасмся. Аллея (или Променад Глубоких и Ссрьезных Размышлений) стала для меня местом,

откуда я, словно с невидимой высоты, обзираю весь мир.

На Променад мне сегодня не суждено попасть. По Комсомольской улице спускается вниз знакомое лицо... Э, нет — два лица. Знакомые — да, но кому принадлежат? Миллион лет буду соображать, но не вспомню. А когда не помнишь, надо просто улыбаться душевно и, изображая радость по поводу неожиданной встречи, приветствовать загадочную личность, как лучшего друга. Они, правда, сразу догадались, что я их забыл, но, будучи уже людьми не первой молодости, по-видимому, сами были с этим знакомы.

— Да не ломай голову.— Оба чем-то очень похожи: широкие физиономии, отсутствие половины зубов и помятые кепи на голове. Они засмеялись.— Мы у Алфи как-то сидели.

— А-а...

Только и было что сказать. Из вежливости спросил, куда теперь путь держат.

— Пойдем к Алфи, посидим немного. Мы работу одну сделали, халтуру, малость заработали. Пошли с нами. Ты где теперь?

Можно было, конечно, не идти, сказать, что куда-нибудь спешу. Но люди от всей души приглашают. Эти не из тех, кто за твой счет стремится нализаться. У них было. Они где-то сделали халтуру, вот и все.

А то однажды, тысячу лет тому назад, ко мне постоянно подсаживался везде, где встречал в ресторациях, один молодой и умный эстонский литератор, который никогда не отказывался выпить за мой счет, но никогда не поставил сам и ста граммов, до тех пор, пока не получил от меня по зубам. На следующий день встретились, и он сразу пригласил меня выпить глинтвейна: «Я тебе поставлю». Эти двое были не литераторы, они народ попроще. У них было... И я согласился, тем более что давно не «сидел» у Алфи.

Алфи и есть хозяин бункера на улице Ямы, напротив винного магазина, рядом с ночной подпольной монополией и штабом добровольной народной дружины. Он работает сторожем на автобазе: сутки дежурит, трое отдыхает. Его гражданская жена Манни моет посуду в столовой. Оба еще молоды, детей нет,— вероятно, это и к лучшему. Их двухкомнатное жилье постоянно открыто для гостей, и неважно, откуда ты родом или откуда появился. Если

у тебя есть деньги или ты принесешь бутылку — ты свой человек.

Вскоре мы и еще какие-то люди сидели за деревянным простым столом в кухне Алфи, и стакан по очереди переходил из рук в руки. Единственная женщина присутствовала — Манни. Говорили все, каждый о своем, никто не интересовался особенно, о чем говорили остальные, все хотели сами высказаться. Ну, эти-то картины общения пьяных людей в мировой литературе описывались довольно часто и достоверно. Нет-нет да и замечались враждебные выходки то у одного, то у другого; вот-вот, казалось, начнется драка, но пока все обходилось.

А время шло, солнце уже начало снижаться к железнодорожному вокзалу, чтобы сесть на вечерний поезд из Минска и уехать на запад, в Таллинн, а там уплыть дальше морем и исчезнуть за горизонтом или погаснуть в Балтийском море.

Когда я вышел от Алфи, было темно. На небе черные тучи, единственная звезда мне светила из окна штаба народной дружины, самих же дружинников не было, хотя со стороны улицы Мяэ, где расположен еще один бункер, пользующийся дурной славой, слышался крик женщины, она то ли звала на помощь, то ли просто орала.

Подняться на Пуئےстее можно по Нарва-Маантее, а можно и по улице Мяэ (название означает «гора»), стало быть, по Мяэ надо идти в гору, поднимаясь по каменным плитам многоступенчатой лестницы, где обычно на небольшой площадке сидят местные искатели приключений, покуривают.

Говорят, умный в гору не пойдет... как, например, дружинники: они в ту сторону даже не смотрят. Но я был пьян, и этим все сказано. Я начал подниматься по ступенькам. На площадке никого не было. Потом зашагал по Пуئےстее. И здесь, именно когда собрался перейти улицу к дому Таймо, из темноты вынырнули люди, на которых я сперва не обратил внимания, а потом уже невозможно было вообще на что-то обращать внимание, ибо самого внимания у меня уже не было.

Я валялся на тротуаре, корчась от невыносимой боли. Чем-то ударили по лицу, кровь струями заливала шею, грудь. С трудом поднявшись, я понял, что ничего не вижу — не потому, что темно, а потому, что не вижу...

Упершись в стену, около которой оказался, я стал на ощупь продвигаться в сторону дома Таймо (до него оставалось шагов сто), — сначала деревянная стена, потом забор, доски, затем оштукатуренный дом, ее дверь крайняя...

И удивительно: едва я до нее добрался, она открылась. На пороге стояла Таймо.

— Что случилось?

Старая Дама не испугалась, хотя кровь продолжала бить фонтаном. К тому же, упав на камни, я разбил лицо, ободрал кожу на лбу, так что испугаться можно было вполне. Она помогла мне преодолеть лестницу и, достав из какого-то тайника полбутылки водки (вероятно, мои же остатки), помогла сделать компресс на разбитое лицо.

Показаться на люди недельку-другую было невозможно, но крайне необходимо: рассечена губа и выбиты три передних зуба. Зубы терпели, с ними спешить некуда, но губу надо зашить, иначе она такой и останется — рассеченной.

Все же я несколько дней на улице не показывался: мало того, что было разбито и побелело лицо, появились и закономерные страшнейшие пытки похмельного синдрома, все вместе создало мне адское существование. Муки еще больше возрастали от сознания, что всего этого могло не быть, что если бы не знал тех двоих, я бы не пошел в бункер; если бы не пошел, не напился бы. Если бы не напился...

А ведь на меня напали не с целью ограбить. Напали, чтобы избить — зачем? Кто? Тем, кто меня не знает, — незачем. Значит, кто-то из тех, кто меня знает...

А знают только те, кто был в бункере. Тогда почему же не там, в бункере, произвели расправу? Непонятно.

Кто же все-таки? Там были: бывший председатель колхоза, бывший следователь, бывший заместитель прокурора, бывший директор магазина, бывший инженер. Одним словом, все там были бывшие, или, как я их назвал, чем всех сильно рассмешил, люди экс. Они? Но там были еще и другие, сегодня пока еще не бывшие, — те, кто станет такими, вероятно, в ближайшем будущем...

Сколько я ни ломал голову, винového угадать не сумел. В сущности, это и не представляло важности, пос-

кольку больше всего я самого себя винил, считая, что раз до такой степени напился, что морду разбили, значит, так мне и надо.

Я лежал, дрожал, стонал и проклинал самого себя, а Таймо вязала мне перчатки и в сто десятый раз рассказывала, как почувствовала что-то неладное, решила спуститься посмотреть на улицу, потому что какая-то женщина кричала «караул», то есть звала на помощь, и вообще было тревожно, и вот она открыла дверь и увидела...

Дальше следует вся история с подробностями, как все было.

— Нет,— говорит Таймо,— я крови не боюсь. Например, у моей двоюродной тетки Матильды всегда из носа шла кровь, когда понижалось атмосферное давление. Она из-за этого не вышла замуж за Карла. Тот опасался, что у нее какая-нибудь неизлечимая болезнь, но сам страдал хроническим насморком. Он в день пачкал по две дюжины носовых платков. А Мари из Раквере, которой Карл добивался, вышла замуж за Рудольфа да сказала про Карла: «На что мне этот сопляк», хотя сама она была вся в свою бабушку Минку, которая ухитрилась родить в дорожном кювете, это было в Нарве как раз перед тем, как немцы из Нарвы отступили, и мы с отцом тоже решили перебраться в Тарту, потому что фронт приближался и брат был уже здесь. Однажды мы заночевали на каком-то хуторе, и я с Альмой устроилась на сеновале, и вот ночью слышу, кто-то к нам крадется да фонариком светит, ищет... Я увидела немецкие офицерские сапоги и ка-ак толкнула, он ка-ак грохнется вниз, а я ка-ак скатилась...

Такой рассказ Старой Дамы может длиться и длиться, и это хорошо, это усыпляет, а мне в моем бедственном положении поспать очень полезно.

Наговорившись, Старая Дама пожелает моей спине спокойной ночи и пойдет в кухню переодеваться. Вскоре раздастся храп, но это мне сейчас ни о чем, хотя нельзя сказать, что я сплю. Это не сон, а нечто похожее на небытие. Но очень мучительно, когда сердце то стучит, то молчит, вода льется изо всех пор, и мысли... Словно уопленник, охватываешь всю свою жизнь, и вдруг становится не по себе, стыдно; хочется убедить себя, что ты же не вор, не за чужой счет живешь, но не получает-

ся, потому что если и не вор, так обманываешь: написав книгу, в которой раскрываешь по сути преступную сущность алкоголизма (скоро люди должны прийти к пониманию, что, алкоголик или не алкоголик, любой пьяный человек является фактически преступником, если даже не совершил пока никакого преступления), и заявив, что сможешь справиться с этой привычкой, ты нагло обманываешь людей. Ведь твоя книга должна убедить людей не пить. Но нельзя убеждать других жить так, как сам жить не в состоянии.

В свое время в отдельных литературных учреждениях обвиняли меня в ироническом отношении к нашей советской действительности, когда и я пытался говорить о вещизме, о котором сейчас говорят все кому не лень, и пишут, и больше всего сами те, кто всей своей овеществленной душой, бытом, образом существования подвержены вещизму; но ругали меня за то, что моя ирония, дескать, недобрая. Бесплезно было доказывать, что ироническое мое отношение имеет место лишь к инородным явлениям в нашей действительности, а к такого рода явлениям добрая ирония... с какой стати? Не похожи теперь я сам на тех воинствующих жертв вещизма?

Сквозь гардины пробивается свет от зажженного уличного фонаря, освещая комнату причудливыми красками, и вместе с храпящей пожилой женщиной все это представляется нереальным, словно кошмарный сон, а он, я знаю, тоже меня дожидается, когда наконец хоть немного засну. Рядом на стене висят в горшках какие-то цветы, их листья на тонких стебельках — словно лианы в джунглях, а сквозь лианы поблескивают потускневшие от времени духовые инструменты — труба и флейта. Ими любил заниматься старый школьный учитель Густав, отец Таймо. А может, это не флейта, а кларнет... Над моей головой висит треснувшая по бокам гитара, на ней по ночам играют невидимки, и звенят ее струны в ночной тиши таинственно.

На пятый день струпья с лица сошли и, кажется, можно стало идти в поликлинику зашивать губу. И Таймо получила возможность совершенно оправданно подарить мне новую рубашку, потому что моя была не только залита кровью, но и разорвана. Однажды я не принял какого-то ее подарка и запретил покупать в сущности ненужные вещи.

— Ну что ж, раз я такая плохая, что мои маленькие подарки никому не нужны...

Она вздохнула обиженно и целый час со мной не говорила. Чтобы она меня простила, нужно только одно: подойти, погладить ласково ее плечо и сказать: «Не сердись, у меня ведь уже много всего разного»... Громко засмеявшись, она начнет рассказывать о своих родственниках, что, кому и когда дарили и как они все к этому относились...

Теперь я пропал, это похуже, чем если бы она сердилась. Родственников у нее тьма-тьмушая, к тому же она от них может запросто переключиться на события детства, и тогда я вообще погиб. Как ее прервать? Боже упаси ей сказать, что, дескать, моя дорогая, ты беспрерывно болтаешь черт знает что, ведь я же никого из тех, о ком ты говоришь, не знаю. Обидится. Демонстративно закроется в кухне. Теперь можешь сам попытаться о чем-нибудь заговорить — бесполезно.

Но если опять же подойти и погладить виновато ее плечо — другое дело. Поворчит немного еще в наказание, и опять, как ни в чем не бывало, потечет ее беззаботная детская воркотня о давно минувших временах, когда с ней были ее единственно любимые люди — мать, отец и брат, и как они себя вели, и что говорил старый школьный учитель Густав по поводу того или другого явления жизни или поступка человека: «А вот отец говорил...»

Он, между прочим, сказал и так: «Как любимые вещи теряются, так и дни дорогие уходят, но память о них остается навсегда». Не оттого ли Таймо живет в прошлом?

Итак, дает она мне новую рубашку и говорит:

— Я вот нашла случайно в шкафу, даже не знаю, когда и кто купил. Но, может, она тебе подойдет, что ей зря валяться...

Это ее новый метод: «случайно нашла», «даже не знаю зачем купила»...

Рубашка, конечно, подошла, точно по мне сшита. Но вот где мой носок, совершенно не ясно. Перерыл везде, где сумел, — нет носка. Один есть... Да, к Таймо вору лучше не соваться, здесь, чтобы хоть что-нибудь понять или обнаружить, понадобится гигантская работа — лучше идти в колхоз картошку копать, больше заработаешь. Спросить у Таймо? Но она уже схватила газе-

ту, вечером еще не прочитанную (она вечером начинает читать и вскоре храпит). Теперь, как пить дать, последуют комментарии: «Ага! Этот, значит, умер (она читает объявления о похоронах). Ну конечно, он таки, да, он стар был, я его помню... Так что одному пенсию уже не носить...»

— Мой носок зеленый случайно не видела, Таймо?— спрашиваю, наконец.

— Зеленый? Ах да, я его постирала, а другой не нашла. Но у меня есть одни, как-то купила для себя, оказались большие...

В результате приобретаю еще и новые носки.

Иду в стоматологическую поликлинику, где никогда раньше не бывал. Никто из встречаемых на меня внимания не обращает, хотя мне кажется, что все насмешливо пялят на меня глаза. Иной и посмотрит как будто чуточку повнимательней, но, может, ему понравилась моя шляпа, а мне уж хочется ему в глаз съездить...

В регистратуре поликлиники называюсь приезжим, командированным, говорю, что упал и разбился о бордюр тротуара, а то было темно и что руки, знаете ли, были в карманах, а то бы зашил лицо...

В регистратуре людям все равно, где были мои руки, но вот почему не сразу пришел? Теперь уже поздновато. Приглашают врача — женщину. Посмотрела, сказала то же самое: поздно, рана заживает, теперь ничего нельзя сделать, но велела пойти и посидеть у кабинета номер четыре. Наконец приглашают войти. В большом кабинете врачей много. Меня принимает еще молодой врач, лет сорока. Мужчина весьма симпатичный. Ему интересно узнать, что я делаю в Тарту, но всю правду я ему выложить не могу, говорю половину. Он говорит, что ему показалось, судя по моей фамилии (да и имя и отчество кое-что подсказали), будто я литератор. Но мне все равно, что ему показалось.

— Что,— спрашиваю,— пластическую операцию теперь делать? Или остаюсь с заячьей губой, хотя я вообще-то другой породы...

— Зачем же пластическую,— отвечает он.— Сейчас немного потерпите, сделаем что-нибудь...

Подходят очень милые девушки в белом, и этот тоже очень милый доктор начинает операцию, которая длится (хотя и маленькое вроде дело) пятьдесят семь минут: сколько уколов, сколько швов, а в результате поч-

ти ничего и не заметно; через неделю снять швы, и по жалуйста. Не надо совать руки в карманы, когда на улице темно (и идешь из бункера — добавил я про себя) Опять вспомнился рецензент, укорявший меня тем, что мне нравятся люди, которые относятся ко мне хорошо...

Кого же мне, действительно, больше любить: того, кто сказал, что поздно, гуляй с разбитой губой, или того, кто сделал дело, потому что отнесся ко мне хорошо? А ведь он признался потом, что делать такую операцию не обязан был, он хирург стоматологической поликлиники, а не травматологического пункта; здесь же надо было соскoblить уже нарощую молодую кожу...

Когда я пришел снимать швы и стал в общем-то красивым, он пригласил меня в Дом инженеров, посидеть, с людьми побеседовать. Мог ли я такому парню отказать? Когда он меня зашивал, женщины вокруг меня утешали: будет лучше, чем было до операции, ведь мою «пасть» зашивает сам доктор Сависаар — лучший специалист в своем деле.

Вечером мы встретились у католического собора, ибо Дом инженеров (или клуб) здесь же, напротив. В связи с этим мне пришло в голову забавное сравнение: напротив бункера штаб добровольной народной дружины; напротив же Дома инженеров — католическая церковь. В результате такого сравнения пришлось заключить, что в Доме инженеров, вероятно, собираются большие грешники, чем те, которые в бункере: как-никак все-таки церковь...

5

Снаружи Дом инженеров не представляется архитектурной редкостью: обычный красивый двухэтажный дом с островерхой крышей. Некоторые его окна привлекают внимание чем-то таинственным: непонятно, что за ними. Занавеси не занавеси, а может, картины старые или же стекла масляной краской выкрашены изнутри, так что не понять — жилой ли это дом или какой.

Доктор достал из бумажника небольшую визитную карточку и всунул ее в щелку двери — она с щелчком открылась.

Такой магнитный ключ имеют все члены клуба, входящие в Дом инженеров, который посещают не только инженеры, но и прочая интеллигенция города.

Внутри Дом оборудован со скромным шиком — мягкая мебель, уютные столики, банкетный зал наверху, внизу небольшой бар. Здесь тоже пьют водку, коньяк и вино и тоже говорят, иногда звучат чересчур громкие голоса и неуважительные эпитеты, и разговоры вроде: «Ты меня уважаешь?», случаются даже потасовки. Выходит, что инженеры (еще не бывшие) и вообще интеллигенты обладают ничуть не лучшими печенками-селезенками, как и те, в бункере, они точно так же пьянеют. Но что имел в виду мой доктор, когда пригласил меня сюда, — с кем я должен здесь беседовать?

Сначала мы устроились с ним в баре и побеседовали сами, вдвоем. Заказали, разумеется. Душевно и интересно беседовали. О чем — невозможно установить. Заказав снова, мы стали беседовать еще более душевно. Потом поднялись на второй этаж, там начальство.

Начальство выглядело солидно, как и положено. Здесь доктор и начальство представили меня человеку, которого назвали главным организатором в городе по части бесед с разными людьми, и высказали мысль, что было бы, может, неплохо со мной коллективно побеседовать...

Организатора бесед мне представили еще как местного сатирика. Он тут же подтвердил это вопросом: «А что вы за это хотите?» (что соглашусь побеседовать). Словно я пришел предлагать свою беседу за какую-нибудь сумму. Поняв, что он сатирик, то есть человек с юмором, я сказал, что ничего не хочу, да и беседовать ни с кем не хочу кроме как с доктором, который оказал мне добрую услугу.

С большим трудом разобравшись, что к чему, мы с доктором спустились обратно в бар, потому что лучше всего беседовать с кем бы то ни было именно здесь, особенно когда напротив питейного места расположен не штаб дружинников, а католическая церковь. Вскоре мы распрощались, будучи дружески расположены один к другому, распрощались своевременно по причине, о которой отец Таймо, когда был жив, говорил: «Весь секрет prolongation жизни заключается в том, чтобы жизнь свою не сокращать»... А кому лучше знать, насколько это верно, как не медику. Похоже, очень мне не повезло, что не пришлось пообщаться со старым и в высшей степени порядочным и мудрым школьным учителем

Шагая к Таймо я продолжал размышлять о Доме

инженеров, сатирике, начисто лишенном чувства юмора (бывают, видать, и такие сатирики, шутя с которыми, надо разъяснять: «я шучу»), о других посетителях и сравнивать их с обитателями бункера. Ведь какие интересы я замечаю у людей экс? Например, экс-председатель пытается доказать тем, кто заранее с ним согласен, неправильность ведения городского хозяйства, — дескать, построено черт знает сколько кафе, а вот бани приличной построить нет средств. Словно он сам так уж часто посещает баню... У экс-прокурора время остановилось где-то на том уровне, когда у него была машина Экс-подвыпивший инженер толкует о конструкции, которую он мог бы создать: все о чем-то бывшем и неосуществленном...

В Доме инженеров, беседуя с доктором, я краем уха прислушивался — в силу давней нехорошей привычки — к разговорам за другими столиками вокруг, причем заметил, что и доктор краем глаза за всеми наблюдал.

А разговоры велись здесь примерно столь же азартно, но с соблюдением приличия. В углах рассуждали об автомобиле, который почему-то сложилось — потеря автомобиля), или об автомобиле, который надо бы купить, о конструкции, которую необходимо создать; о лучшем ведении хозяйства — что надо бы отремонтировать старые здания и приспособить их под кафе (этих бани не интересуют — у них свои сауны). Спрашивается, какая в сущности разница между тем, что одни не сделали, и тем, что другие еще не делали? Небольшая. А интересы у одних сзади наперед, у других спереди назад..

Сидят люди тут и там в Домах инженеров от техники, инженеров человеческих душ, в бункерах, клубах, пьют кто что в состоянии, запивают чаем или кофе, курят и все говорят о том, что надо бы делать и как надо бы делать, а в промежутках себя хвалят, критикуют, говорят о разуме и разумности, и, мне кажется, сама эта говорильня стала уже проблемой, мешающей образованию разумного. Еще тысячи лет назад говорили мудрецы, что слова для того существуют, чтобы мысли скрывать. Значит, слова-то говорились правильные, а мысли уже тогда у людей были такие, что их надо было маскировать. Но сегодня слов стало больше богатеем ведь...

Я уже скучал по Черному озеру, а так и не был еще на своем Променаде Серьезных и Глубоких Размышлений и не видел Зайчиного Дерева с тремя колдовскими знаками. Разгуливать по городу было крайне неприятно, одолевали мысли о мести, хотя в глубине души я понимал, насколько это глупо и даже необъективно. После недолгих и даже неглубоких размышлений стало казаться, что я догадался о причине нападения на меня. Что ж тут сложного: я сам вызвал огонь на себя. Ведь кое-что я помню, а именно: что вел себя несколько несдержанно, показывая свое превосходство, а это раздражает кого угодно, даже не пьяного. Все эти экс-люди не имеют уже каких-либо перспектив в жизни, они их пропили давно и не жалеют как будто, а если жалеют, об этом не говорят. Но теперь они люди второго сорта и сами это прекрасно понимают. Я же хвастался своей свободой, которой на самом деле нет, и перспективами — также сомнительными. Но тем не менее между ними и мной какая-то разница существует. Мы не можем стать друзьями, даже если бы я этого хотел, потому что они во мне как бы чувствуют хищника, старого, беззубого, но все же... Я не их человек, не свой, а рассказываю о своей жизни так, словно я хозяин жизни и все мне доступно.

Может, и не так все было, как я пытаюсь вспомнить, но могло и быть. Во всяком случае ясно одно: я держался как личность. А это тоже раздражительно для тех, кто работает сторожами, судомойками в столовых или на других не соответствующих ни их возрасту, ни даже образованию объектах.

Скажем так: доктору со мной о чем угодно поговорить приятно, ему ничто не обидно, потому что он, как хороший специалист, человек действительно интеллигентный — сам личность, и что-либо необычное в другом его не раздражает. У него ко мне интерес познавательный. У людей же в бункере интерес ко мне потребительский. И я их раздражаю уже тем, что у меня другие заботы, не те, что связаны лишь с добычей, реализацией радующей их прозрачной влаги.

Утром я заявил Таймо, что поеду на хутор Ванаталу. Она приняла это заявление как будто равнодушно — такая у нее манера. Но я-то знаю, что она пойдет провожать меня на автобус, словно я уезжаю на

Северный полюс и неизвестно когда вернусь. И, провожая, она всегда, рано или поздно, произнесет свою традиционную жалобу: «Сегодня и домой-то не хочется идти...»

Однако сейчас она промолчала, этак безразлично поинтересовалась — каким автобусом и все ли купил, что мне надо взять с собой. Так же, когда приезжаю откуда бы то ни было и сколько бы ни отсутствовал — год, месяц, — она не поинтересуется, какие у меня дела в Тарту, а с ходу начинает рассказывать о себе, о брате, о чем он ей писал, кто у них в Канаде еще родился, кто на ком женился. Сперва я обижался, когда обнаружил такое отсутствие интереса к моим делам. Пытался что-то объяснить. Она послушает и, как всегда, неизвестно с чем соглашается: «Ну да, конечно». Вскоре я догадался, что с ее стороны это такой же маневр, как и с моей, когда я, не слушая ее, тем не менее произношу: «Да, да-да...»

Старику надо было купить бутылку — это как традиция, себе — продукты. Скоропортящиеся, вроде колбасы, мне без надобности. Я приобретал крупу, консервы, копченую салаку, чай, сахар и кофе, потому что варить в лесу у озера, на природе, кофе — это роскошь. Его можно пить в кафе или дома, или в гостях, но пить его ежедневно и везде значит не испытывать от него удовольствия, он становится привычным и даже невкусным. А в лесу, утром рано, когда солнце вот-вот покажется, ты сидишь у самодельного камина из собранных вокруг камней (он же и плита) и смакуешь изумительный напиток. Или, приготовив кофе, я ползу на «веранду» своего соснового дома любоваться тихим черным зеркалом озера, восходом солнца и дятлом, ищущим себе завтрак, пробуждением этой неповторимой поэмы — жизни. Вот где кофе по-настоящему ароматен и вкусен!

— Да, Таймо, я уже все закупил и пора уходить, чтобы не натворить что-нибудь, а то меня мстительное настроение одолевает.

Оказывается, провожать не будет: собирается на работу. Надевает темную форменную куртку, на голову красную шапочку с ужасно длинным козырьком, делающим ее похожей на утку.

— Отец говорил, что месть сладка, но сладостями легко испортить пищеварение.— Таймо заливается смехом. Затем следуют разъяснения насчет еды, как будто я сам

не знаю, где что у нее находится.— Если хочешь почитать последнее письмо из Канады, ищи в оранжевой коробке.

И она потопала вниз. А где оранжевая коробка? Здесь целая пирамида коробок из картона: она их смастерила, когда была переплетчицей. Розовые, зеленые, коричневые, желтые.. Я не дальтоник, но найти оранжевую коробку не в состоянии.

Сидя в автобусе, я думал только о том, что в этот раз так и не побывал у Зайчиного Дерева, не увидел, на сколько оно выросло. Да и в парилку не ходил, но это не столь важно. Зайчиное Дерево я представлял таким, каким оно было, когда я его посадил — совсем маленькое — на том месте, где маленький Заяц когда-то, сидя на корточках, проливал кровь... Сентиментально, конечно, в наш современный век, встретив эстонца на чужбине, раскрыв объятия, кидаться к нему, но гораздо разумнее — если это какой-нибудь молодой человек — держаться на отдалении, чтобы он тебя как-нибудь не облапошил; а если он в возрасте, то сам от тебя убежит, едва только заговоришь по-эстонски, или же будет с нетерпением ждать (он все-таки хорошо воспитан), когда ты, наконец, удалишься.

Однажды в Москве я услышал родную речь и остановился: две дамы стояли посреди Столешникова переулка и громко делились какими-то соображениями. Я подошел и сказал: «Терэ». И удивился: обе дамы исчезли. Словно сговорившись, они разбежались в разные стороны. Да я же не хотел занять у них три рубля и попросить ночлега...

Мой автобус проехал поселок поздно вечером, когда тот спал. Я единственный сошел на остановке и с тяжелым рюкзаком за спиной зашагал в сторону хутора. Спали даже собаки, и пьяных не было видно. Здесь ночью — это не Тарту — спокойнее. Если и пьют где-нибудь, то не шляются по поселку, по хуторам. Где пьют, там и спят, там и похмеляются.

У нас на хуторе собаки нет, хотя я бы не возражал. Однажды завел со стариком разговор о собаках (он их почему-то не любит), рассказывал интересные истории о них, какие вычитал в книгах или слышал, и про своего знакомого пинчера с его-дамой,— о многих симпатичных собаках, которых знал или выдумал, чтобы склонить старика завести хотя бы щенка, на хуторе собаке была бы рас-

прекрасная жизнь. Старик даже поддержал разговор: «Да, я как-то знал одну суку аж целый год... Ох, и дорого же она мне обошлась...» Я понял, что он повернул на свою любимую тему — о приключениях с женщинами, и продолжать не стал. Но до чего же он злобен к женщинам, отчего бы? Я тоже, грешным делом, знал их, однако у меня сохранились только добрые и нежные воспоминания даже о тех, которые ко мне, может, не очень благородно относились. И ведь старушка какая-то с ним жила и судьбу его разделяла, пока не умерла...

Хутор, казалось, тоже спал, но старики рано не ложатся, они рано встают. Когда я открыл наружную дверь в коридор, то услышал из большой кухни его кашель. Он любил устраиваться у окна и сидеть в темноте, а сейчас было лишь сумрачно, скоро ведь белые ночи. Приближается июнь.

У Таймо в квартире рядом тоже живет такого типа старикашка восьмидесяти девяти лет (тот самый, который все пытается увидеть меня). Он, рассказывала Таймо, в свое время за ней ухаживал, не ради женитьбы, а просто хотел при наличии своей Салме завести с родственницей нежные отношения. Салме для Таймо троюродная тетка, очень неприятного нрава — злоязычна, любит совать нос в чужие дела и сплетничать. Теперь ей около восьмидесяти и бог наказал ее самым чувствительным образом: у нее был инсульт, в результате она все видит (только не меня), все слышит, но... язык отнялся.

— Привет! — говорю старику. Он сидит у окна за столом, как я и думал. — Не спится?

Старик сопит, молчит. Может и не ответить. А что ты хочешь, человеку восемьдесят три, на голове детский пушок, бороденка жиденькая, глаза, правда, ясные, хотя и не очень дружелюбно смотрят на мир божий. Конечно, ему можно ни с кем не считаться на пороге грядущей вечности, а со мной тем более. Я и сам удивляюсь, что он меня сюда пустил; думаю, поскольку собак он не любит, то именно вместо собаки и взял — все-таки не один. Только вряд ли он боится одиночества, а пятнадцать рублей ему погоды не делают. Другое дело, живи он где-нибудь у моря, тогда бы он с меня содрал все сто. А тут... До Черного озера по дикому лесу три-четыре часа добираться, никаких дорог и озеро только с одного боку доступно — кому такое удовольствие нужно?

Старик молчит. Я уже направляюсь к двери, веду-

щей на лестницу, когда он подает голос. Но и этот маневр мне известен, ведь я знаю, что он знает, что я ему при не с... Ведь это уже традиция.

— Ах, да...

Я словно теперь только об этом вспомнил. Старик хрипло хихикает, он-то знает, что я вспомнил не теперь.

— Давай, давай... Доставай. Наверх еще успеешь, тебя там никто не ждет. Да ты бы себе завел, что ли, кого-нибудь, мне все равно, я не против... кх, кх, кх...

Значит, и мне разрешается с ним за компанию посидеть. Так не всегда бывает. Снимаю рюкзак, развязываю, достаю бутылку. На дореволюционном буфете стоят пятидесятиграммовые граненые стаканчики, беру пару, ах да.. у меня еще сыр есть, из вежливости и его выставил.

— Огурцы... огурцы были в чулане,— хрипит старик,— на сковородке там грибы жареные... Прихвати. Хлеб..

Все принес, все расставил, водку разлил, стукнулись, выпили, за грибы взялись молча. Со стариком мы пьем каждый из своего стаканчика. Вообще-то у эстонцев принято иначе: соберутся человек пять-шесть или больше — бутылка много, а стакан один. Дурацкое это дело, должен сказать. Нальют, один кто-нибудь выпьет, опять нальют — другому дают, а тот что-нибудь «травит», и все ждут, слюнки глотают, пока он наконец соизволит освободить стакан; ну вот, нальют третьему, теперь этот о чем-нибудь калякает, а последнему в кругу — тому, что рядом с первым,— прямо не сидится... Иногда одну-единственную бутылку таким образом на полдня растянут.

А бывают и курьезы. Пришел я к одним — их шесть человек, они как раз распечатали поллитровку, стоит стакан граненый, нормальный стакан, налили до полна и протянули мне первому. Вообще-то я не хотел, но раз предлагают, чтобы не обидеть... Я привык к тому, как это делается в России, и выпил честно до дна. У всех глаза на лоб полезли. Отчего? Оказывается, это была их единственная и последняя бутылочка, до магазина восемнадцать километров, а ехать не на чем, мы были в лесу. Я же залпом уничтожил третью часть того, что они — шестеро — плюс еще я, должны были смаковать как можно дольше. Не знаю, как и жив остался...

У нас со стариком у каждого отдельный стаканчик и вместо «прозит», как здесь принято, мы чокаемся.

Культура! Правда, наверху меня ждет книга Джека Лондона «Джон Ячменное Зерно», и там, кажется, я остановился на главе о белой логике. Но у нас со стариком до этого не дойдет, надеюсь. Я ему ведь не скажу, что у меня «три пулемета и танк в кустах», то есть еще три бутылки в мешке — их я с собой в лес унесу, иногда и там хочется поддаться соблазну.

— Что-то ко мне, кх, кх, стали тут дамочки в последнее время заглядывать,— говорит старик.— К чему бы?

Старик повел разговор в привычном для него русле, как мне показалось.

— Кх, кх, но не ради же меня они сюда заезжают. Вода им, видите ли, понадобилась прямо из моего колодца... их «Жигули» на другой воде не ходят, отказываются...

Откуда ветер? К чему этот старый женоненавистник клонит? Я молчу. Пусть гонит гусей дальше.

— Одна тут говорила, будто тебя знает, что вроде вы с ней где-то уже встречались. Вот я к чему.

Сколько ей лет? — Мне как будто уже интересно. Но решаю пока разыгрывать из себя благоразумного.— Роберт, мне в июне исполнится пятьдесят пять, уже могу быть дедом.

— Кх, кх, шенок ты. В твои годы я такое...

Возможно, действительно в мои годы этот старик мог еще делать то, что делал я, когда мне было тридцать пять, и неизвестно, дотяну ли я до его возраста. Но люди ведь неодинаковы, хотя сделаны из одинакового материала. Черт его знает, какая у меня наследственность. Отец мой пил очень умеренно, все равно что не пил. Хотя когда я совершил свой первый дурной поступок? Когда сломал заднюю стенку отцовского шкафа, чтобы добраться до бутылки, которую от меня тщательно прятали и запирали. Достав ее, я, естественно, попробовал на вкус эту светлую жидкость и был глубоко разочарован — такой горькой гадости не ожидал. Стоило ли прятать? Ведь керосин не прячут. Было мне в то время лет девять. Разве это называется пить, если у отца бутылка стояла в шкафу!.. И дед мой не пил, он был верующим. Насчет прадеда и его предков я, конечно, не знаю: может, кто-нибудь из них был непревзойденным алкоголиком, потому что один дядя мой не пьет и тоже верует в бога, но два других...

— Она спрашивала, не был ли ты в детстве в Германии, где-то там в Шлезвиг-Гольштейнском районе. Она тебя здесь видела, когда ты в автобус садился, кх, кх.

— Она не сказала, как ее зовут и кто она?

В детстве... в Германии... Какое это было, к черту, детство! Не было его. Когда война — детству хана. Я был не только в Шлезвиг-Гольштейне, но и у черта на куличках. Кто бы это мог быть? Мне же тогда не было пятнадцати, и чтоб теперь меня узнать... сорок лет прошло. В Тырва с 1949 года живет один человек, приехал якобы из Франции. Он мне когда-то прислал письмо, нащупывающее, с намеками, что если я — действительно я, то, может, надо бы встретиться. О себе он сообщил лишь, что был со мной в Клинберге, что я его там прихватил на одно дело, и мы ограбили склад с одеждой, «прибарахлились» — так он изволил выразиться. Еще он напомнил, что при повторной попытке «навести в этом складе свой порядок» я был накрыт. Значит, ему неизвестно, что мне удалось удрать, неизвестно потому, что наши пути больше не пересекались, хотя могли бы, ведь я в 1954 году в Тырва находился в одной из четырех камер КПЗ. Тревожное было время, хотя война кончилась. Теперь там опорный пункт милиции и камеры пусты. А в бывшем районном суде теперь детский сад. Тырва уже давно не районный центр.

На письмо этого человека я ответил вполне искренне и признался, что я — действительно я, что когда буду на родине, то разыщу его, и попросил написать о себе: кто он теперь, есть ли жена, дети, кем трудится, пьет ли, и если пьет, то сколько. Он не ответил.

Ну вот, а теперь еще какая-то женщина раскатывает на «Жигулях» в непосредственной близости от моего временного жилища и интересуется...

Когда мы выпили со стариком Робертом по третьему стаканчику, я с ним расстался. Пошел читать белую логику. Но что там белая логика! Старику восемьдесят три года, а он еще пьет водку. А я? Три рюмки мне ничего не дают — не заведусь даже. После седьмой — сколько ни давай, все мало, такая у меня конституция. А потом три дня бьет колотун, десять дней из жизни вон, ровно столько надо времени, чтобы более или менее восстановиться. Вот и вся логика.

— Кх, кх, слушай, друг, — крикнул мне старик вслед, — помоги мне завтра штабель спустить, одному тяжело.

Пожалуй, лучше мне с этой дамой не встречаться, решил я, берясь за «Джона Ячменное Зерно». И вообще я давно пришел к заключению: нужно опасаться новых знакомств, если ты в себе не уверен, но и старых надо на всякий случай избегать, как, например, того фрукта из Тырва — он не ответил на мои вопросы, значит, ему угодно быть в тени, на позиции выжидания. Ну и хрен с тобой, выжидай.

7

Я помню одного скользкого типа в Москве, который норовил прийти ко мне в гости под предлогом, что, мол, очень надо поговорить, а разговор «не телефонный». Ну какие могут быть такие разговоры, что нельзя по телефону? Подслушают? Значит, преступление? Банк ограбить? Или заговор против кого-нибудь? Может, предложит организовать восстание против Гослитиздата? Не хочу заговоров даже против Гослитиздата. Но и я, как японец, не люблю слова «нет», тем более, что сам его только и слышу от разных издательств. В то же время переговоры с издательствами меня многому научили — например, как не сказать «да», когда не хочешь сказать «нет». Поэтому я ответил тому заговорщику, чтобы позвонил через неделю.

Он позвонил. Я сказал — у меня ремонт позвоните через неделю.

Он опять позвонил.. через неделю. Я сказал, что ремонт не окончен.

Он еще раз позвонил через неделю. Я сказал, что ремонт окончен, но жена лежит дома больная, так что можем встретиться в стенах Дома литераторов.

Он сказал, что это не то — какой, мол, может состояться серьезный разговор в таких стенах. Тогда я попросил позвонить через неделю.

Он позвонил. Я сказал, что жена выздоровела, но я сам заболел (покашлял в телефонную трубку для убедительности), и было бы хорошо, если бы он мог позвонить через неделю.

Он, наверное, до сих пор еще звонит, но меня уже три года нет в Москве. О да, меня многому научили московские издательства, секретарши и заместители всевозможных заместителей. Так и с этим гражданином из Парижа, который теперь в Тырва живет,— ждет, что я к не-

му побегу смотреть на его длинный нос (я этот нос отлично помню). Наверное, у него есть какие-нибудь темные мыслишки, как деньги раздобыть...

Дудки! Мне деньги не нужны. Вернее, сколько надо, чтоб я мог жить, будучи никому не должен, стольким я так или иначе себя обеспечиваю: еще нет-нет да где-нибудь издаются мои тощенькие книжки, переводятся на другие языки, так что даже в «Березку» иногда сую свой нос, когда, скажем, не во что обуться. Однажды даже попробовал сделать бизнес (тогда я еще в Москве жил): решил продать чеки за двести рублей. Сколько раз, когда я заходил в «Березку», ко мне подходили люди, преимущественно с темноватой кожей, и тихонько спрашивали: «Чеки есть?» Это и есть покупатели. Однажды молодой человек с сильным кавказским акцентом распахнул передо мною бумажник с толстенной пачкой денег и тоже спросил: «Чеки есть?» Ему необходимо было срочно купить японский телевизор за тысячу семьсот рублей, а чеков не хватало.

Я решил попробовать. Сунув в карман сторублевый чек, отправился на Пятницкую. Было лето. Хожу, гуляю вокруг обувного магазина «Березка». Подходит ко мне парень — то, что надо: лицо темное, под носом усы, акцент восточный. Спрашивает: «Чеки есть?» — «Есть». Он хочет за полтора, я говорю — за два. Он предлагает за один восемьдесят. Я говорю, не стоит из-за двадцати копеек мелочиться. Наконец он согласен. Идем в скверик. Он лезет в карман, достает деньги, но... приближается милиционер. Я отворачиваюсь, он начинает насвистывать мелодию: дескать, Сильва, ты меня не любишь. Милиционер, обращаясь к нему, произносит: «Опять здесь? Ведь предупреждал...» Молодой человек что-то объясняет, в это время от меня требуют документы. Показываю. «У вас чеки?» — спрашивает милиционер. Отрицаю и ухожу не оглядываясь.

Вскоре усатик меня догоняет: «Покажи чек, печать на нем есть?» Печать есть. Он сует мне пачку купюр: «Пересчитайте». Я считаю. Так и есть — двадцать рублей не хватает. Обращаюсь к нему с молчаливым укором. «Что? Не хватает?» Он берет у меня свои сто восемьдесят, пересчитывает и соглашается: действительно не хватает, добавляет еще два целковых и дает деньги мне. Я их в карман, ему чек, разбегаемся, желая друг другу долго жить. По дороге, выходя из метро на станции «Динамо», я

на всякий случай стал еще раз пересчитывать деньги, прикидывая, сколько на лишнюю сотню можно купить, и обнаруживаю, что в пачке вместо двухсот всего... сто. От злости я расхохотался. Когда и как этот иллюзионист меня надул, так и не понял. Черт бы меня побрал! Надо было взять его сто восемьдесят, и все бы ничего, а теперь, выходит, я ему любезно поменял чек рубль за рубль.. Считай, даром отдал. Не идиот ли?

Рассказал о случившемся одному приятелю, он долго хохотал: «Ты вроде сам когда-то был жулик первоклассный, как же так?» Пришлось признаться, что дисквалифицируюсь понемножку. Ведь если бы я еще раз эти деньги пересчитал, тогда бы не попался, но все происходило перед моим носом, какие сомнения! А деньги, брат, надо считать. Но я стал очень доверчивым почему-то и за это бесконечно расплачиваюсь. Однажды в Риге услышал в ресторане «Росток» эстонскую речь, обрадовался, рот разинул, побежал искать — кто? Нашел: четверо молодых и красивых, сказали, что они борцы. Приглашаю в гости. Одеваемся, выходим, покупаю четыре бутылки водки, кладу в свой портфель, бросаю на заднее сиденье такси, ребята рассаживаются, едем. Приехали, выхожу и ору: берите портфель, ребята, за мной! Вхожу в калитку, открываю дверь дома, поворачиваюсь, чтобы пропустить милых земляков, но... такси уже далеко. Уехали дорогие эстонские «борцы» вместе с моим портфелем.

Или вот однажды, когда я в Тарасовке работал библиотечкарем. Зима, сильный мороз, еду в Пушкино, получаю зарплату и на обратном пути в поезде встречаю красивого парня, который не знает, где переночевать. Поздно, а ему в Электросталь. Пригласил к себе. Пошли в магазин. Я взял бутылку, чтобы веселее было разговоры говорить. Пришли ко мне. В прихожке портфель бросаю, разделся и побежал на кухню яичницу жарить, он же зашел в ванную — руки вымыть. Мыл он минут десять, двадцать — не появляется. Пошел посмотреть, ведь яичница давно на столе. Не оказалось ни парня, ни моего портфеля, а в нем зарплата, паспорт и другие разные вещи...

Теперь уж я стал осторожней, так что в Тырва не еду, а насчет этой дамочки с «Жигулями» — пусть каetaan, если бензина не жалко. Пойду в лес на Черное озеро, там меня ни одна собака не найдет, даже Таймо, даже старик Роберт — никто не знает, где это. Там мое тайное государство. На зиму переберусь к Таймо, возмож-

но раньше, осенью — когда можно будет стать базарным воробьем. Осенью можно очень хорошо заработать, так что хватит на целый год, если расчетливо тратить.

А лишние деньги мне теперь не помешают, учитывая, что я еще и без зубов остался, без главных атрибутов завоевания человеческого расположения — улыбки. Без зубов улыбка — нуль. Конечно, могут мне сделать зубы и в общем порядке. Но здесь по два месяца (иные год ждут — не Москва) надо в очереди числиться. Сила здесь поможет единственная — деньги. Когда они есть, будут и зубы. Попрошу того доктора, который меня зашивал, кого-нибудь да посоветует. В Москве частники на каждом шагу, должны и здесь быть. Зубы — везде доходное дело.

Базарные воробьи начнут слетаться в Тарту к зданию крытого рынка уже в последних числах августа, в сентябре же их тут полно. Сюда, к рынку, приезжают по утрам автобусы из близрасположенных колхозов и совхозов и набирают поденных рабочих на сбор кормовой свеклы, картошки, капусты, яблок.

В шесть утра ты шагаешь в одежде, соответствующей погоде, с паспортом в кармане к базару, а там они тебя уже ждут. Начинаешь выбирать: какой колхоз, что убирать, сколько платят. Выбрал, скажем, колхоз имени Кингисеппа, садишься в его автобус и ждешь, пока он набьется полный такими же воробьями. Бригадир колхоза, конечно, должен следить, чтобы не залезли такие, которые еще не успели со вчерашнего протрезвиться. Бывает. Затем привезут в поле, появится трактор с прицепом, начинает распахивать поле, а ты в стае «воробьев» ходишь сзади, срезаешь хвосты у свеклы и бросаешь в кузов прицепа. Затем обед. Потом опять — дождь не дождь, собираешь свеклу. Вечером получаешь пятнадцать рублей, садишься в тот или другой автобус и едешь в город.

Десять дней — сто пятьдесят в кармане. Два месяца едешь, и живи не тужи. К тому же веселья вдоволь. Это главным образом за счет пьяных воробьев, которые уже в обеденный перерыв, а то и раньше (как только откроют местный магазин) начнут пить «бормотуху». Почему и надо признать, что в общем-то правильно говорят: «Воробей и тот пьет»...

Так что сказать, будто мне не нужны деньги, не скажу. Но ради них я не стану ни иллюзионистом, как тот кавказец у «Березки», ни заговорщиком против Гослитиздата. Я довольствуюсь ролью воробья и с голоду не

помру: где-нибудь что-нибудь да поклюю. Но потому, что «воробей и тот пьет», иногда захаживаю в бункер с риском получить по зубам! А что!.. Кто не рискует, тот не пьет.

8

Утром, когда я спустился вниз из своей мансарды, Роберт уже меня дожидался, чтобы пойти и свалить штабель. Тот, наверное, простоял на дворе за домом уже с полмиллиона лет, бревна то ли уже пересохли, то ли прогнили. Но к старику пришло наконец решение эти бревна распилить на топливо, потому он в этом году и не запасался дровами, как бывало. К тому же и я в качестве рабочей силы присутствовал. Потом выяснилось, что тот из города, который приезжает на «Запорожье», обещал привезти мотопилу «Дружба».

Бревна были уложены в пять-шесть рядов, подпертые по концам тремя колами. Не то чтобы очень высоко, но старику одному с ними действительно неудобно, могли придавить. Они и придавили... меня.

Я попросил старика, чтобы он немного бревна придерживал, пока я подпорку вытащу. Он, конечно, держал. Я сначала выдернул один кол, крайний, со своей стороны. Потом средний и... они меня и придавили, потому что старик и оставшийся последний кол штабель не удержали. Вывернуло мне к чертовой матери всю правую руку, начиная от плеча и до мизинца. Больно, конечно. Так что пополз я кое-как наверх и, выпив солидную порцию водки в качестве анестезирующего, завалился спать. Проснулся, еще анестезировался и опять спать. Таким образом анестезировался, пока было чем, и тогда появилась необходимость снимать боль уже не с руки, а с головы, а чем, когда весь «анестезин» вышел?

Старик, кажется, поднимался на меня посмотреть, во всяком случае мне показалось, что слышу около себя кх, кх, кх, и кто-то что-то хрипел насчет того, что бревна покатались туда, куда им не надо было катиться, так что они придавили тот самый куст смородины, который покойная Маали больше всех других кустов любила.

Затем опять жизнь стала просто невыносимой из-за концентрации всевозможных неприятных ощущений, когда я весь болел с головы до ног и весь мир вокруг болел, и мухи, что садились на мое заросшее лицо, и даже липа за окном дрожала, когда дрожал я, и половицы сто-

нали вместе со мной,— именно тогда и выяснилось, что половицы скрипели не сами по себе, а потому, что по ним ступали человеческие ноги, две ноги, шагавшие с одного конца комнаты в другой. А затем стало очевидно, что из-за этих проклятых бревен мне не удалось вовремя удрать в лес от искавшей меня мадам, прикатившей на собственных «Жигулях». Но стало очевидно и другое: толку ей от того, что меня настигла, не было никакого, ибо первые слова, которые она от меня услышала, были:

— Вы на машине?

— Да,— ответила она. Звук ее голоса не говорил мне, что я его раньше где-нибудь слышал.

— А деньги у вас есть? — задал я еще один вопрос почти шепотом, потому что, честно говоря, сил у меня для громкого голоса как будто и не было совсем, да и желания говорить — не больше.— Тогда езжайте в поселок,— прошептал я уже довольно требовательно,— и привезите одну бутылку водки, иначе мне конец... две! — закончил я безапелляционно.

Что мое желание тут же будет исполнено, в этом я вовсе не был уверен, такое редко случается, что тебе тут же по твоей просьбе принесут, но эта женщина — сквозь сумрак, застилавший мое сознание и зрение, я только разобрал, что она среднего роста, темноволосая и, кажется, очень худая,— она даже не пикнула насчет того, что с меня хватит, что я... уже, что я плохо кончу. Она просто-напросто пропала. Поскрипели половицы, а ее, когда я открыл плохо видевшие очи, не оказалось, но я услышал, как где-то далеко, на другой планете, заводили мотор автомобиля, а сколько было времени — откуда мне знать, может, и одиннадцати еще не было. Но в сельских условиях это особенного значения не имело.

Удивительное дело. Она, вероятно, поехала выполнять мое поручение, я ее толком и рассмотреть не смог из-за психического сумрака, но не успела она вернуться, возможно даже до поселка добраться, а я знал... вдруг почему-то знал, кто она. Как и почему я это знал? Вот на это ответить не могу. А что она Тийю из Фленсбурга, это я уже знал, хотя и прошло сорок лет с тех пор, как мы расстались.

Это было во Фленсбурге. Было лето. Мне вот-вот должно было исполниться пятнадцать, ей же было немногим больше, на полгода или год; она как будто уже знала, что такое любовь, а я очень хотел узнать. Кое-что знал и я,

но то было другое. Ведь ее услали в Германию к знакомым еще в сорок третьем году, потом она оказалась в чужой семье в качестве служанки. Потом конец войны, и ее с трудом отыскивает дядя — весьма таинственный индивид. Они поселяются в лагере для перемещенных лиц. Здесь я увидел ее однажды, когда она через зал, полный людей, пришедших слушать знаменитого тенора Кристьянсена, смотрела на меня.

Мы не отводим глаз друг от друга. Потом робкое знакомство и первое свидание в пустом школьном зале в темноте, и первые поцелуи, потом другие поцелуи, потом третьи и бесконечно много поцелуев где попало: в бомбоубежищах, на улице, в парках, в кустарнике за бараками. Поцелуи были страстные и чувства мои чувствительные, и ей хотелось отдаться течению, но я предлагал ей фантастические планы бегства черт знает куда, убеждал дожидаться взрослого возраста, чтобы пожениться, а пока... воздержаться. До чего же дурак! Такую нежность, такую прелесть упустить!

Естественно, она ко мне малость охладела, целоваться целовались, но заметно потускнела. Вскоре они с дядей неизвестно куда уехали, а меня стали одолевать сомнения — дядя ли он ей вообще? Больше я ее никогда не видел и ничего о ней не слышал. Но я всегда почему-то ее помнил, где бы ни был,— всегда. Только я меньше всего мог ожидать встретить ее на родине. Причем теперь...

Что это? Сначала этот в Тырва из Парижа — встретиться ему приспичило; теперь Тийю из Фленсбурга. Кто следующий?

Не знаю, что бы я почувствовал, узнал бы я Тийю, будучи трезв? Теперь же я знал: это она. И только. Я не был теперь в состоянии испытывать что-либо, я был лишен эмоций. Так что, когда она возвратилась, я ждал с нетерпением — не ее, а... чтобы скорее мне налила. До чего же эта женщина медлительна! Господи, ей вздумалось еще пойти вымыть стакан!.. Что за люди, ей-богу!

— Нет здесь воды, разве непонятно? Что его мыть? Кто это пьет из вымытого стакана? Давай... Да что ты мне налила, как ребенку рыбьего жира,— полный давай!

Наконец-то все приходит в норму, тепло разбегается по жилам, дрожь проходит, боль проходит. Я-то знаю, что это ненадолго, но я даже словно трезвею, приходит успокоение, пора и посмотреть в лицо женщине, приехав-

шей на собственной машине, чтобы помочь мне. Да, действительно, сомнений быть не может

— Ты Тийю?

— Ты меня узнал? Как? — Она прямо-таки удивлена.

— Разве можно не узнать того, о ком всю долгую жизнь мечтаешь... А жизнь была долгая... тысяча лет

Предлагаю и ей налить, но она не хочет. Почему не закусываю? Долго объяснять. Она не понимает, как это может быть, что человек сегодня и завтра выпивает и лишь послезавтра закусывает; в Европе, дескать, иначе. Верно, в Европе и стаканами не глушат. Они там, бедные европейцы, целый вечер одну-единственную рюмку сосут.

— Ты как здесь и откуда, Тийю? Где была, что было?

Она рассказывает: была Канада, с дядей; затем была Австралия, Сидней, с дядей. Ему не повезло, он вернулся в Канаду, где большинство эстонцев-эмигрантов. Потом Дания, потом, это уже в пятьдесят первом, пришло письмо от мамы из Эстонии...

— Я не знал, что твоя мама была жива...

— Она была выслана,— говорит Тийю,— в Томской области жила, так же, как твой здешний старик Роберт.

— Разве ты и его знаешь?

— Я сама не знаю, но в поселке живут родственники моего мужа — они знают. Он ведь долго там где-то был... вроде за то, что в банде участвовал.

Значит, она замужем, и здесь родственники ее мужа, она приехала их навестить и случайно увидела меня. Но как она узнала меня, разве я такой же, как был во Фленсбурге?

— Как я выгляжу, Тийю, как ты меня находишь? — спрашиваю ее и раскрываю рот со сломанными зубами в широкой улыбке.— Скажи, не стесняйся.

— Когда я тебя увидела в поселке... там, на остановке автобуса, ты был немного другим.. У тебя на голове была соломенная шляпа... А зубы... я же их не видела.

— Правильно. И сейчас не видишь. А шляпа не соломенная, где бы я мог здесь найти такой дефицит, так что шляпа, вот она валяется,— капроновая. Соломки и коровам не хватает, даже навоз теперь синтетический. Что же до зубов — их выбили, дорогая, в одном хорошем месте. Скоро сделаю новые, закажу наперед несколько заготовок, на всякий случай..

Она смотрит на меня с недоверием.

— И я теперь ношу прическу, не нуждающуюся в расческе... Но я же был красив, ты знаешь...

Естественно, время от времени я должен принять «дозу». Как автомобиль, я должен постоянно заправляться, чтобы не остановиться, а того, что будет потом, все равно не минуешь. Конечно, Тийю не знала, что я так много употребляю (злоупотребляю!), но это не мешало мне рассказывать о себе: где был, что повидал, что передумал, к чему пришел. Кое-что она читала сама, потом слухи. Обо мне иногда говорят... разное, но она не подозревала, что это и есть я, о ком говорили.

— Ты и вправду все это сделал, о чем написал? О чем говорят?..

Как она наивна! Мне кажется, она стала намного красивее и лучше, чем была там.

— У тебя много детей, Тийю?

— Двое. Дочери.

О муже смущенно молчит, потом так же со смущением признается:

— Тоже пьет... Зло... употребляет.

— Нет, Тийю, я в своих книгах много наврал. Я ведь всегда любил сочинять. Показалось, что если на сей раз совру — так в свою пользу. Сначала шло хорошо, но мне скоро надоело. Надоело быть тем, кем себя изобразил. Хотел сознаться. А мне говорят: назвался груздем — полезай в кузов. Вот... сижу в кузове.

— А твоя мама? — спрашивает Тийю.— Она жива?

— Она в Швеции. Жива, но плоха... Стара. Немного ей осталось. Плохо. С ней в одном городе моя сестра, брат, но маму они оставили одну. Их дети теперь большие, и они в маме перестали нуждаться. Сестра слаба, барахтается в жизни, с мужем разошлись. Брат закабален банком, долгами. Им непросто. А мама почти слепая и мне уже не пишет.

— Разве ты ее не видел? Почему не поехал с ней встретиться?

Боже! Как она наивна!

— Я не мог поехать... из-за одного умного лейтенанта, который не рекомендовал меня выпускать за границу, потому что я-де был нехорошим человеком.

— Откуда же он это взял? Ведь ты говоришь что это неправда...

— Откуда? Да из моей же книги. Оказывается вранье

в свою пользу тоже не приносит пользы. Ври хоть так, хоть этак — если получится с одной стороны как будто хорошо, то с другой — плохо, а если хорошо с другой стороны, то плохо с этой...

— А дальше?

— Дальше... Живу у Черного озера или хожу по бункерам и по морде получаю. Почему? Ты — как трехлетняя!.. Потому что эстонские пьяницы самые драчливые, а впрочем, все пьяницы одинаково кретины, в том числе и я.

— Скоро, говорят, совсем запретят водку, хотят сделать сухой закон, вот вам тяжело будет,— сочувствует мне Тийю.— Что будете тогда делать?

Ну, насчет сухого закона подождем, сколько уж тысяч лет об этом толкуют!.. Что до меня, я бы не возражал против него, и я знаю многих выпивох, которые тоже бы с радостью приветствовали его, потому что люди слабы, пить не хотят, но не пить нельзя: подавляет общее положение везде и всюду, прогрессирующее влияние алкоголя на все дела житейские. Кто-то словно заставляет принимать участие в общем шабаше даже тех, кому это на самом деле и не нужно. И здесь я согласен с Джоном Ячменное Зерно: восемьдесят процентов употребляющих алкоголь — не алкоголики. Но кто это тебе установит сухой закон, смешно даже!..

Мне отлично помнится, как завоевала прилавок «бормотуха». В Москве среди бутылок с марочными портвейнами незаметно заняли места портвейны типа «Кавказ» и «Солнцедар», нумерованные — «72» и другие. Стоимость была одинакова, что марочные, что «Кавказ», что любая бурда. Затем поднялись цены на марочные вина, коньяк и водку. А мужчины вино, в том числе и марочные портвейны, за питье не считали, пить «красное» считалось недостойным. Но когда стало дорого, люди стали брать то, что дешевле. Кроме «бормотухи», ничего дешевого не было, и накиннулись на нее.

И удивительно, если за вином раньше не было очереди, а лишь за водкой, то теперь за «бормотухой» приходилось стоять. В чем дело? А в том, что, если порядочный портвейн не сразу действует на организм дурманяще, «бормотуха» «брала» сразу за счет добавленного в нее спирта, и получалось лихо: дешево да сердито — бутылку высосал, и сразу ты герой. Теперь налетали и хватали десятками любую плодово-ягодную. Не помогли даже

добрые люди, написавшие в «Литературную газету» правду о «бормотухе» в статье «Час волка».

Статья статьей, да кто ее читал? Лишь тот, кто «бормотуху» не пил, а кто пил, тот не только статью в газете, он и книги ни одной в глаза не видел. Я читал «Час волка» и думал, что теперь, когда люди знают, из какой гадости делают «бормотуху» и кто ее делает, — теперь она исчезнет, запретят... Куда там! Ее еще больше появилось, и впечатление о борьбе с алкоголизмом создавалось такое: левой рукой ведем борьбу, правой же расставляем на полках да на прилавках новые партии отравляющих напитков. Какой уж тут сухой закон...

«А сухой закон ничего и не дает», — говорят некоторые мыслители, мотивируя тем, что уже были в мировой практике подобные примеры. Думается мне, они не помогали потому, что не были до конца доведены, человечеству хотелось оставить хоть какую-нибудь лазейку для Зеленого Змия. Не хотели люди совсем перестать пить, не понимая, что пить помалу — неосуществимо. Но борьбу вели с... употребляющими алкоголь: штрафы, медвытрезвители. По существу, боролись с жертвами Ячменного Зерна. Это все равно, что карать тех, кого укусила бешеная собака, и везде кричать: не подходите к бешеной собаке, она кусается. Да убейте ее, если кусается и вы ее боитесь. Собака живет себе на виду у всех, ее оберегают, а тех, кого она кусает, подкарауливают и бьют...

«Что толку в сухом законе, — говорят его противники, скрытые сторонники Ячменного Зерна, — тогда, дескать, самогон будут гнать, что и теперь имеет место, без всякого закона?.. Кто хочет — будет пить все равно». С этими мыслителями вполне можно согласиться.

Но хочется мне спросить: с чем легче вести борьбу — со злом запрещенным или со злом разрешенным? Во всяком случае, одно преимущество будет непременно: если человек выпил, он будет стараться это скрывать, а не похвастаться, как это делается сейчас; по крайней мере, он не будет орать на улице, а постарается куда-нибудь спрятаться, чтобы орать там, где его не слышно.

Но, милая моя Тийю, на эту тему исписано уже столько бумаги, за писания выплачено столько гонораров, что на те средства можно было бы напечатать миллионным тиражом всю классическую литературу. Пить и говорить будут до бесконечности, и цены на водку поднимать будут — все может быть, кроме сухого закона, потому что

Дьявол в образе Зеленого Змия, давно выросшего в Дракона, опутал сознание людей, им смертельным кажется такой шаг. Победить алкоголизм, чтобы стали люди умно и трезво жить, — это революция, и тому, кто это сделает, люди должны поставить памятник. Вряд ли такой памятник установят...

— Налей-ка мне еще малость, дорогая. Милая моя Тийю! А что, если нам попробовать осуществить то, что мы не могли делать тогда во Флейнсбурге? Если теперь...

— Какой в этом смысл, — прервала она меня, — какой мне смысл поменять одного алкоголика на другого? Тот, который у меня есть, он все же отец моих дочерей, да и сон наш уже послеобеденный... Мой муж пьет, но он добрый, и он — мой крест, у каждой женщины свой крест.

— Что подразумеваешь ты, Тийю, под сном послеобеденным?

— Жизнь, — сказала Тийю. — Утренний сон — сладкий и бодрящий. После него человек встает полный энергии и готовый к деятельности; послеобеденный сон — у людей утомленных, знающих, что день склоняется к вечеру и много сделать уже не успеешь; а вечерний сон — для уставших, жаждущих успокоения. Мы уже к такому сну близки, какие еще эксперименты?! Расскажи мне, как ты жил.

— По-разному, Тийю. Я знал многих выдающихся людей, и даже государственных, и мог бы, наверное, укрепить мои знакомства, даже сделать карьеру, но я так или иначе сумел всех от себя оттолкнуть. А друзья? Ну.. с ними сложнее. Приятели есть, друзей нет. Есть один, который долго колебался между полками для тех и других, он врал еще больше, чем я. Он призывал людей жить честно и красиво, а сам пять жен поменял и немало детей сотворил, но... не пьет и не курит. Зато разводит тараканов и тренирует их: они у него в ванне устраивают соревнования по плаванию в стиле кроль, да еще подводному, высовывая усы, словно перископы.

А я, Тийю, закончил свою московскую жизнь на яйцах... то есть на краже куриных яиц в количестве трехсот шестидесяти штук, за что и находился одиннадцать суток в Бутырской тюрьме, и не помогло даже то, что за пять минут открыл сейф в управлении милиции по просьбе криминалистов, которые три дня не могли его открыть. Но обо всем этом мне не хочется тебе рассказывать —

чего только не было в этой жизни, в которой столько умных людей и так мало разумных... Что же касается яиц, я теперь терпеть не могу яичницы. Получилось так потому, что я не люблю людей, которые твердят везде и всем, как они любят людей и цель их жизни — быть полезными людям, следовательно, обществу. Врут!

Тийю, я, конечно, немного уже перебрал, потому что опять не вижу тебя через сумрак и туман, но я, Тийю, пришел в эту жизнь из глубокого леса, и знаешь, кого я надеялся встретить? Я надеялся встретить никарагуанцев. Мне интересно, есть ли в Никарагуа проходимцы? Есть ли там лицемеры, ханжи, приспособленцы и прочие подонки? Наверное, нет. Потому что среди таких людей, как те, кто там сейчас строит новую жизнь, проходимцам делать нечего, и они, верно, удрали давно куда-нибудь, скорее всего в страну «неограниченных возможностей»... Ведь всегда, когда какой-нибудь народ решает в пользу более справедливой жизни, жулики и дураки удирают за границу.

Но ты, Тийю, посиди со мной. Когда я много выпью, мне всегда надо, чтобы кто-нибудь сидел рядом, чтобы мне не было страшно. У тебя машина, ты всегда уедешь. А я не могу сейчас пойти на Черное озеро, мне там некому жаловаться. Там только сосны. Они разговаривают, но между собой, и я не понимаю их. Там белки и вороны, и синицы — все они между собой разговаривают, но не со мной. Я там, как Таймо с улицы Пуйестее. У нее дома тряпочные звери — медведь олимпийский, мартышка, куклы, и они вместе смотрят телевизор, который ей из Москвы привезла Зайчишка. Но они не говорят даже между собой, и Таймо также некому жаловаться. Воробьи к ней прилетают кормиться, но говорят не с ней, а между собой. Так устроена жизнь, что люди могут общаться с кем им хочется и даже присвоить животным собственные мысли, но поговорить могут лишь с людьми. Например, расскажу я тебе о жизни так, как она якобы видится собаке. Если проскользнут сомнительные высказывания, что ж — не я же так думаю, а та собака; а что с нее возьмешь...

Когда я очнулся, был день, и я в него пришел, как в спасение — лучше даже самый пасмурный день, чем тот мир, где только что находился: в бесконечных, причудливо освещенных галереях, где везде лежали люди с лицами, искаженными предсмертной болью, одетые в рванье или совсем раздетые; мы шли по галерее молча, целая

группа, но кто мы — я не знал; затем попали в другие помещения, где были еще более страшные зрелища — разрубленные на части человеческие тела, подвешенные на веревках, качающиеся головы; потом приблизились к двери, перед которой все приостановились, словно для того, чтобы набрать воздуха в легкие перед тем, как нырять, и вошли. Здесь в какой-то застывшей белесой массе, напоминающей стеарин, стояли скелеты, целый лес, с черепами на тонкой позвоночной кости, около каждого скелета — волосы разного цвета; это были скелеты женщин, стоявших в застывшем жире, который вытопили из них самих. Я был в кошмаре и опять в каком-то гитлеровском производстве. Очнуться было спасением. Около меня — никого, одни пустые бутылки.

9

Одевшись, я спустился вниз, рука болела, так что идти в лес я не мог. Когда сильно болит плечо, нет и разговора о том, чтобы таскать рюкзак, набитый консервами. Старика нигде не было видно. Хотелось расспросить, когда уехала женщина, была ли она вообще, может, мне это все померещилось, и что, собственно, было? Штабель обвалился, потому что неумело его спустил, это я помню, и еще засела, как гвоздь, в голове мысль о том, что крайне необходимо вставить зубы. Значит, обратно в Тарту? Обратно на Пуйестее? Да, куда же еще.

Приведя себя в порядок, я опорожнил рюкзак, высыпав в своей комнате на пол консервы, и направился снова в поселок, ругая себя за то, что сюда приехал, а не сразу занялся с зубами — что кататься взад-вперед без толку! Все должно быть у человека последовательно, а у меня никакой логики.

— Тебе надо бы поехать в Таллин,— сказал Сависаар,— здесь мало домашних зубников, хотя, конечно, есть. Но за квалификацию я не отвечаю, а там хорошие специалисты, так что...

Переночевал у Таймо. Она сделала массаж больной руке. Потом я наблюдал, с каким азартом она ловила мух и злорадно хохотала, если ей удавалось придавить какую-нибудь из них. Потом чуть было инфаркт не получил от ее крика, когда она сама села случайно на один из своих кактусов. А утром поехал в Таллин. Что делать, если я, сколько живу на свете, не состоял и не состою на

учете ни в одной поликлинике. Очень плохо тому, кто в современном цивилизованном мире боится поликлиники больше, чем отделения милиции, и даже больше, чем главного редактора родного издательства.

Специалист, еврей, так называемый частник, оказался старым человеком, пристрастным к литературе. Он писал мемуары. Сависаар предупредил, что он графоман и чтобы я был осторожен. Он завел меня на кухню, посадил на табуретку, велел разинуть рот и принялся лазать там не очень, я бы сказал, симпатичным пальцем. Совал в мой рот вилку, прикидывал, присматривался. Потом начал читать лекцию: можно сделать всю работу одним способом, но то же самое можно сделать и другим способом, работа продлится месяца три-четыре и обойдется мне приблизительно рублей в четыреста или чуть больше... К тому же он подчеркнул, что сильно рискует, потому что уже стар и кто знает, сможет ли закончить работу...

Сависаар дал мне на всякий случай адрес еще одного высококвалифицированного специалиста, так что я теперь отправился к тому: может, он не так стар, чтобы умереть, не успев закончить работу. Этот — русский, он жил на улице Карла Маркса в доме без балконов. И я прикинул, что в некотором смысле дома без балконов лучше, чем дома с балконами... Дверь на четвертом этаже была сделана со знанием дела, это была разбоеупорная дверь, двойная; наружная, дубовая, открывалась в коридор, то есть в сторону посетителя — ее нельзя выбить, внутренняя открывалась в квартиру; замки, засовы и цепь... Никакими таранами такие двери не возьмешь. Они поддаются только хорошему заряду динамита. Я назвал пароль: «Я — от тети...»

Специалист, высокого роста мужчина лет шестидесяти, принял меня тоже в кухне. Он предложил сесть на стул с поднимающимся, как в парикмахерских, подголовником. Видать, кухни у этих домашних специалистов (с дубовыми дверями) являются приемным кабинетом. На подоконнике бросились в глаза два трансформатора, валялись провода, так что, вероятно, аппаратура здесь разнообразная, требующая различного напряжения. Он тоже — как же иначе! — велел раскрыть рот и прочитал лекцию: можно сделать, во-первых, одним способом, но будет плохо; можно сделать, во-вторых, другим способом — тоже будет нехорошо, потому что... свои зубы, при-

родные, все же лучше самых красивых искусственных. Железная логика!

Этот специалист мемуары не писал, но оказался вдохновенным рассказчиком. Он знакомил меня с собственными военными приключениями. Повествовал, наслаждаясь, со смехом, в лицах, иногда ползал около меня на четвереньках, так что приходилось мне вертеться на его стуле, чтобы обнаружить, где он есть и кого изображает: одна история сменяла другую, и не успел я узнать, во что обойдутся зубы здесь, как минуло два часа. Прервал его наконец. Опять раскрыл рот, и теперь он принялся в нем что-то считать, затем карандашом на листке бумаги умножать, затем доложил, что все обойдется мне в пятьсот пятьдесят рублей, а мне надо сделать двадцать два, иначе они все рассыплются скоро. Дешевле он не делает, зато у него фирма...

Он продолжал рассказывать прерванную историю. Начал новую, и опять они пошли одна за другой, так что в общей сложности я у него просидел четыре часа без обеда.

— Сколько времени это будет продолжаться? — спросил я, имея в виду, конечно, за какой срок он мне сделает зубы, если я соглашусь, хотя уже знал, что не соглашусь, потому что воровать мне вообще-то не столько стыдно, сколько невозможно, я уже ни на каком производстве не работаю, а кто не работает, тот не ворует, да и боязно, естественно, тоже.

— Десять дней,— сказал он, чем очень удивил.

— Другие обещали за три-четыре месяца, если не умрут...

— Ну, с такими сроками мы.. Это не к нам, наша фирма веников не вяжет.

Обратно в Тарту ехал такой же грустный и такой же беззубый. На следующий день опять посетил доктора Сависаара и передал ему вкратце суть своей поездки. Он назвал адрес в Тарту, но предупредил:

— Единственная сложность в том, что эта женщина плохо разговаривает, у нее дефект речи, но она неплохой зубной техник и, говорят, делает прилично.

Господи! Уж одно то, что она не из разговорчивых, меня к ней расположило. Я отправился по заданному новому маршруту прямо с ходу. Открыла молодая девушка, сказала, что мама с папой будут вечером. Действительно, когда я пришел вечером, они были дома. Перевод-

чиком мне служил муж моей спасительницы, а мужа этого некоторые из населения называют Геббельсом — не из-за каких-либо его политических склонностей, а за небольшую хромоту. Лично я не мог бы определить сходства его хромоты с хромотой фашистского доктора пропаганды. На самом деле он пенсионер, истопник на каком-то предприятии. На его плечах ведение хозяйства в городе и на даче в деревне. Человек начитанный, книг у него много, и они — не для украшения интерьера. Он варит суп, развлекает посетителей выпускает во двор и выпускает собаку. Таким образом я без всяких историй за два вечера приобрел не двадцать два, а всего лишь все отсутствующие зубы, то есть три... за фактическую их стоимость, по пять рублей штука — нормально. Если бы было дешевле, то я и не согласился бы у нее делать: не верю дуракам, а только дураки способны делать бесплатно. Сделала же она хорошо. Невероятно, но факт. И опять мог я улыбаться широко и душевно.

Так, шагая и улыбаясь душевно, я столкнулся с Волли. Разговорились. Я поинтересовался его теперешней работой в качестве домоуправа и жизнью в качестве домо-владельца.

— Не домоуправ я, а директор спорткомплекса... Меня так называют все. А вообще-то я слежу, чтобы спортинвентарь был в порядке, починаю, если что ломается.

— Ты не слышал,— спросил я, вспомнив о сказанном Тийю,— говорят, новое руководство нашего государства намеревается установить в стране сухой закон? Вроде бы с первого июня.

Взгляд Волли и весь его облик напомнили старую, видавшую виды лису. Он сказал:

— Врачи предупредили, что у меня сердце больное, нельзя раздражаться. Но как же мне не раздражаться, если они запретили пить водку?.. И ты еще со всякими сплетнями. Всякое новое руководство старается чем-то себя показать, кто целиной, кто кукурузой, но чтобы сухой закон — не смехи!

А ведь пропьет он свой дом, подумал я, направляясь в сторону Деревянного моста. Непривычно ему жить в собственном доме, он всегда на чердаке ютился, а воспитание, говорят, много значит, он в скромности воспитан, этот Волли.

Я решил во что бы то ни стало дойти до Зайчиного Дерева, кого бы я ни встретил в пути. Потом, конечно, необходимо было идти в парилку яд выгонять из организма, если не будет угара, а то в последнее время частенько так стало, что идешь туда потеть, чтоб голова не болела, а там еще худший похмель схватишь. Печь, говорят, на исходе; истопник сказал, что в стенах печи дыры! Когда же наконец этот город приличную баню получит? Мужики говорят: «Кому это надо?» У хозяина города (человек наверняка здесь временный, как уже повелось) своя сауна. У кого нет сауны — в ванне моется, а если ты такая бестолочь, что и ванны не имеешь, — зачем тебе мыться, не мойся совсем.

Вот и Деревянный мост, а рядом баня. Отсюда триста метров до Клуба водителей моторных лодок. Это всего-навсего дощатый настил с будкой сторожа — одним словом, пристань, — а название-то какое пришпандорили... Отсюда и начинается Променад Серьезных и Глубоких Размышлений. Он с обеих сторон, как уже известно, обсажен огромными тополями. Я было подумал, что им сто с лишним лет, но Сависаар говорит, что их посадили после войны. Возможно; откуда мне знать, с какой скоростью растет тополь.

Потом по левой стороне встретится утиное болото, справа остается река, затем место старого ресторана (миллион лет назад здесь был ресторан), за ним деревянная общественная уборная в хорошем состоянии, поворот — справа пляж, слева болото, куда теперь возят мусор; Сависаар ходит сюда гулять со стамеской; он ею выковыривает дикорастущий хрен и меня этому научил; потом идет Зайчиное Дерево (небольшое, с метр), Дамоклов Меч (оторванная сухая ветка, висящая над тропой), Длинная Рука (ветка, протянутая через дорогу), Бесстыжее Дерево (оно действительно такое изображает, что неприлично даже говорить). Обреченная Юность (дерево, начавшее расти из сгнившего двухметрового обрубка) и, минуя древний дом рабочих (людскую) старой помещицкой усадьбы, кончается Променад опять же общественной уборной, на сей раз каменной, но тоже в хорошем состоянии, после нее аттракционы и парк Тяхтвре, окруженный улицами с именами писателей.

Именно в этом районе Таймо носится со своей поч-

товой сумкой, здесь проживают наиболее видные граждане города, как, например, ректор университета, ученые да профессора, ну, и литераторы тоже, мыслители и зубные техники (здесь-то и сделали мне три зуба), и здесь Таймо ежедневно изучает настроение местных собак, они тут у каждого, и у всякой собаки свой нрав. Сильно боюсь, как бы какая-нибудь из них не укусила Таймо... Хотя собаки вообще-то хорошо относятся к детям, а Таймо врач сказал, что у нее сердце пятилетнего ребенка...

Если ее укусит собака, для меня в этом хорошего мало. Кто, кроме меня, станет за ней ухаживать? Есть у нее немало родственников по республике, но ведь у всех хлопот полон рот, так что, хотя все они вроде дружные, однако из-за каждого, скажем, укуса к Таймо не побегут.

Но и укушенному жить нелегко. Как-то зимою, когда я еще в Москве находился, она позвонила и жалобно сообщила, что сломала палец и на него наложили гипс, а у нее в раковине и везде белье замочено... Пришлось бежать за билетом и ехать в Тарту, чтобы выстирать и отжать это белье,— не вечно же ему мокнуть, еще сгниет.

Едва прошел я мимо Клуба водителей моторных лодок, как появились бегуны. Ведь здесь из примерно равных отрезков Променада — под тополями и вокруг болота — образуется средняя дистанция около километра, причем уединенное место, этим пользуются и школьники со своими физруками, и марафонцы, и бегающие от инфаркта. А так все носятся и мешают тихо наслаждаться жизнью тем алкоголикам, которые обожают пить водку на природе, а здесь удобно — тут и там по Променаду расположены скамейки, очень во всех отношениях располагающие.

А вот бредут потихоньку еще одни постоянные посетители моего Променада — три старушечки: черная, серая и рыжая. Вероятно, старушки — одинокие, и подружила-то их схожесть положения, они тоже нуждаются в общении. А вот бежит, тяжело дыша, одна несчастная: полная, высокая девушка-подросток. Если разобратся, ей не больше пятнадцати. Пот с нее градом льет, а ведь она не по школьной программе старается — ей хочется избавиться от лишнего веса.

Интересно было бы узнать, результатом чего является такая чрезмерная упитанность. Возможно, родители перекормили ее еще в раннем детстве, не понимая, что из-за неумного чадолюбия дочка станет несчастной на всю

жизнь, неизвестно, как теперь сложится ее судьба. Удастся ли ей стать любимой, выйти замуж, не говоря уж о том, что полному человеку, а тем паче толстому, особенно женщине, жить вообще трудно. Вероятно, мог бы быть полезным какой-нибудь художественный фильм, в котором бы главная героиня показала всю сложность жизни толстой девушки. Может, иные родители задумались бы, прежде чем пичкать, порою насильно, своих детей. Но кто поставит такой фильм, с такой героиней? Режиссеры, увы, тоже любят хорошеньких и стройных, словно только они отражают жизненную правду.

Ну вот, еще сто метров — и будет зеленый дружок, Зайчиное Дерево.

Однако что бы это могло там в канаве валяться с правой стороны, что-то красное? Мотоцикл! Ого! Интересное место для мотоцикла. Канавка глубокая и заросшая — высокая трава да кустарник. Метров за триста в стороне стоят дома, там улица расположена... Ну да, улица Фасоли, за ней идет улица Гороха — здесь же суповой район, богатый бункерами и монополиями. Но если кто-то оставил свой мотоцикл в таком месте, как это объяснить? От домов далековато, и люди здесь бегуны да гуляющие, могут и украсть, эта же штука стоит, наверное, больше тысячи рублей, хотя я в мотоциклах, к моему стыду, разбираюсь плохо. И ветровое стекло имеется у него, но как будто немного треснутое, да и зеркала (две штуки) валяются разбитые рядом.

Это явно брошенный мотоцикл. У кого-то угнали и здесь бросили. В Эстонии по радио каждое утро, наряду с дорожно-транспортными происшествиями, передают сообщения об угнанных автомобилях и мотоциклах. Раньше крали лошадей, теперь «Жигули»... Происшествия и угонов в республике одинаково много. Мне почему-то жаль того времени, когда на дорогах вместо «Жигулей» да «Москвичей» степенно танцевали лошади с повозками... Как и всякий отрезок времени, он тоже имел достаточно сложностей, но его темп был более размеренный, спокойный. Я иногда думаю, что, хотя в Эстонии немногим больше милиона народа, в то время когда в Москве восемь, несчастных случаев здесь на дорогах больше, чем в Москве. Хотя дистанцию эстонцы-водители соблюдают, это да. Но что от нее толку, когда гоняют с такой скоростью, что фактически нельзя перейти дорогу. Москвичи едут вплотную, впритык, но гоняют меньше, и совершенно, на мой

взгляд, недисциплинированный московский пешеход может лавировать между машинами в транспортном потоке спокойно. Здесь же, если у человека неправильно развит глазомер или плохая реакция, — до беды недалеко. Что же до угонщиков, этим увлекаются дети, то есть молодежь, то есть тоже дети, но уже большие, а то и просто огромные дети... Если ему лет пятнадцать-шестнадцать, мозгов маловато, рост же метр девяносто.

Я уже прошел мимо, но приостановился посмотреть, как на этот мотоцикл отреагирует спортивного вида встречный парень. Он мотоцикл заметил, тоже приостановился и довольно долго задумчиво рассматривал это ярко-красное явление в канаве, потом пошел дальше, и я тоже пошел было дальше, и если бы я так поступил, то, пожалуй, сделал бы правильно. Но опять приостановился от мысли, что тот парень, конечно, пошел своей дорогой, но мог бы и не идти, если бы меня, скажем, рядом не было. Если бы я здесь не стоял, он мог бы вытащить эту штуку — колеса ведь вертятся — и катить в удобное место. И тогда... Когда бы получил обратно свой мотоцикл тот несчастный, у кого его угнали? Если бы получил вообще...

Хотя, спрашивается, какое мое дело! Я вообще-то не отношусь с симпатией к самоуверенным молодым щеголям, которые, развалившись в отцовском автомобиле, обнимая небрежно красотку, гоняют по городу; мотоциклистов такого типа тоже не люблю, а владелец красного зверя в канаве, очевидно, к таким и относился, как мне показалось из-за двух разбитых зеркал... Пожилые одним зеркалом довольствуются и на ветровое стекло никаких эмблем и картинок не приклеивают, а на этом, кажется, Софи Лорен.

Только несправедливо приговорить кого-нибудь к потере мотоцикла лишь на том основании, что он молод и симпатизирует Софи Лорен. Может быть, что деньги на мотоцикл он заработал летом в стройотряде..

Я прикинул, что дойти до отделения милиции — всего пятнадцать минут, Зайчиное Дерево за это время не высохнет. И я повернул обратно.

Да, для Зайца бывать в Тарту — все равно как попасть в Париж иной, жаждущей романтики, красотке. Когда Зайчишка бывает в Эстонии, следовало бы снимать кино с первых ее шагов... Поехать куда-нибудь путешествовать для нее — что маленькому ребенку очутиться в

цирке, а если еще в Эстонии — в магазине игрушек.

Тогда мы целыми днями бродим по городу, делаем круги. Особенно же понравилась нам красивая тенистая аллея на берегу Эмайые, что в переводе означает «река-мать».

Как-то мы шли по аллее (будущему Променаду Серьезных и Глубоких Размышлений), болтали, мечтали и, когда завернули налево после того места, где когда-то был ресторан, у нее носом пошла кровь. С ней такое бывает часто, и врачи объяснили причину. Она наклонилась, чтобы дать крови выкапаться до конца, тогда и голова у нее переставала болеть, а я побежал к реке намочить платок. Пустьчок, конечно...

Была осень, шелестели листья под ногами. А затем я ее проводил на вокзал — она уехала в Москву. Потом я один совершал прогулки по тем же дорожкам, естественно, вспоминал Зайца: во что она была одета — синие джинсы, не очень элегантно на ней сидевшие, коричневая куртка с капюшоном, которую купили в Нарве, на голове очень симпатичная и идущая к ее личику сиреневая кепочка — память о нашей поездке в Таллин... Дойдя до того места, где Зайчишка совсем недавно, только что, проливала кровь, я нашел вырванное с корнем деревце сантиметров в пятнадцать. Отыскал железку, с ее помощью вырыл на обочине ямку и посадил это деревце в честь маленького Зайца. Чтобы не потерять это место, на дереве по соседству вырезал знак... колдовской, три надреза. Пока не уехал, приходил проверять, прижилось ли, и поливал водой из реки. В каждую поездку в этот город я приходил навещать дерево, радуясь, что живет оно, что растет. Я назвал его Зайчиным Деревом, и стало оно для меня словно живым собеседником. Уже давно я его не видел, но... Пойду скажу про мотоцикл дежурному по отделению милиции и вернусь.

До отделения идти не понадобилось. Скоро встретил двух сержантов Госавтоинспекции и обратился к ним. Я объяснил, что нашел мотоцикл, что он, наверное, брошен, и хотел уйти, но они никак не могли понять, где это место. Оказывается, оба они русские, по-эстонски не очень хорошо говорят. Объяснил еще раз по-русски. Один понял. Другой, упитанный и чем-то недовольный, — нет. Ему не очень-то и хотелось. Пошли все вместе. Точнее, я пошел впереди с тем худеньким, а тот, который не хотел, и было видно, что ему вообще не улыбалось идти куда-

то вытаскивать чей-то мотоцикл, он, ворча себе под нос, тащился, отстав метров на сто.

Мотоцикл где был, там и валялся. Да ведь, если подумать, одному человеку его не вытянуть, пожалуй. В этом я убедился, когда два милиционера с трудом начали его вытаскивать. На свою беду дернуло же меня спросить:

— Вам помочь?

Они, конечно, не отказались. Я спустился к ним. Один сунул в карман два зеркальца, другой изучал Софи Лорен.

— Красавица,— сказал он, не знаю даже, в чей адрес — Софи Лорен или мотоцикла.

— Угнанный,— констатировал второй,— у нас вроде уже есть заявка на него...

Стали тянуть, тут я зацепился за фиговину, с помощью которой мотоцикл заводят, а может, и не за нее, но разорвал брюки, причем на всю длину по шву. В таком виде не очень-то погуляешь!

Очень мне нужна была такая благотворительность! Как же все-таки мудро поступили те, кто прошел мимо этого проклятого мотоцикла, словно его здесь и не было. Ведь, как сказала Таймо, «если не звонили, никто не приходил...» Мог же я тоже сказать: «Если мотоцикл мне на дороге не мешает, значит, его нет».

11

Настроение зависит от немислимых мелочей: забыл надеть часы, уходя из дома, хотя можно и без часов прожить всю жизнь,— часы есть на каждом углу и у каждого прохожего, даже у первоклассников; или ты хочешь что-то записать, а в скверике ни одной свободной скамейки; или намереваешься купить сахар, но вместо этого неизвестно зачем покупаешь пачку пельменей, хотя аппетита нет,— любые пустяки могут испортить настроение. Но брюки... Когда порвешь брюки из-за какого-то мотоцикла, а тебе флегматичный сержант лишь буркнет безразличное «спасибо вам» — это предел всякому пониманию.

Кое-как прикрепив штанину булавкой, чтобы не болталась, я шагал на Пуйестее, сознавая, что опять до Зайчиного Дерева не добрался. Сейчас было важно не встретить никого из знакомых. Правда, мой путь проходил по улицам, на которых скорее увидишь какого-нибудь посто-

янного клиента бункера, но по закону подлости можно и на приличных людей наткнуться, хотя бы на работников университетской библиотеки...

Только этого не хватало, в библиотеке меня как-никак считают порядочным человеком, сколько уж лет врашаюсь в Тарту, причем довольно часто в библиотеке. Многие тамошние сотрудники знают меня, но еще никто из них не видел, что называется, под мухой. А тут... шагаю в разорванной донизу штанине.

Обычно я всегда приезжал к Таймо отдыхать. Это может показаться странным, учитывая обстановку в ее хозяйстве, но так оно и есть. Я приезжал, чтобы расслабиться. Здесь я, наконец, мог ничего не делать, здесь у меня словно нет никаких обязанностей, нет нужды о чем-нибудь заботиться. Здесь другой ритм жизни, вмешиваться в него мне даже неуместно и бесполезно. Если человеку идет седьмой десяток, уклад его жизни не переделывать. Да и незачем.

Таймо разрешала мне иногда приносить бутылочку, вернее, она не запрещала, хотя и знала, во что это мне обойдется. Она всегда говорила:

— Твоя норма от пяти до семи бутылок, ты сразу их купи, чтобы потом меня не гонять, да и дешевле будет (у таксиста же бутылка много дороже стоит).

Весь последующий кошмар она тоже всегда терпеливо переносила. Когда же потом меня мучила трясушка, она следила, чтобы я не заснул — это был не сон, а забытье, когда сердце вот-вот перестанет биться, так что можно и не проснуться, и она следила, чтобы вовремя толкнуть заставляла бодрствовать, выслушивала стоны и проклятья в адрес черта и самого себя, лишь успокаивала: «Ничего, все пройдет, всегда проходило, ничего...» И она не укоряла потом, когда все уже проходило, в бессмысленности такого самоубийства, — что в укорах толку. Каждый из пьющих пережил адские муки не раз. Но рано или поздно соглашается на них опять...

Что до меня, я даже написал целую книгу об этом, так что мне ли не понимать-знать. А что, собственно, изменилось от моей книги? Она, в сущности, осталась незамеченной, вернее, ее заметили только те, кто ее прочитал, а много ли их? Тираж-то не ахти какой. Так зачем было писать — героизма здесь ведь не было никакого? Умный человек пишет о героизме, трудовом или военном. Иной библиотекарь моей книгой пользовался как пособием

в создании у какого-нибудь читателя антиалкогольного настроения, но и только.

Если вспомнить Джека Лондона, еще когда он написал «Джон Ячменное Зерно», если подумать, что его заставило эту книгу создать, если пройти мысленно годы, отделяющие его от нас... Сколько после него выпито в мире гадости! Значит, и он тоже напрасно старался. А он старался потому, что сам пережил ужас трясушки и тоже, наверное, не раз был вынужден сам себя и всех чертей проклинать. Он предупредить хотел людей — уничтожьте пьянство, оно приведет к гибели весь мир.

Почему весь мир? — могут спросить. Но ведь если слово бессильно, разумное слово, тогда чего стоят слова в газетах и книгах, слова призывающие к разумному пониманию и взаимопониманию? Тогда и слова, призывающие отказаться от войны, — тоже бессильны. Мы привыкли их произносить, слушать, создавать — слова, фразы и мысли, но не привыкли вникать в них, верить в них а сами слова стали некоторым атрибутом содержания нашего быта, как поезда или автобусы; если слова кормят, дают работу — значит, их надо делать, и делают чтобы за счет них жить... Слово девальвировалось.

Я поверил знаменитому писателю. Не потому, что, просто хотелось всему поверить, а потому что на своей шкуре испытал действие Ячменного Зерна. Но я забыл: когда мы хотим последовать чьему-нибудь примеру, не вредно соизмерять свои возможности со способностями того, на кого равняемся... Читая Лондона, его документальный роман, я сравнивал себя с ним. Но в чем? «Ага, и он пил» — это прежде всего. Затем: «Ага, и у него, оказывается, были искусственные зубы...»; «Ага, и он немало дрался и, очевидно, получал тумачи, иначе бы не писал: «кулаки не те, какими были когда-то, сил стало меньше», — все так же, как у меня.

Да, я сравнивал, чтобы себя оправдывать: дескать, что обо мне говорить, если даже он Я отнесся к этой книге, как к словам, которые интересны, но которые можно и забыть.

Они не забылись, несмотря на инерцию восприятия литературы как явления не обязательно правдивого, — инерцию, выработанную благодаря тем сочинителям, у каких жизнь остывает в строках раньше, чем на бумаге высохнут чернила.

В современной литературе образ алкоголика такой ко-

лоритности, как, скажем, Мармеладов у Достоевского, уже почти не встречается. Сейчас алкаш рассматривается больше с насмешливой точки зрения, как явление хоть и привычное, но в общем-то случайное (отдельное). После моей книги «Бежать от тени своей» я встречал у читателя двоякое отношение к нему: одни осудили бескомпромиссно, как образец распущенности, другие же отнеслись как к больному. Достоевский изобразил Мармеладова больным, но сегодня мармеладовых и «мармеладности» стало столько много, что показывать их в искусстве нет даже нужды: надоели всем и даже самим себе, ведь иные пьющие — пить уже устали. Но распущенность ли? Болезнь ли? Кто я? Человек настроения? Я порвал брюки, делая добро, которого мог и не делать, и остался бы в таком случае с целыми штанами. Но я пошел сообщить, помогал этого монстра вытаскивать не за деньги и разорвал за «спасибо» брюки. А настроение может испортить любая мелочь...

12

И оно у меня испортилось. К тому же в правый ботинок попала песчинка, больно врезалась в пятку. А облокотиться или поставить ногу не на что, как назло. Собака может в любом месте поднять лапу, а я нет — и это обидно. Наконец нашел место, вытряхнул песчинку. Пошел дальше. Уже миновал универсам «Ленинкан», и надо же! В ботинок попал камешек, опять в правый. Это уже подлость: разорванная штанина и два раза подряд... в один и тот же ботинок.

Но вот есть место, где можно снять ботинок, чтобы вытряхнуть его. Проклятие! Это уж чересчур даже для такого терпеливого человека, как я: шнурок неудачно дернулся и образовался глухой узел, без очков его не удастся развязать... Распутал, и молнией промелькнула мысль о Тийю: ушла и даже адреса не оставила, ни строчки... и почему не могла меня разбудить? Не хотела? Тогда чего ради появилась? Приходят, когда хотят; уходят не прощаясь... Манерочки! А ты тут один возишься со шнурком в городе, в котором ни для кого ничего не значишь, ибо Таймо не в счет. Таймо... Это Душа человеческая — мир в мире. Если я умру, она меня похоронит, наверное, рядом с отцом. Я для нее стал своим даже больше, чем остальные родственники (исключая бра-

та в Канаде), ведь я ее подзащитный, и она тоже называет меня лапс — ребенок. Я говорю «и она», потому что Зайчишка называла меня Лапседом.

Я даже сам в то время забывал свое имя, настолько привык к тому, как она меня называла. «Вас как зовут?» — спрашивают меня. И я отвечаю: «Лапсед». «Странное у вас имя», — говорят мне. А я объясняю: так меня прозвала жена. «А что это означает?» И я объясняю, что лапс по-эстонски — ребенок.

В Эстонии по радио передают поздравления юбилярам от их детей, внуков и правнуков, и если лапс — ребенок, значит, лапсе лапс — внук, а в буквальном переводе — ребенкин ребенок. Правнук — лапсе лапсе лапс. А дети во множестве — лапсед. Однажды по радио все звучало: лапс, лапсед и так далее, и Зайчик спросила, что это означает. Она очень смеялась и с тех пор стала называть меня Лапсед или Лапседик, давая понять, что я не просто ребенок, а ребенкин ребенкин ребенок, то есть из детей наименьший. Но когда это было? Миллион лет назад.

А теперь я как раз поравнялся с тем винным магазином, что рядом со штабом добровольной народной дружины, напротив бункера, который стоит по соседству с ночной монополией. В дружной семье живем, подумал я зло, удивляясь длинной очереди в магазин — редкому здесь явлению, ибо отпускают две продавщицы с большой скоростью, без лишних слов, не признавая ни знакомых, ни родственников, чтобы не отвлекаться на продажу кому-нибудь без очереди. Это московские штучки — болтовня на работе да панибратство. Здесь очередь — дело святое, ее все обязаны соблюдать.

— Что бы это значило? — спрашиваю последнего.

— Говорят, водка подорожает, — отвечает тот, — в два раза. Ведь новое руководство...

Действительно, люди выходят с полными сумками водки и «бормотушки» — кто что тащит, но тащит много. Это смешно, на всю жизнь все равно не запасешься.

Можно было идти дальше, но пока я остановился поинтересоваться, сзади меня уже стояло человек десять, я даже не обратил внимания, что кто-то ко мне с вопросом обратился: вы последний? А теперь я был уже не последний... Да и настроение было соответствующее. Так что я остался в очереди, раз уж так случилось...

Я начал соображать, сколько у меня с собой денег,

сколько вообще (в зачачках на хуторе) и сколько надо взять бутылок, чтобы ночью не искать. Таймо говорит, что так или иначе, если я начал, то не меньше пяти-семи уйдет... А сразу столько брать... жалко денег, ведь есть надежда, что, может быть, столько не понадобится, может, и одной хватит, а если вдруг хватит, а я куплю семь, значит, их надо будет выпить, дабы их существование не смущало в дальнейшем.

Очередь продвигается, я калькулирую: так? Нет — лучше иначе. А если... И — вплоть до упора, когда продавщица спрашивает: «Вам что?»

— Десять... Да, мне десять штук.

Все, отрубил. Оправдаться в своих глазах всегда можно: старику Роберту тоже надо повезти, рассуждаю, иначе обидится, и я знаю, он хочет. Что ему еще осталось в жизни, какие радости? Мне же не жалко. До осени дотяну, там в колхоз пойду базарным воробьем сделаюсь, заработаю.

Да, не жалко, тем более, что мне до его возраста далеко. Если вообразить, то я где-то посредине длинной дороги, именуемой жизнью. Старик к концу приближается, а мне пятьдесят пять. Отсюда мне видны оба конца. Когда был молод, я тоже общался с пожилыми — разве тогда не мог увидеть и понять их близость к концу дороги? Нет, не мог.

Тогда это представление было очень абстрактным. Я не осмысливал, не ощущал частого одиночества пожилых, их трагедии, когда старость связана с одиночеством. Лишь теперь, живя у Таймо, начинаю понимать, что такое безнадежность. Старому учителю Густаву повезло: до самого конца с ним была Таймо, не покинула его для собственного возможного счастья; но ведь он ее сам воспитывал и внушил своему ребенку такую к себе привязанность, такую преданность, что в итоге ребенок сам к старости остался одиноким. Как сделать, чтобы не было на свете одиноких людей? Кто-то ведь позаботился о том, чтобы деревья не росли до неба, а чтобы люди не были одиноки — не догадался.

— Ты к нам? — спросил меня какой-то тип, едва я вышел из магазина. Незнакомый, но меня знает. Вероятно, посланец бункера, в руках мешок солидный. Они меня все знают, я же их — мало кого. Странно, конечно.

— Да нет, мне тут в одно место надо.

Я не расположен ни с того ни с сего идти поить людей, которых на улице не узнаю даже. Хотя на самом деле именно так я всегда и поступал, когда к ним приходил, то есть угощал из собственного кармана. Но сейчас пойду к Таймо. Выпью, но один. Говорят, один способен пить лишь законченный алкоголик. Ну и что же, пусть говорят. Законченный или не законченный, но если бы я всю жизнь пил один, скольких бед избежал бы!..

Народу-то сколько! Можно подумать, действительно сухой закон грозит, полгорода сбежалось. И тащат мешками. Джек Лондон писал, что основная причина алкоголизма — его доступность. Я сам сказал в предыдущей книге, что алкоголь доступен фактически всем: старым, молодым и в любое время. Но я очень хорошо помню послевоенные годы в Эстонии — спиртное любого названия продавалось всегда и везде свободно, чуть ли не в газетных киосках в розлив, не говоря о четвертинках, но никто не штурмовал торговые точки, не было за водкой никогда никаких очередей, а ведь была она дешева; пили ее более или менее случайно; во всяком случае, такой массовости не наблюдалось. Сегодня о чем говорят мужчины, парни, юноши и даже очень часто подростки, встречаясь на улице? То и дело слышишь о том, что «было вчера»: сколько пили, что пили, как пили, кто был. Употребление алкоголя выросло в своеобразную массовую питейную антикультуру, в стихийное бедствие. А мне в некоторых отдельных печатных органах некоторые отдельные стыдливые товарищи пытаются внушить, что неправильный у меня подход и неверно я оцениваю ситуацию, мы в нашем государстве живем не так, как живем, а совсем иначе — так, как мы должны жить... Что же, нет смысла доказывать обратное, нет смысла упорствовать, а в этом меня пытался убедить даже старик Роберт, про которого Тийю говорила, что он якобы был в бандитах.

— В жизни, если ты не гнешься,— сказал он однажды,— то ломаешься.

Может, сказанное не лишено смысла, только старость — не защита против глупости. Но если, по представлению стыдливых, мы (стало быть — мы все) живем так, как должны жить, то ко мне это, видимо, отношения не имеет, я-то живу так, как живу... Кто я такой, чтобы стараться выглядеть лучше, чем я есть?

Притащился я наконец со своими пластиковыми паке-

тами с водкой на Пуйестее, так никого из знакомых и не встретив.

Здесь первым делом надо было основную часть добычи спрятать. Таймо, конечно, ничего не скажет, если увидит такую батарею, но... от самого себя, ибо, если я про запасные забуду, они могут сохраниться. Если же будут стоять перед глазами выстроившись, то старику Роберту может и не достаться.

Откладывать в долгий ящик мероприятие не стоит, и главным образом потому, что ужасно опять начала болеть рука. Еще когда помогал вытаскивать мотоцикл, боль здорово плечо резанула; когда со шнурком возился — тоже, а теперь от тяжести мешков с бутылками не только рука и плечо — в желудке тошнота образовалась и сердце ни с того ни с сего начало пропускать удары. Это от предчувствия необходимости проглотить отвратительную жидкость, которой организм уже давно не хочет. Чтобы его заставить смириться с положением, есть только один способ: выпить сразу полный до краев стакан. Сначала наберешь в легкие воздуха побольше, потом выдохнешь, потом большими глотками пьешь, стараясь при этом не дышать, чтобы не почувствовать запаха, и так (осторожно, чтобы не попало в дыхательное горло, а то целый час будешь чихать, слезы лить и сопли вытирать) выпьешь до дна.

«Удовольствие» жуткое... Схватишься за живот и застонешь. Некоторые нюхают хлеб — бесполезно. Это только нормально пьющим помогает, тем, которые пьют от радости, но тем, кто от плохого настроения, — им хлеб нюхать толку нет. Лучше всего луком или соленым огурцом заесть. Потом ложись и жди. Немного, минут десять-пятнадцать. Как только наступает тепло, можешь добавить; ты победил, ты укротил свой строптивый организм, все равно как ковбой мустанга. Больше он не рыпается, хоть керосин в него вливай. Он тебе за это насилие отомстит потом, когда протрезвеешь. Он ведет себя, как иная умная жена: когда ты в состоянии опьянения, она с тобой не связывается, ведет себя послушно и ласково, не противоречит; но потом, когда буря минует, она тебе потихоньку расскажет, как ты себя вел, какую плел ерунду, как хвастался, как слюни распускал или даже уписался... А пока...

Половина от одной десятой уже употреблена, с организмом полное согласие. Он как будто уже участвует

в игре, и настроение заметно улучшается, появляется полет фантазии. А вообще-то все явления жизни становятся ясными до того, что необходимо в наплыве свежих чувств с кем-то поделиться, надо пообщаться. Действительно, что за дурак будет в одиночестве глущить водку, когда рядом, во всяком случае недалеко, находится бункер и там люди. Конечно, бункер — не клуб. И люди там возвращаются все из числа экс...

Но что поделаться? Есть в городе один мой знакомый доктор наук, очень порядочный человек. Раньше был общительным, выпивал, но он находился в Москве в отделении реанимации почти полгода, откачивали его там, сердце не хотело работать, и теперь он не в счет.

Можно отыскать Сависаара — человек умный и порядочный, хотя имеется в наличии двоеженство. Но почему эстонцу предосудительно то, что позволительно какому-нибудь африканцу, — у них там по пять-шесть жен. Чтобы содержать две семьи и их детей, нужна немалая отдача сил и времени, даже если жены сами еще работают.

Есть другие разные люди, но они все больше из непьющих. Один, правда, имеет огромную коллекцию зарубежных и наших коньяков, вин, ликеров, водки — полтысячи бутылок наберется. Но он не пьет совсем, изредка угощает начальство. Спрашивается: зачем ему это? Ради осознания собственной особенности: у него навалом, а ему не надо, тогда как те, кому надо, и достать-то не все способны... Но, по-моему, это все равно, что импотенту гарем. Одним словом, нечего мне скрягой быть, надо взять в качестве пропуска бутылочку и отправиться в бункер. Беру две, одну поставлю им на стол, другую на всякий случай подержу в сумке.

В бункере полно, дымно, мужиков человек шесть и две «дамы», одна из них гражданская жена владельца квартиры. Он, как уже сказано, сторож, она моет посуду. Она от него уже семь раз уходила из-за несходства характеров, столько же раз возвращалась из-за сходства.

— Ты, как всегда, приходишь именно тогда, когда о тебе говорят, — приветствует меня хозяин, симпатичный на вид, высокий, стройный, с усиками.

Говорили они обо мне, не говорили, но я присаживаюсь к столу и начинаю с ними общаться. Однако меня ни одна собака не слушает, у них у всех тоже настроенное возвышенное, им тоже необходимо высказаться. Мне

это не нравится, тем более что один из них все пытается внушить, как ему хочется разбить мне нос, у него, видите ли, кулаки прямо чешутся. А у меня они не чешутся. Я вспоминаю признание Джека Лондона: не так крепки его кулаки, как прежде. У меня тоже они уже не те... Я посоветовал почесать кулаки об стенку. Но здесь мне сегодня общаться не дадут, потому надо уходить, и хорошо, что не достал сразу вторую бутылку. Ухожу — факт.

Куда теперь? Как куда? Что за вопрос — на Пуйестее. Скоро придет или уже пришла с работы Таймо. Вот я ее посажу рядом и расскажу обо всем, о чем умею и хочу, и попробуй она не слушать!

Да, она уже дома. О, конечно, она уже знает... Во-первых, на столе стакан... Немытый, ну и другие небольшие характерные мелочи, говорящие о том, что паренек загудел. Она не знает такого слова, как «загудел», не знакома и с другим — «залетел», не слышала слов «замочился» и «заквасился» и многих других, но знает, что рецидив налицо. Да и почему бы ему не быть?.. Я же не проходил никакого курса лечения, чтобы удивляться возникновению этих рецидивов. Что дает курс лечения? Кому-нибудь где-нибудь что-нибудь когда-нибудь давал? Если давал, то тому, кто и без курса справиться способен.

Я был в сумасшедшем доме в отделении, где лечат от алкоголизма, даже в двух таких домах и оба дома называются институтами: в одном из них — месяц, в другом — два месяца лечился. Делали успокаивающие уколы, укрепляющие, спал под гипнозом, какал в коллективном туалете под песни ансамбля нервозных, аккомпанирующих себе и мне на гитаре, — это в одном; в другом — то же самое, минус песни в туалете плюс таблетки, которые мне зашили в одно место, чтобы я умер, если еще выпью. Эспераль называется, по-французски «надежда». Стоит дорого, бешеные деньги платят если приобрести частным путем (желающих много)

Но надежды никакой, хотя и давал я расписку, что если выпью в продолжение двух лет, умру. Подписку дал, но выпил и... жив. Значит, эспераль не помогает, значит, никакой надежды. А откуда ей взяться, если вместо французской эсперали мне в одно место зашили (операция длилась 15 минут) обыкновенный аспирин «Маде ин СССР»... Как же, станут тут тратить на мою

задницу ни с того ни с сего триста рублей (столько, говорят, стоит порция на два года)!..

Да и встречался я со многими, проходившими курс, но продолжающими по-прежнему приносить жертву Джону Ячменное Зерно или Зеленому Змию и их родичам сатанинским. Тогда что дает человеку курс?

С другой стороны, одному необходимо выпить каждый день, и он это делает: пьет понемногу, ходит прямо, не качается, не буйнит и не ругается — про такого никто не скажет, что он алкоголик. Но кто же он? Большой или распушенный?

Второму тоже надо каждый день, но он пьет чуть больше или он организмом слабее, так что напивается и может послать совершенно незнакомого человека черт знает куда — этот, ясное дело, алкоголик, об этом знают все; если он не выпьет, у него руки дрожат и сам, того гляди, умрет.

Третий не пьет месяц, второй, третий, полгода, потом как запьет — три месяца из жизни долой: запойный, значит. Но ведь он может целый год не пить, в чем же дело, что однажды его потянет? Один такой признался, что, когда у него это начинается, он в тот же день уже кожей сие предчувствует: что-то не то, как-то не так. Вот и разберись: распушенность это или болезнь?

А если бы не было ни вина, ни водки? Как бы тогда обходились и тот, кому надо ежедневно понемногу, и тот, кому надо всегда и много, и тот, кому надо редко, но метко, и все другие? Может, никто живой бы не остался. Все бы умерли, а остались бы одни трезвые...

Ну и скука была бы, наверное, на свете! Или нет? Ведь это сегодня пьют так массово все — женщины и дети тоже. Львиная доля всегда принадлежала мужчинам. Женщины и дети — скорее всего, ими соvrащенные, годами ими приучаемые. И даже сегодня, по сравнению с мужчинами, женщины почти что не пьют. Я думаю — в процентном соотношении. Что же получается? Мужчины больше женщин подвержены? Но почему? Разве у мужчин другие биологические данные организма? Гены? Значит, передается. Но кто мне объяснит такое: дед, отец, сыновья — пьяницы; бабушка, мать, дочери — нет. Что же, эти гены передаются только по мужской линии? Значит, нельзя ни в коем случае устанавливать сухой закон, а то мужики помрут, останутся женщины одни, и это грозит вымиранием человеческого рода...

Волли, пожалуй, прав: что-что, а сухой закон неосуществим. Ай да Волли! Вот что значит по-настоящему интеллигентная личность, которая семнадцать лет играла Аладдина! И черт с ними, с женой и собакой, что ушли от него (собака, кстати, уже сдохла, а жена пошла в милицию служить и стала теперь участковым инспектором своего района, так что дом в другом районе своевременно достался Волли в наследство).

Обо всем этом Таймо и узнала от меня, когда из закупленного мною запаса исчезли четыре десятых части, к тому времени часы показывали два часа ночи, и Таймо давно «клевала», но слушала и время от времени восклицала: «Ну муйдуги!» — то есть: ну конечно! Так что я мог вдохновенно развивать теорию о невозможности сухого закона из-за опасности оставить женщин без нас, мужчин, в силу чего можно мне еще немного налить, ибо без нас, мужчин, жизни на планете быть не может. Таймо согласилась — ну муйдуги! — и послушно вылила остатки из четвертой бутылки, доставая пятую и радуясь, что ее, по крайней мере, не погонят в ночь, на улицу, в дождь и темень, ловить такси, чтобы за червонец приобрести бутылку, в запасе еще есть.

Конечно, ей завтра надо рано вставать... да-да, сегодня ей скоро вставать, чтоб идти на почту, а собственно говоря, надо ли ей действительно туда идти? Разве она и еще два почтальона не разносили почту за одну из них, которая три дня не выходила на работу, будучи в загуле?.. А когда одна из них, тоже пьяная, потеряла почтовую сумку со всем содержимым, сумку эту нашли жители улицы Эмайые... Одним словом, разве не Таймо рассказала мне, кто у них там в отделе пьет, у кого муж пьет и жену свою бьет? Говорила ты о том или нет? Говорила. Тогда и тебе не обязательно идти, когда ты обязана ухаживать за больным... Может, тебе дадут больничный по уходу за ребенком? А? Ты спишь?! Значит, тебе на меня наплевать, значит, и тебе неинтересно то, о чем я рассказываю, значит, ты тоже не хочешь меня слушать? Значит...

— Ну муйдуги! Я-я, я-я! Ма куулан... Я же слушаю.

Оказывается, она не спит, у нее уже глаза открыты, она сидит в ногах моей постели и смотрит на меня, прямо в глаза, как кролик удаву. Так это же хорошо, дорогой ты мой преданный товарищ, ты, значит, меня уважаешь, в таком случае я могу дальше рассказывать...

— Ну муйдуги!

...На чем мы, собственно, остановились? Ага! Можно, конечно, разорвать узы дружбы, но потом, если даже ты их снова завяжешь, останутся ведь узлы... Да нет, я же не об этом рассказывал... Ага! Твой отец правильно сказал, что скромность — прекрасное украшение, но без нее достигнешь в жизни большего...

— Мой отец так не говорил! — Таймо совсем проснулась и смотрит обиженно. — Мой отец говорил, что счастливые — богаты, но не богатые счастливы. А ты все путаешь.

...Правильно. Правильно. Старый Густав, школьный учитель и собиратель древностей, о скромности, наверное, не говорил. Это говорил старик Роберт... Значит, я тебе рассказывал о чем-то другом... Но насчет бедных и счастливых — это сегодня мудрость для первоклассников. А я о чем речь вел? Ага! Что меня прогнали с корабля... когда я всех напоил — и команду, и рабочих... На Сахалине. Нет? Ну, значит, о чем-то еще. Но о чем же?

...Солнце ярко освещает кафельную печь коричневого цвета, радио включено на всю мощь, передают Вагнера — самое время! Слышен глубокий, душу мою раздражающий храп, он исходит от Таймо. Она спит. Сколько же времени теперь? Ого! Уже три часа дня. Голова тяжелая, глаза плохо видят... Что, собственно, произошло? Как я здесь очутился, где был, откуда пришел??? И что все-таки было вчера? Какой-то пробел, ровно ничего не помню. Ага! Что-то смутно вспоминается... какой-то красный мотоцикл... Какой-то дурацкий шнурок... Камешек...

— Таймо, расскажи же мне, как все было?!

Она таращит на меня сонные глаза.

— Я не пошла на почту... — и зевает так аппетитно, словно всю ночь не спала. — Что было? Ничего. Я не ходила ночью к таксисту, вот. Но ты чуть не умер. Я трясла и колотила и в рот тебе дула — глаза мертвые. Как-то вдруг. Все рассказывал про Робинзона и ругался, что он мне холодильник не привез, а обещал. Я и без холодильника обхожусь, зачем мне холодильник... А потом ты дышать перестал. Но пять бутылок...

Отвратительно. Что пять бутылок? Нет. Вообще все отвратительно. Прежде всего в сознании копошится червь, который издевательски, грызя, гундосит: и это тот, который уверял, что хватает сил, чтобы самому покончить со

злом, и написал об этом в книге, обещал всему честному народу!.. Как же теперь? А теперь, как всегда, начнется расплата — потение, дрожание, сердцебиение сначала и небиение потом, проклятья, стоны и ночные кошмары и осознание: ты полная ничтожность и преступник. Да, преступник. Ходишь среди людей, боясь поднять голову и на них посмотреть. Боязно потому, что глаза, кажется, меня выдадут: они распухшие, все лицо никуда не годится — не лицо, а морда разбойная. Я понимаю, что многие, очень-очень многие представители мужского рода такое испытали, но в глубине души из года в год крепнет уверенность, что сам факт употребления водки — уже преступление. Иначе мне не было бы стыдно, ведь я никому не причинял зла, один мучился.

Да и ведь не один я — Таймо тоже, хотя не жалуется. Она меня колотила, она меня трясла, она дула мне в рот и держала около носа зеркало — есть ли дыхание. Возможно, она спасла мне жизнь, скорее всего это так и было, и не однажды — но она не пошла на работу, ее тоже будет мучить совесть, словно она сама напилась. Сейчас это Таймо, а сколько лет подряд все муки терпело другое безвинное существо — Зайчишка. Что же будет? Душа болит и в голове сумбур, и даже поделиться не с кем. Вероятно, алкоголики именно потому ищут компанию, хотят защититься чувством своего рода коллективности.

Через десять дней я уже не буду ощущать себя преступником. Взамен придет ощущение возвращения жизни, когда организм как бы заново учится функционировать; сперва все словно одеревенело — мышцы рук-ног, предплечья, грудная клетка, желудок работает ненормально, спина и живот одинаково твердые, как доски... Потом все органы как бы припоминают нормальное состояние. Одновременно происходит какое-то психическое обновление, и уже можно смотреть на людей; оно и естественно — лицо уже не разбойное, глаза обрели обычную окраску, и все вместе взятое радуется. Уже не думаешь о смерти и бессмысленности жизни, беспричинные страхи исчезают, и тех, кого еще вчера ты ненавидел, быть может, за дело, сегодня ты в состоянии понять — «все мы люди»... Только сердце, оно одно не может простить мне прошедшего, оно бьется тревожно и беспорядочно, пропуская удары, словно раздумывая: биться ли дальше или хватит, остановиться?..

Да, да, я сейчас вспоминаю — это было. Я, кажется, однажды упоминал о тех, что проходили лечение от алкоголизма, но продолжали быть его жертвами. Но я встречал и тех, кто сам бросил пить, встречал даже теперь, недавно, в бане... Один сидел на лавке, окунувшись головой в таз, полный воды, одни уши торчали, жирноватый мужик лет под сорок.

— Утопиться, что ли, собрался? — осведомился я. — Или вчера лишнего принял?

— Уже не принимаю, — ответил он, высунувшись из воды.

— Совсем? — не поверил я.

— Совсем.

— А что? Насос? — пытался отгадать я.

— Вот именно, насос, — подтвердил он. — Если он не тянет, бросишь, никуда не денешься, когда жить хочешь. Он не сочинял, в этом не сомневаюсь.

Другого тоже в бане встретил, в парилке. Когда я поддал пару, он сбежал, сказав: «Для меня это чересчур...»

— Почему? — Я догадался, что он сердечник.

— Мотор барахлит, такой жары не выдержит.

— А как насчет этого? — спросил я, произнеся слово «этого» недвусмысленно.

— Давно покончено, — заявил он и добавил: — Из-за «этого» и мотор забарахлил.

— Значит, со страха завязал? — сыронизировал я.

— Из страха многие разумные решения принимаются, — засмеялся он, — многие и воровать бросают не потому, что им совестно, а от страха — сидеть не хотят.

Этот тоже наверняка не врал. А я вспомнил их только теперь, когда собственное сердце бьется без всякого энтузиазма. Надо бы зайти в аптеку и купить... Как же это называется? Заяц мне это вечно совала, а я нос отворачивал — какие-то таблетки бежевые, невкусные. Она говорила, что они стимулируют сердечную деятельность.

Вдобавок ко всему я откопал у Таймо на полке с книгами «Женщину в песках» Кобо Абэ. Эта книга не обладает жизнеутверждающим влиянием и не вызывает чувства смирения, какого достиг герой романа, будучи пленником в яме безысходности. Я давно открыл в себе свойство, о котором не могу сказать, полезно оно или вредно для меня: способность вникнуть интуитив-

но в мироощущение отдельных людей или даже целых общин так, словно я сам — они; это дает мне возможность и участвовать в их жизни. С Таймо меня сблизило именно такое соучастие, дающее возможность ощущать жизнь ее души; и, видит бог, чем-то она похожа на ту женщину в песках, разница лишь в возрасте.

Кобо Абэ, конечно, мог бы поселить в эту яму людей в ином сочетании — старика и... другого старика, например. Но, наверное, тогда бы не получилось так интересно. Женщина и мужчина — другое дело. Творцы странно устроены: почти во всех произведениях искусства, в книгах и кино взаимоотношение полов ставят краеугольным камнем; если когда-нибудь напишут роман о возможности жизни в вакууме, наверное, и там будет функционировать сексуальная жизнь микробов, приспособившихся к жизни в колбе. Единственно мне такое непозволительно, ведь я веду рассказ от первого и собственного лица...

Конечно, и мне о женщинах писать было бы приятно. За всю жизнь они мне сделали много хорошего и выручали в трудную минуту, за что и я, в свою очередь, не отказывал им в поклонении всегда и везде. За свое старание я пенсию не получу, к тому же невозможно собрать нужные справки, и пользоваться практическим опытом тоже не могу из-за того, что рассказываю от первого лица, а то всем стало бы ясно, какой я морально неустойчивый — всегда ведь легко относиться осуждающе к посторонним. Такие осуждающие нередко пытались учить меня. Но когда это делают те, кому по некоторым причинам ничего другого не остается, как быть морально устойчивым, это плохо убеждает...

Но хватит! Я тоже чувствовал себя плененно, словно в вакууме. Хотелось на свободу, да и Таймо.. Сколько же может бедная женщина проводить ночи под кухонным столом... Я ее туда не гоню, только ночью, когда начинает храпеть, бросаю в нее подушки,— и она уходит гордо и обиженно, дескать, уж и храпеть не дают в собственном доме. Поскольку подушек у нее пруд пруди, она их бросает на пол в кухне, в угол и, укрывшись шерстяным одеялом, здесь-то уж храпит сколько ее носу заблагорассудится. Причем дверь из комнаты в кухню закрывает, так что... если не слышно, значит, никто не храпит.

Наскоро пополнив запасы консервов, я засунул в раз-

дувшийся рюкзак три бутылки водки для... скажем так, для старого Роберта и отправился на автовокзал. С Таймо распрощался еще утром, когда она убегала на почту, оставив грязную посуду на меня.

— Когда опять заявишься? — спросила она и сама себе ответила, махнув рукой: — Ах, ты всегда, как дождь с ясного неба...

У нас с ней в этом смысле просто: придешь-уйдешь, когда надо, и Старая Дама не в претензии, если не успею распрощаться. Одеваясь, заметил на электропечке новые журналы и книги. Для меня? Но это оказались «Пионер», «Мурзилка», еще какие-то детские издания. Зачем она тратит деньги на них? Не имея особого дохода, она закупает ежедневно совершенно ей не нужные вещи. Ну зачем ей детские журналы на русском языке? Ведь она не читает по-русски. Зачем ей календари на один и тот же год в разных переплетках и тоже на русском языке? Зачем ей красивые поздравительные открытки ко всем праздникам, которых набралось с десятков картонных коробок? Зачем ей тряпичные зайцы и марьяшки? Зачем детские куклы? А эмблемы всевозможных спортивных соревнований? А значки? Или книги, купленные сто лет назад, но не прочитанные? Или стаканы с картинками? Или цветочные вазы? Зачем? Особенно меня удивляет «Мурзилка». А именно «Мурзилку» я и сунул в карман, чтобы листать в автобусе. Там надо отвлекаться чем-то забавным, чтобы не клонило ко сну, спать в автобусе — это мучение. Мне тяжело смотреть, когда кто-нибудь из пассажиров роняет голову то набок, то на грудь, то примостит к окну, так или этак... Разве это сон?

13

В поселок автобус доставил меня под вечер. Подходя к хутору, я уже издали заметил, что во дворе стоит автомобиль, но не «Запорожец», а «Жигули». На скамейке у цветочной клумбы перед дверью сидит женщина в голубом, в чем-то комбинированном, но, видит бог, я ровню ничего не смыслю в модах, особенно женских, особенно в современных ультраоригинальных. Но это Тийю, факт

— Приехал? — Как будто это могло быть иначе.

— Как видишь. Ты тоже приехала? Или мне это кажется?

— Я... тоже. Дожидаюсь.

Давно ли дожидаются меня красивые женщины?
Третий день.

— Не сходя с места? — удивился я. — Что так?

— Нет. Я приезжала время от времени, точнее по вечерам, проверить — явился ты или нет. Боялась прозевать. Андрес сказал, что ты здесь где-то в лесу скрываешься.

Андрес сказал? Кто еще такой? Ага! Вспомнил: так звали того, с «Запорожцем».

— А что, собственно... Чем я могу быть полезен красивой женщине? И не могу ли я присесть?

Я устроился рядом с ней на скамейке, и только теперь до меня стало доходить, что Тийю по-прежнему красива, как в шестнадцать или в семнадцать.

— Тийю, сколько тебе было тогда... там?

— Ах, там? Не помню уже. — Она махнула рукой, мол, не стоит и вспоминать.

— А ты помнишь, Тийю, как ты меня хвалила за то, что не плакал от боли, когда выстрелил из пистолета себе в ладонь?

Да, тогда у меня это был уже четвертый револьвер. Я ходил стрелять в Мюрвик на пригорок. Первый пистолет выменял на сто пачек сигарет, которые достал за хлеб у раненых немецких солдат в госпитале (я жил тогда в школе на Пфердевассерштрассе); этот револьвер — «Ф. Н.» — у меня брали некоторые «на дело», так сказать, напрокат. Однажды уже немолодой русский показал свой мелкокалиберный браунинг, я тоже такой захотел и поменял «Ф. Н.» на «вальтер», а «вальтер» на «Депозе», уже этот на крошечный браунинг, из которого случайно бабахнул себе в ладонь, и хорошо, что это был не «Ф. Н.», а то бы всю руку раздробил; тут же никто даже не узнал.

Ты помнишь, Тийю? Ты тогда меня за терпеливость хвалила...

И я протянул ей свою ладонь, в ней по сей день виден крошечный шрам.

— А старика твоего уже пять дней как похоронили, — сказала Тийю задумчиво. Она, похоже, не помнила тот случай с пистолетом.

— Кого похоронили? — До меня не доходило. — Роберта?!

— Да. А этот... его сын, Андрес, он хутор как будто уже продал. Он ведь наследник. Так что тебе придется,

по-видимому, куда-то переселяться. Я подумала, что ты можешь жить у родственников моего мужа, они тоже пожилые люди, тихие, и они тебя знают... Нет, не знают, чем занимаешься и кто ты. Но знают, что ты живешь у Роберта. Роберт о тебе никому не рассказывал, он был скрытный.

Да, это точно. От старика никакой информации получить не удавалось и мне, даже с помощью водки. Единственно о «бабах» он распространялся охотно.

— А как он умер? — спросил я Тийю, хотя что спрашивать, старику ведь было столько лет!

— Сварился,— ответила Тийю.— Нет, это ужасная смерть, бр-р-р...

Она вся задрожала. Потом рассказала.

— Здесь был Андрес, и они поехали в город. Андрес там работает в каком-то цехе... гальваническом. Я не понимаю, что это. Они там, на работе, пили. Старик тоже. И пьяный пошел куда-то, уборную, что ли, искать, заблудился и где-то там свалился в огромную ванну или бассейн, полный кипящей воды или раствора, я не знаю. Он там плавал, орал, потом по каким-то горячим трубам поднимался, руки обжег, с них кожа сошла, потом выбрался, но «скорая» доставила его в больницу уже мертвым... Я вообще хотела тебя повидать и приезжала, и Андрес меня однажды застал. Он и просил передать, что денег ему не надо, что какое-то время здесь можно жить, пока подыщешь жилье а ключи оставить там где всегда оставлял... Значит, ты еще и не знал? Об этом... что старик?..

Да, конечно, откуда же мне было узнать, когда десять дней сам умирал...

Над высохшей яблоней покружилась серая ворона, хотела было спуститься, передумала и улетела, сказав на прощанье: «Вар-рас, вар-рас!» Сама ты воровка, крылатая дура! «Варас» по-эстонски вор. Я представлял старого Роберта плавающим в кипящем бассейне. Действительно, бр-р-р... как определила Тийю. Все люди умрут, а старым недолго ждать смерти, но всем хочется спокойно и достойно уйти из жизни.

— Где его похоронили? Здесь?

— Хочешь сходить?

— Нет.

Действительно, что мы — родственники или друзья? Ну, пили иногда за одним столом. А эти, в бункере?

Пить пьют, но это не помешает им друг друга ограбить, обворовать, по морде дать. А эти, в Доме инженеров... Вместе пьют, но друзья, что ли? Куда уж, тогда смотрят, как бы за твой счет — если не больше, так хоть напитокся. Что мне старик? У него есть сын.

— Как он, этот Андрес? — спросил я у Тийю. — Грустит? Жалко ему отца?

Собственно, какое мне дело, жалко ли Андресу (которого я совсем не знаю) старика, которого я тоже не знаю. И когда Тийю ответила, что ничего особо грустного в его облике не заметила, мне тоже было все равно, потому что, если бы он даже грустил, — ну и что, так и должно быть; а не грустит — ну и что, разве мало сыновей, которые ждут не дождутся, когда их родители концы отдадут... А может быть, этот Андрес там, в гальваническом цехе, сам помог старику в водоем с кипятком окунуться... Дом ведь унаследовал и тут же продал. Когда успел? Надо же было иметь уже наготове покупателей...

Ворона опять прилетела меня оскорблять и все кружилась, кружилась вокруг высохшей яблони. Может, это была серая душа старого Роберта, может, ей захотелось подслушать, что говорят про него, может, она хотела о чем-нибудь сообщить, например, о том, как Андрес его в бассейн толкнул...

Я почувствовал усталость, и вспомнилось, что в следующем месяце отмечаю свой день рождения, еще на один год приближаюсь к концу дороги. Пришло сомнение относительно того, что сейчас я действительно на полпути, ведь не у всех эта дорога одинаковой длины...

Хотелось спать. Конечно, сейчас бы самое время откупорить бутылочку, чтоб сказать что-нибудь глубокомысленное по поводу кратковременности жизни и внушить Тийю, что надо жить, пока живется. Вероятно, будь я на десять лет моложе, так бы и поступил. Сейчас же — может, тому еще был причиной недавний загул — ничего не хотелось, и я сказал Тийю без обиняков:

— Спать хочу.

— Давай. Спи. — Она даже словно обрадовалась столь разумному решению. — Я подъеду завтра. Да? Ну и ладно.

— Тебя разве никогда не интересовало, почему я тогда, во Фленсбурге, не захотел...

— Я знаю, почему. И за это всю жизнь думаю о тебе с нежностью.

Она встала, хлопнула меня по плечу и направилась к машине. А мне вдруг Фленсбург вспомнился.

— Тийю! — Она приостановилась. — Помнишь, однажды весной... мы бродили вокруг старого пивзавода и целовались в крапиве?.. Я тебя розой называл, — роза, окруженная крапивой. Остроумный я был, а?

Она не ответила, захлопнула дверцу и завела мотор.

Она уехала, а ворона продолжала вокруг меня кружить. На клумбе передо мной росло черт знает что, какие-то цветы здесь были, но едва видные из травы. Некому здесь было заботиться о цветах, они уже не были нужны, росли как попало. Откровенно говоря, мне здесь нравилось. Конечно, запущено, не ухожено, везде трава, крапива, листья, мусор, но что мне до того? В то же время в запущенности была и красота своего рода: старые пристройки — сарай, сеновал, кладовые, амбар, старая ветряная мельница поодаль и жилой дом, что стоял когда-то в окружении цветочных клумб... Везде валяется как попало крестьянская утварь — ржавые колеса от телеги, к стене амбара прислонены сани тоже с ржавыми полозьями, уложены недавно распиленные дрова... Видать, старик уже начал распиливать те злополучные бревна, что меня придавили. Да, теперь, когда здесь уже не было этого мрачного старика, даже стало еще лучше, словно приветливее. Жаль будет отсюда уходить именно теперь. Самое главное — здесь полная изолированность, самостоятельность. Жить бы да жить.

Я поднялся в свою комнату, бросил рюкзак, сел у окна. Со стороны поселка слышался собачий лай, ветер поднялся, начал дуть рывками. По стене скребла ветка старого каштана. Я много скитался по свету, теперь вернулся на родину, а дома своего так и нет. Вообразил такую картину: на хуторе все цветет, чисто, и голосисто бегают внуки и внучки, доносятся запахи приготовленного ужина, а здесь, наверху, мое отдельное государство, где предаюсь тихой созерцательной жизни, слушаю радио и ломаю голову над вопросом: дадут ли люди моим внукам умереть естественной смертью? Потом Зайчишка позовет на ужин... Зайчишка! В Тарту много красивых женщин всех возрастов, но когда Зайчик бывает в Тарту, город словно милее.

Вместо всего это лишь ветер рвется с шумом в оконные щели, грозясь стать ураганным. Весенний ураган, шторм — бывает. Дни стоят жаркие — тоже бывает. В

мае жара; в июне — дожди... Угораздило же старика в такое время принять горячую ванну. Куда теперь? К родственникам Тийю?

Она приехала чуть свет, привезла термос с кофе. Неплохо. Давно уже такую заботу обо мне никто не проявлял.

— Еще не упаковался? — спросила уже в дверях. — Хотя что тебе упаковываться, собрал свой мешок — и готово. Ну, я тебя увезу? Наши согласны. Тоже будешь наверху, в мансарде.

— Ты знаешь, — сказал я Тийю, — я не переселюсь... пока. Поговорю сначала с Андресом или с новыми хозяевами. Наверное, они по-своему будут все переделывать, но вряд ли сразу. Когда сюда кто-нибудь поселится!.. А не договорюсь, к твоим перееду. Да и муж твой... Ты с ним посоветовалась? И как ты им меня вообще представила?

— Так и представила. — Тийю налила мне кофе в один из моих на все напитки граненых стаканов. — Пей, вот бутерброды... Я сказала, что ты мой старый друг по Германии. Они не любопытны, во всяком случае интереса не показывают. Но если ты хочешь остаться здесь... Я-то хоть могу тебя посещать?

— Ты говорила сейчас о ком — о муже или его старых родственниках?

— О родственниках. Муж... Он вообще-то не интересуется ничем, кроме... Одним словом, он сейчас лечится... так что его нет, он и не знает ничего. Все?.. Расскажи, что ты делаешь в лесу?

Напротив меня сидела худенькая женщина в архимодном голубом одеянии — легкой блузе и смешных штанах, подобные надевают борцы самбо, — с теми же чертами тонкого лица, как во Фленсбурге, но волосы с проседью, как у Зайца. А ведь она говорила, что у нее дети... Как-то с трудом представлялось.

— Тийю, а твои дочери, они... уже большие?

— Ну и смешной ты! — воскликнула Тийю. — Лучше спроси, большие ли мои внуки... ха-ха-ха! — Она безудержно расхохоталась. — Мои дочери уже замужем, а ты... «большие»... ха-ха-ха.

Действительно, она на год старше меня, так что смешно, конечно. Кто бы мог подумать! Но мы с ней же целовались все-таки в крапиве.

— Старшая дочь в Таллине живет с таким же инже-

неришкой, как ее отец, у нее дочка во втором классе. Одесситы же мне мужичка внуком определили... Может, морском будет, как и его отец. Но что ты все-таки делаешь в лесу? И вообще...

— Что я делаю в лесу, об этом, Тийю, легко рассказать, а вот об «и вообще»... В лесу я живу по-настоящему. Чувствую себя человеком. Почему-то там, где много народу, я, наоборот, ощущаю себя волком, и сразу в лес хочется. Там, Тийю, нет зависти, нет алчности, нет жадности и незачем быть настороже.

— А как ты там живешь? Мне туда нельзя? У меня времени достаточно, ведь я уже пенсионерка.

— А мне можно туда, где живешь ты? Ты одна сейчас или еще кто-нибудь живет с тобой? А скажи, Тийю, ты же хорошо сохранилась... Я хочу сказать, ты мало изменилась, почти такая же, как... И муж твой интересуется или интересовался только...

— Нет, нет. Я знаю, что ты имеешь в виду, но нет. Твоя жена тебе изменяла разве? Из-за того, что ты пьешь... А потом, один ребенок может родиться у женщины случайно, но от одного и того же отца второй случайно не родится, значит, была любовь... Мы с тобой были дети тогда. Если бы встретились еще, когда я вернулась... Все счастье мира не твое, тебе принадлежит лишь небольшая частица, если сумеешь найти и сохранить. Не будь слишком жаден, можешь остаться вообще без ничего. Мой дядя в Канаде, например, имел много, а умер одиноким. И нам разве много осталось? Хорошо, когда в свои последние дни есть с кем поговорить. Мой муж почему пить начал? Поддался, как говорится, окружению. Но дочери его обожают, он добр, так что не надо тебе приходить ко мне. Из моего старого еще выйдет хороший дед... Как же все-таки с лесом? Я, признаться, мало бывала в лесу.

— Непривычному человеку туда трудно добираться, ей-богу. Иначе бы мне там делать было нечего: не люблю посещаемые места. Я тебе лучше расскажу.

...Я построил там жильё: спилил сосны, несколько штук, примерно в пяти метрах от земли, и образовались столбы, окруженные другими соснами, на столбах я сделал настил, к неспиленным соснам прикрепил стены, построил террасу на солнечную сторону, лестницу, и красиво получилось. Внизу тоже жилая площадка, кладовые, тайники, в которые я прячу все нужное, когда ухо-

жу, — поди знай, кто может приبلудиться, когда меня нет. На зиму все укрою, весной восстановлю. Там есть у меня утварь, спальный мешок, гамак, питание таскаю на себе в рюкзаке. Все очень просто, как видишь. Когда живешь один в лесу, ощущение непередаваемое...

— Ты это место случайно нашел?

— Я его искал, потому и нашел. А мысль зародилась давно, еще в Москве. В Подмосковье есть одно место — Барвиха называется. Невозможно забыть барвихинские прогулки с Зайчишкой, которая единственную радость и имела в жизни — прогулки. Зайцу, может, и хотелось чего-нибудь еще, были у нее наверняка свои какие-то мечты. Но не главные — такими были для нее прогулки и кино. Если, конечно, иметь в виду развлечения. Были у нее более значительные радости, но о них расскажу потом.

Барвиха — это сосновые леса, ельники, березовые рощи, поля, удобные лесные тропинки от Ромашкова до Усова, в среднем на три часа ходьбы; и еще пруд, который с помощью воображения становится озером, вокруг него растут сосны и липы, так что можно себе представить, какие там запахи летом; в июне-июле Барвиха — это отдушина для тысячи московских граждан, наблюдать которых на тропе Ромашково — Усово весьма интересно. Когда они высыпают из вагонов электрички и тянутся гуськом в сторону леса что летом, что зимой, они напоминают золотоискателей Клондайка из книг Джека Лондона. Идут споро, с рюкзаками на спине: мужчины, женщины, дети, молодые, пожилые и даже такие, которых некоторые считают старыми лишь на том основании, что им по восемьдесят и больше, но и они шагают с рюкзаками летом, на лыжах зимой.

Мы с маленьким Зайцем однажды тоже открыли этот маршрут, он был особенно удачным для нас оттого, что жили мы недалеко от вокзала и, таким образом, без особых трудностей, не будучи зависимыми от городского транспорта, легко и быстро, примерно за час, добирались до Ромашкова на электричке. С тех пор мы почти ежедневно бродили в лесах. Отпала необходимость куда-то ездить летом, скажем, на юг или в Эстонию. У барвихинского пруда под липами мы привязывали гамаки, читали, купались и загорали.

Конечно, путешествовать Зайцу, особенно по Эсто-

нии, хотелось, но жили мы очень скромно: ее зарплата, а позже пенсия не позволяла путешествовать, мои же доходы не стоили доброго слова, хотя себе на одежду и еду зарабатывал. Женщины, которые привыкли определять достоинство мужчины по его способности добывать деньги, меня бы ни во что не ставили. Да, мы встречались и даже подружились с женщинами, которые то и дело делились с Зайчиком своими успехами да заботами, рассказывая, какие наряды им удавалось отхватить тут и там, в «Березке» ли, мужья ли привезли из-за границы, или сами приобрели в туристической поездке за рубеж; Зайчик заинтересованно слушала и добросовестно удивлялась везению и нарядам этих милых женщин, которые и не подозревали, что хвастают перед человеком, который из украшений или драгоценностей имеет всего лишь обручальное кольцо, в то время когда их руки, каждый палец отдельно, страдают от перегруженности металлом и мочки ушей оттянулись, удлинились от тяжести серег; о цепочках, кулонах, крестиках не стоит упоминать.

Одна из них, осуждая чьего-то мужа, приносившего домой триста рублей в месяц, сказала: «Ну что такое на сегодняшний день триста рублей? Это даже не мужчина, если зарабатывает всего лишь триста рублей!»

Я стоял рядом и скромно помалкивал, тем более что и Зайчишка для поддержания разговора согласилась почти так, как обычно Таймо: «Ну муйдуги»... Нет, Заяц не сказала это по-эстонски, но по-русски согласилась, что да, конечно, триста рублей — это пустяк в теперешнее время.

Зайцу, конечно, прогулки были важнее, чем золотые безделушки. Но, спрашивается, возражала бы она, если бы могла иметь наряды и драгоценности? Однажды в Киеве какая-то немолодая женщина купила каракулевую шубу и сказала: «Хорошо, если хоть в шестьдесят можно исполнить мечту, которая зародилась в семнадцатом»... Конечно, и у Зайчика должна быть нереализованная мечта... Но она об этом никогда не говорила, никогда не роптала, но то, что имела, вся эта мелочь содержалась в образцовом порядке, каждая вещичка оберегалась тщательно.

Именно у барвихинского «моря», как я шутливо прозвал барвихинский пруд, мы убедились: нам ничего не

надо, кроме природы, значит, и из одежды — лишь спортивная, и соответствующая обувь.

Первое время нам казалось, что люди в пригородных поездах и на тропинках в лесу как-то более приветливы, склонны к общению, шутливы и добры, и объясняли это тем, что здесь, на природе, освободившись от городского темпа, от напряженности, от вечной толкотни, очередей повсюду, они расслабились, дали отдохнуть нервной системе и обрели возможность как бы приостановиться в беге жизни, да и к другим людям присмотреться и относиться уже... как к людям, а не как к постоянным конкурентам, которых надо опередить, входя в метро или в тех же очередях, одним словом, «победить», — отсюда и приветливость.

К сожалению, это было не единственное наше ошибочное представление. Правда, в отношении большинства оно остается в силе. Но довольно часто мы наблюдали людей мерзких.

Именно у барвихинского «моря», где наши гамаки висели под самыми красивыми липами, я в одно солнечное июльское утро наконец догадался, по какой причине господь бог на самом-то деле прогнал из райских кущ Адама и Еву: дело, конечно, вовсе не в яблоке и змее, как это пытаются объяснить евангелисты, — чепуха. Не потому их выгнали оттуда, что стали они ни с того ни с сего стесняться собственной наготы, а потому, что они без всякого стыда, доставая яблоки, обломали деревья...

Это мне открылось, когда увидел, что было проделано с одной из наших лип: охотясь за липовым цветом, какие-то «культурные» люди обломали почти все ветки. Любопытно, на сколько лет еще хватит барвихинских лесов?.. Но именно там, Тийю, зародилась мысль поселиться на природе, в таком месте, куда не смогут добраться культурные люди, умеющие обращаться с компьютерами и стереомагнитофонами и даже водить машины.

— Но почему ты в таком случае здесь один? — спросила Тийю. — Где же этот Зайчик... или Зайчишка? Ей здесь не понравилось? Или не понравилось там, у твоего Черного озера?

— Это целая история. Чтобы ответить, надо рассказать о многом, о моем отношении к людям, в том числе к

женщинам. До сих пор мне как-то не приходилось никому об этом рассказывать, потому что никто особенно и не интересовался. Ибо тем, кого я любил, довольно того; а кого не любил, им незачем было, они сами относились ко мне не лучше, даже если пытались это маскировать; очень трудно прятать за самой распрекрасной улыбкой твою неприязнь к какому-то человеку; симпатии и антипатии я чувствую интуицией, которая еще не обманывала. Мне кажется, то же самое у всех людей, но могу и ошибиться.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

14

Случилось это, Тийю, на Сахалине. Приближался День рыбака. Плавбаза стояла на якоре недалеко от острова Шикотан. К этому обстоятельству все на корабле отнеслись радостно, если учесть, что на плавбазе наряду с мужчинами работали сотни полторы женщин со всех концов страны, и обнаружить среди них землячку удавалось многим. Намечался концерт самодеятельности, кино, а в ларьке в честь праздника отпускали даже кислое вино по бутылке на человеко-единицу. Должны были также привезти почту, и на Шикотан отправили бот. Плыли моторист, кто-то из помощников капитана и два матроса. Я никогда на Шикотане не был, поэтому мне, в виде исключения, разрешили поехать. Отчаливая, услышали с палубы плавбазы окрик капитана: «Если кто-нибудь привезет хоть бутылку, выкину за борт кальмарам!»

Это была не пустая угроза, никто не сомневался. Но что за праздник без спирта, когда на Шикотане его в магазинах полно — шесть рублей пол-литра!.. Видишь ли, Тийю, в этих широтах на море царит сухой закон. Если и были у кого-нибудь запасы, они давно кончились. Поэтому матросы и рабочие совали уезжающим в Крабоводск купюры пачками, на глазах слезы, на устах мольба... Совали деньги с оглядкой: не заметил бы капитан. Но он относился безразлично, если даже видел, он-то знал: на борт не поднимут, уж он не проворонит.

— Если не привезу, сам нагружусь до носа,— говорил один из матросов.— При подъеме не уроните меня за борт, ради бога...

У всех одна мысль: как провести капитана. Вспоминают, как уже пробовали когда-то, но не помнят, чтоб удавалось. Кальмарам всякий раз доставалось много, вот какие везучие эти кальмары! Что же можно придумать теперь? Во всякого рода плохих делах у меня огромный опыт, и я тут же подумал об одной возможности.

— Закупайте, братцы, проташу как-нибудь с божьей

помощью,— объявил я и подумал про себя: не с божьей, а с помощью женщины, если моя улыбка еще что-нибудь значит.

Причалили. Помощник капитана и я — на почту, остальные — по магазинам. Почта оказалась закрытой. Ее начальница — как я и надеялся, женщина — проживала рядом. Подошел я к двери квартиры — котлетами пахнет. Постучал, вошел. Стоит она у плиты, средних лет женщина, в фартуке. Сказав, что пахнет очень вкусно, я попросил котлету. Не отказала. Такие котлеты нельзя было не похвалить...

Я доложил, что приехали за почтой с плавбазы. Обещала выдать, понимает, что люди письма ждут.

— И посылочки...

Конечно, она все отдаст, кому что пришло — и посылки и бандероли.

— Это хорошо,— изобразил я радость,— но мне никто ничего не шлет, вот беда. А хочется...

— То есть? — Она что-то не поняла.

Я не стал крутить, объяснил, что к чему, и попросил два-три старых ящика: если сам себе отправляешь, то чего ради скупиться. Посмотрела женщина строго, так что пришлось улыбнуться. Тогда я еще зубы не растерял.

— Ладно, проказник... Но смотри!

Нашли в сарае три вместительные коробки, я написал на них адрес: Шикотан — мне (мои данные), адрес отправителя: Москва, Матросская тишина, 123. От Абибулина Андрея.

— Когда я упакую, то надо бы обвязать, и сургучную печать, чтобы было как полагается, штемпеля и прочее.

Скоро мужики притащили бутылки, обернули их бумагой, чтоб не звенели, и рядками, как сардины в банке, уложили в ящики. Едем обратно, у всех настроение возвышенное, особенно у меня от сознания, что улыбка — великая вещь.

— Теперь нашему капитану одно спасенье,— рассуждают мужики,— расстрелять наш бот еще в море...

Все шло как по заказу. Сам капитан руководил подъемом почты, которой на весь корабль набралось много, и мы наблюдали, как мои ящики благополучно пропутешествовали в столовую, где проходила раздача почты. Получил и я свои три посылки, и какое кому дело, сколько их получаю! Затем ко мне в кубрик один за

другим ныряли мужики, и нате вам, кому сколько: тебе три, тебе четыре, а мне... Конечно, и мне. Все роздал и себя не обидел. Дальше было как по-писаному: митинг, речи (по-моему, говорили неплохо), но бросилось в глаза, что все были не в меру веселы. Потом концерт, затем кино показали, но народу в зале стало уже как будто маловато...

Женщины и охотники «за длинным» рублем присутствовали, а где остальные? В общем, праздник проходил на высоком уровне: кто-то кого-то чуть было не выкинул за борт, у кого-то кишки выворачивало наизнанку, хотя море было тихое, никакой болтанки; кто-то в женской одежде отплясывал босиком цыганочку, один в разделочном цехе угодил в бассейн с рыбой, где плавал со скумбрией вместе... Чего только не было! Ходит капитан и диву дается, как разобрало хлопцев от кислого вина! От одной бутылки на человеко-единицу!..

Следующий день прошел благополучно, были танцы и опять одни женщины, кавалерам не до танцев. Затем я сильно удивился: меня пригласили наверх к капитану. Здесь он и его помощники, вижу на столе три знакомые посылки... набитые пустыми бутылками.

— Задание тебе срочное выпало,— говорит капитан-директор плавбазы,— поскольку ты сообразительный в почтовых делах.

И протягивает мою книжку моряка:

— Расчет получишь в Холмске. Барахлишко твое мы собрали, прости за самоуправство. Не обижайся. Ты в общем-то молодец, но и мы не салаги...

Здесь я обратил внимание на свой чемодан в углу.

Когда спускался на мотобот, на палубе собрались все, трезвые и похмельные, и от хохота судно качалось. Но кое-кто, я обратил внимание, вытирал слезы. Тепло стало от такого сочувствия. Когда же бот отчалил, корабль дал бесконечно долгий гудок, прощальный, словно адмирала провожали. Несмотря на горькую ситуацию, на душе стало приятно. Но опять я ошибся. Гудок действительно был прощальный, но предназначался не мне, а старому рыбмастеру, который проработал на плавбазе больше двадцати лет, а теперь ехал в Корсаков принимать новую плавбазу в качестве ее капитана-директора. Ему-то с палубы и махали платочками, и слезы, которые там вытирали, тоже были пролиты не в мою честь. Меня тут как будто уже и не было, вроде растворился я в этом

долгом гудке. Единственно, разве хохот был действительно в мой адрес.

Когда ушли далеко, подошел ко мне рыбмастер, засмеялся и сказал:

— Ну, бродяга, приуныл?

Они с мотористом долго и заразительно смеялись

— Что вытворил — все судно напоил до усов... Когда они теперь очухаются...

Когда они там на плавбазе очухались, мне узнать не довелось. Сам я в Крабовозовске очнулся на третий день после приплыва в гостеприимном доме недалеко от почты (тогда на загул уходило всего лишь три дня) и попутным траулером отправился в Холмск, где предстояло получить топливо, то есть деньги, потом разработать курс дальнейшего «плавания», хотя разрабатывать, собственно говоря, было нечего, во всем мире меня ни одна собака уже как будто не ждала. Единственно, в Тарту я мог приехать в любое время года и суток, поскольку в моем кармане звенели ключи от квартиры Таймо на улице Пуйестее.

Поселившись в Доме моряка, я в ожидании выплаты денег шлялся по городу, нанося визиты случайным знакомым. Естественно, везде отдавали должное продукции нашей и зарубежной винопромышленности. На Сахалине если пьют, так не оглядываются. Люди здесь зарабатывают прилично, и тот, кто сюда приехал не для того, чтобы разбогатеть и уехать, кто сюда жить приехал, не очень экономит, обожает жить с размахом.

Случайно встретил в столовой Николая — шофер, родом из Читы. Этот мужичок тридцати лет, с усиками, сидел за столом, ел что-то и писал одновременно. Когда мы с ним познакомились, он писал; потом, где бы я его ни встретил, — то же самое. Я было подумал, что он писатель. Но выяснилось, что строчит он в Читу, Ниночке. Она — жена главного инженера шахты и любит Николая, он любит ее. Раньше он служил в ГАИ, но бросил: Нине не нравилась эта работа. Устроился шофером при управлении шахты, стал возить главного инженера, то есть мужа Нины. Когда их любовь продолжалась уже с полгода, они решили, что он поедет на Сахалин, устроится, потом она возьмет дочку, четырехлетнюю Милочку, и приедет к нему. И вот он здесь.

Обещают машину, если он ее сам отремонтирует. Но эту машину, оказывается, надо сделать почти заново.

Он сделает. Лишь бы Нина приехала. Квартиры у него пока нет, обещают. А пока сочиняет ей длинные письма, Николай этот, — волосы торчком, как у ежа, бакенбарды, но, главное, с усами человек. Естественно, он стал читать мне вслух каждое полученное от нее письмо. Там было, на мой взгляд, слишком много лобзаний, и это настроило меня на грустный лад: несерьезными показались эти письма, какой-то игрой. Было похоже, что она, когда парень ей надоел, умеючи спровадила дурачка на Сахалин. Но я не стал об этом говорить, ведь я мог и ошибаться. Мы быстро подружились с этим открытым парнем с наивным сердцем. Он всегда бегал по магазинам, покупал детские вещи для Милочки — они в Чите дефицит — и тут же отправлял Ниночке.

Сначала я жил в Доме моряка один в комнате на шесть персон. Потом поселился некий боцман Гришка, ему предстояло скоро в море. Затем из рейса прибыл толстый, веселый капитан, и мы не скучали. В карты резались ночи напролет. Проигрывал всегда толстяк, ибо Гришка-боцман оказался продувной личностью. Однажды он поспорил с капитаном из-за зебры... на сто рублей. Он, этак между прочим, тасуя карты, словно проговорился, что в Холмск кто-то зебру завез. У капитана челюсть отвисла: зебра в Холмске! Быть такого не может! Поспорили. На следующее утро Гришка-боцман обещал толстому представить зебру.

А днем приходит ко мне Николай и показывает ладони: «Что бы такое с ними сделать?» Ладони сплошь покрыты кровавыми мозолями: он ночью в порту разгрузил четыре платформы угля, а на предстоящую ночь подписал договор еще на четыре... Кроме того, он ничего не ел, последние деньги ушли на посылку в Читу. Но с такими ладонями немисливо работать. Вечером я отправился с ним на угольный склад, там уже стояли четыре платформы. Пришлось мне вкалывать до полуночи из-за того, что этот доверчивый дурак своей Ниночке гоняет посылки. За платформу ему платили пятнадцать рублей, значит, за восемь — сто двадцать. Вот он и пожадничал. Пока я работал, он сидел под фонарем и... цапал письмо Ниночке.

В Дом моряка, едва я пришел, даже помыться не успел, заявился Гришка-боцман. Капитан смачно храпел. Гришка звал с собой на подмогу. Мне в ту ночь только и оставалось — всем помогать.

Неподалеку расположен лесопильный завод. На его территории стоял сарай, никем не охраняемый — не «Жигули» же в нем держали, а жил здесь старый мерин. Он служил для перевозки опилок и прочего мусора. К нему-то и пожаловали ночные гости, таща в руках ведро с желтой малярной краской, раздобытой где-то Гришкой. За десять минут мерина было не узнать...

В семь утра Гришка разбудил крепко спавшего капитана, мы потащили его, непрерывно ругавшегося (поспать не дали!), в сарай. И Гришка-боцман спросил:

— Кто здесь стоит перед тобой, старина? Если это не зебра, тогда кто?

Я подумал, толстый умрет: он так ржал, что даже перержал испуганного мерина.

— Сукины дети.— Он хватался за живот.— Ладно! Но давайте удирать, пока сюда не пришли. Кто же его теперь отмоет?..

И мы исчезли, как тени.

В аэропорт ехали вдвоем с Николаем, он захотел меня проводить. Я летел до Хабаровска. Оттуда предстояло поездом до Москвы и другим — до Тарту. Говорили о Нине, вернее, говорил Николай, а я слушал да соглашался. Можно было, конечно, высказать, что я о ней думаю: мало похоже, будто она согласится поменять шикарную квартиру в Чите и персональную машину мужа на комнатенку в старом деревянном доме без удобств на Сахалине. Но я промолчал. Блажен, кто верует. Если человеку хочется во что-то верить, то, пытаюсь его разубедить, можно нажать себе врага. Зачем? Я ему пожелал счастья, и все.

Разгуливая по улицам, паркам и набережным Хабаровска, я предавался воспоминаниям об одной маленького росточка темноволосой красавице, с которой, вероятно, связал бы когда-то давно свою жизнь, если бы она мне не изменила, а точнее — предала, к моему несчастью или счастью: она оказалась довольно эгоистичной и к тому же болезненно ревнивой... Здесь, в Хабаровске, прошло ее детство. Еще школьницей она жаждала, чтобы в нее влюблялись... Дочь генерала...

Впрочем, в романе «Улыбка Фортуны» я ее вывел под именем Киры, работницы аптеки в Киеве. Так сделать мне посоветовали в редакции.

В поезде со мной в одном купе ехали две женщины и стройный светловолосый юноша с мечтательными серыми глазами на тонком, почти нежном лице. Я не отказываюсь от знакомств, если находятся желающие поговорить. В пути это неизбежно, хотя бывает и утомительно. Встречаются такие, которые стремятся пленить всех присутствующих, едва устроившись в купе; хочешь не хочешь, а узнаешь о том, как он метко стреляет, какие повидал страны, как его обожают женщины, какой он везучий или наоборот.

Женщины, слава богу, нашли общий язык и не уделяли внимания нам. Парень с мечтательными глазами стоял все время в коридоре и смотрел в окно, за которым было темно и решительно ничего не видно, кроме мелькавших время от времени каких-то огней. Потом он и вовсе пропал. Я отправился ужинать в вагон-ресторан. Здесь за одним из столиков увидел паренька. Он мрачно уставился в недопитый стакан с вином. Заказав ужин, я увлекся едой. Парень же, допив вино, ушел. Я встретился с ним опять в тамбуре нашего вагона.

Он курил, прислонясь к двери, и, похоже, чувствовал себя невесело. Захотелось с ним заговорить. Я обратился с просьбой одолжить сигарету. Он протянул пачку «Примы». Я достал одну, прикурил от его сигареты и спросил, отчего он такой невеселый. Ему могло быть не больше двадцати трех. Потом узнал, что возраст угадал правильно. Он мне не ответил, и я отошел к противоположной двери, чтобы тоже прислониться. Но я лишь прислонился, а не курил, поскольку давно бросил. Парень почему-то вздохнул тяжело и заругался матом неизвестно в чей адрес. В то же время было заметно, что он меня исподтишка изучает.

— Далеко?

— В Москву,— ответил я.— Ты тоже?

Я обращался на «ты» исключительно с учетом разницы наших возрастов, к тому же в подобных ситуациях «ты» как-то более уместно, даже сближает.

— Нет,— сказал он угрюмо,— в Киров. Слыхали про такой?

Естественно, я слышал про такой город и бывал в нем.

— Век бы мне его не видеть,— сказал парень, зло выругавшись.

— А ты не мог бы без междометий? — Я ударился в воспитание.

— Можно и без,— согласился он смутившись — привычка, знаете ли...

— А что, собственно, тебе там не нравится? — пристал я теперь уже законно и признался: — Бывал я там красивый город.

Он задумался на мгновение, затем предложил:

— Отец... Давайте выпьем с вами немного, а? Чтoб говорить было проще.— И спросил: — Вы по какой линии работаете?

— Геолог. Сейчас в отпуске. Приезжал друзей навестить,— соврал я неизвестно зачем, ведь для меня соврать, что воды напиться.

Он отнесся к этому равнодушно, только спросил, нравится ли мне моя профессия. И, конечно, я начал расхваливать распрекрасную жизнь изыскателя, даже принялся ему объяснять разницу между геологией полевой и камерной...

— Может, пойдем?

Стало быть, обратно в ресторан? Я отказался, бросил сигарету и отправился в купе. Он остался со своими думами, которые его, очевидно, здорово занимали. Вскоре и он припнулся в купе, затем вышел в коридор, опять стал всматриваться в темноту за окном, потом, просунув голову в купе, попросил меня на минутку.

— Пожалуйста, пойдите! — сказал он умоляюще.— Я угощаю, у меня деньги есть, я же моряк...

Видно, он решил, будто я не хочу тратиться. Что он моряк, я уже в тамбуре догадался,— наверное, потому и представился геологом. Надоела травля «бывалых» мореманов...

— Понимаете...

Он замаялся, и можно было лишь догадываться, что ему нужно выговориться. Такая необходимость мне знакома. Особенно удобны для этого именно случайные люди, которых вряд ли когда-нибудь еще встретишь.

— Ладно,— согласился я после недолгого колебания,— пойдем.

Он просветлел, и мы направились в вагон-ресторан.

— Меня зовут Василий,— представился он, когда устроились за столиком.

Я назвал свое имя. Ему этого было мало: неудобно, мол, обращаться к старшему просто по имени. Я назвал

отчество. Новый приятель подозвал официантку и заказал в этакой великосветской манере бутылку коньяка со всем к нему подходящим: кофе, бутерброды, салат, сыр, конфеты, — а я заслужил презрительный взгляд официантки, решившей, что я из тех прохиндеев, кто не прочь вылакать за чужой счет, а тут паренек подвыпивший подвернулся...

— Хотите, расскажу о своей жизни? — спросил Василий, когда было опрокинуто по первой за знакомство.

— Для чего же я сюда пришел?

— Я — мореман, — начал он. — Рыбачил на траулере. Там друзей первоклассных оставил — люди! Один за всех, все за одного. Жалко. Девчонка хорошая осталась. Из-за отца уехал. Письмо получил от матери — он к другой ушел, которая помоложе... А ведь они с матерью двадцать пять лет прожили. И сестренка ему не жалко, они еще ничего не смыслят: одиннадцать и девять лет. Предатель! Отмантужить не мешало бы идиота старого! Но я, собственно, не о том...

Я раньше был не таким, как теперь, — хуже, намного хуже! Только не понимал этого. Как бы это сказать... стилигой вроде. Девчонка красивая со мной ходила, еще в школе. Корешки были такие же, как я сам. Или, вернее, я был таким же, как они. Ну да все равно. Нет, мы ничего плохого не делали — я лично. Но были у нас «жиганы», воображали себя этакими «черными котами»... Слыхали про банду «Черная кошка»? Такие у нас в атаманах хаживали. Мы всегда вместе держались — на танцах, везде. Даже одевались одинаково. Но главное — дрались. Жестоко дрались, кастетами, ремневыми пряжками били, знаете. Бывали тяжелые случаи, кое-кто в больнице месяцами валялся. Некоторые и в тюрьму попадали — все было. На весь город гремели и ужасно этим гордились. Понимаете? Солидарность была в том смысле, чтобы к нашим девчонкам кто-нибудь посмел подойти — боже упаси!

Потом в армию забрали. Ребята, которые из армии пришли, в Монголию уехали, вернулись на собственных мотоциклах, с деньгами. А меня в Монголию не взяли из-за татуировки. По глупости змею наколол на животе, вот и не взяли... Но дело не в этом...

Однажды... Я слесарил в то время на фабрике. Работа не нравилась, но платили ничего. Так вот, однажды бродил по городу и пришел к магазину «Охотник». Стал

я рассматривать ружье на витрине. Мечта была занять такое, собаку хорошую, и айда в тайгу... Ну, стою, смотрю — и вдруг вижу в витрине отражение... Какой-то мужик рядом стоит, тоже на ружье нацеливается...

И я уже не на ружье — на него стал смотреть. Он мне вдруг понравился. Чем? Даже затрудняюсь сказать. Понимаете, он был не такой, как все другие, кого я знал. Он был... Если бы просто на улице встретился, я бы не заметил даже, но теперь, когда стояли так вот рядом... Я смотрел на витрину, на стекло, и картина была обалденная: рядом с ним я себе показался мартышкой, ей-богу! Вот вам смешно... А ничего смешного нет!

Понимаете, красивеньких девчат я всегда примечал, а красивый мужик, знаете, я о том даже думать не думал, каким он должен быть... У меня отец в этом отношении ого какой хват! Да, он не промах, умеет франтить, во всяком случае, я всегда считал, что мой старик — самый видный мужик. Мать рядом с ним — серая мышь... А отец у меня на той же фабрике работал, в плановом отделе, интеллигент, знаете. Куда там! Даже прическу молодую себе сделал, как у меня была, волосы длиннющие. И я этим даже гордился, вроде не отстают старики от моды, признает. А то некоторые старики на наши волосы ополчились, чуть ли не анархистами нас считали, а мой сам с нас пример брал — приятно было. Конечно, не шла она ему совсем, эта прическа. Ну абсолютно не шла, а все равно я считал, что молодец старик.

А вообще-то он у меня... Знаете, у него всегда что-то свое на уме, о машине мечтал, деньги зашибал, где только мог, экономил до жадности. И купил «Москвича». Оттого и ушел теперь к этой... Да я-то ее, эту, не знаю. Он ее в машине катал, ну и докатались, и пошло у них: в лес и все такое. Это мать писала, сам-то я не видел.

Так вот, стоял я рядом с тем мужиком и как-то сам себе не нравился. Вижу, из-под белой рубашки у него — летом это было — тельняшка выглядывает. Значит, моряк. Волосы прямые, как у меня сейчас, аккуратно подстрижены. Лицо обыкновенное, только суровое, волосы седые, на лбу шрам. Ясно, что шрам не от драки, такой за здорово живешь в драку не полезет. Немолодой, примерно вашего возраста. Одним словом, красивый был мужик.

Я стоял рядом, смотрел на наши отражения, и было такое чувство, будто я и не человек, а какое-то недоразумение... Отцу никогда не хотелось подражать ни в чем, хо-

тя и был он вроде хоть куда. Тут же совсем чужой человек, а мне захотелось быть таким, как он. Он ушел, а я поплелся за ним, как девчонка. Потом стал всех людей по-новому рассматривать: как одеты, как держатся, и все мне теперь показалось совсем по-иному.

Встречаю людей и определяю: этот — настоящий, а этот — чижик. Пошел в парикмахерскую, подстригся, стильные шмотки бросил. Не сразу, правда. Одним словом... Сами понимаете. Кореша, конечно, на смех подняли, поиздевались, но мне на них наплевать было. Разве поймут! А вот что Людка отвернулась, с ними осталась, этого я понять не мог. Само собой, от ребят отошел, не клеилась больше компания, ведь они ни в чем от прежнего меня не отличались, все разыгрывали из себя «черных кошек», — надоело. Тоскливо стало.

Внешне я, конечно, стал немного на него похожим. А он, знаете, сильно напоминал мне Овода. Читали? Я понимал, что дело не в том только, как он выглядел внешне, что-то еще было в нем... объяснить не могу, — прочность или, может быть, уверенность в себе. Но и наши чижики бывали в себе уверены, куда там! Здесь другое... Я потому вспомнил Овода, что именно таким он мог быть. Отец, например, относился ко мне нормально, но такого настоящего, мужского, я в нем никогда не видел. Он всегда все рассчитывал: с кем общаться, кого в гости приглашать, к кому пойти — все с учетом чего-нибудь. И стало мне все неинтересно дома, решил уехать, на море податься. Так два года назад я приехал в Хабаровск. Повезло, на корабль взяли. Потом с девчонкой познакомился. Но дело не в этом, это уже другой разговор. Хотя здорово она на пианино играет. Обалденная девчонка! Серьезная. Подружились мы с ней крепко. А теперь еду домой...

Отца нет, девчонки ничего не смыслят, мать одна кувыркается... Она у меня медсестра. Зарабатывает немного. Раньше кое-что откладывали, но отец все на машину ухлопал. Матери теперь трудно, надо взять все в свои руки. Так что... еду «вахту стоять». А думаете, легко было мне из Хабаровска вырваться? Три раза брал билет и... не уезжал. Ребята уговорили: «Ехать надо, Вася». Нелька то же самое говорила: «Ты же мужчина, надо ехать».

— А прежние кореша не привяжутся?

— От них отделаюсь, другие найдутся, не все же такие, а может, и из них кто-то уже поумнел, может, они не на всю жизнь дураки...

— А девчонка из Хабаровска?

— Приедет. Если настоящая, приедет. Вот море не придет. Жалко. И ребята... один за всех, все за одного. Жаль! Но ничего. Везде простор есть, если правильно присмотреться. Раньше я не умел, но на море побываешь — научишься видеть не только до горизонта, а дальше.

— Отца-то... «отмантуживать», наверное, не следует,— высказал я осторожно.

— Это я сгоряча брякнул,— отмахнулся Вася.— Знаю, тот мужик... он бы тоже так не поступил, и Овод... сами понимаете. Вот вы старше меня. Наверное, много в жизни видели, но разве вы сразу все стали понимать? Жизнь постепенно узнаешь. Растешь, если умеешь сопоставлять. Мать, конечно, немолодая уже и одевается немодно, но она же моя мать! Вообще... Разве отец когда-нибудь думал о том, что маме некогда марафетом заниматься? Все ее время уходило на нас: стирка, готовка, штопать-латать, с работы на базар, с базара к плите, от плиты к стирке. Спать ложилась после всех. Телевизор смотреть было некогда, а папа на машине раскатывал. Обидно ведь, правда?

Вот как Тийю. Я действительно черт знает что в жизни видел и даже сумел об этом написать пару книг. Но меня прогнали с корабля, и теперь совсем молодой парень, только начинающий жить, объяснял мне, как познается жизнь... «Если умеешь сопоставлять»... Парень, конечно, сентиментален, но ведь его отец действительно прохиндей, который кормил сына до зрелого возраста, но примером для него стать не сумел. А сентиментальность, это исчезающее свойство, оно и мне было присуще в двадцать три года... Но Тийю, когда мне было двадцать три, я не умел видеть даже до горизонта. Я был избит жизнью и людьми и не мог осмыслить происходящего; я ненавидел и жаждал мстить... Всем людям.

— Ну, а к морю я еще вернусь,— убеждал себя Василий,— надо подучиться. Что ж, всю жизнь в матросах? А то из армии — на работу, учење побоку, дружки, выпивки, драки, и пошло... Горизонт был мал, дальше носа не видел. Подрастут девчонки, матери станет легче, и подамся в мореходку. Правда ведь?

Конечно, правда. Да что там говорить! В сущности, от меня требовалось лишь соглашаться. Мы с ним встретились в дороге: один направляется в жизнь, другой — уже

на обратном пути. Как раз самый момент, чтобы передать другому то, что ты уже знаешь, а ему пригодится. Но что я могу дать тому, кто уже научился сопоставлять, кого наверняка с корабля не прогонят, потому что для него море — содержание жизни, в то время как я мечтаю укрыться где-нибудь в тишине. Он полон энергии, я же свою куда-то растратил. И не просто растратил...

Подозвав официантку, я хотел расплатиться. Вася взбунтовался:

— Я же сказал, я угощаю.

Договорились расплатиться поровну.

— А здорово,— сказал он, икая, когда пробирались в свой вагон,— что моряка тогда у витрины увидел рядом. А то бы так и ходил в мартышках. Всю мою жизнь он перевернул одним своим видом. На работе много всякого умного говорили, на комсомольских собраниях и вообще. Ну, слушать слушал, понимал: вроде правильно толкуют. Потом с друзьями пообщался, выпили — и все разговоры забыты. А вот это, увиденное, все время помню.

Он не знает того моряка. И моряка ли? Тельняшку многие носят, еще больше мужчин хотели бы носить, если бы было где достать,— практично и хиппово. Может быть, он даже далек от идеала, каким показался парню. Может, он жесток или подл, или легкомыслен, и шрам ему достался от какого-нибудь обманутого мужа. Но он, сам того не подозревая, случайно дал одному из миллионов мальчишек представление о мужественной внешности. Если Вася моряк, ему не обойтись без маяка; в жизни же не всем удастся стать маяком для кого-нибудь. Если бы было больше таких неведомых Оводов, чтобы везде просто так, не дискутируя о «проблеме» молодежи, помогать ей уже тем, что они есть рядом.

Теоретически мы все очень сильны теперь, во всем подкованы. У каждого по любому поводу имеется свое мнение, которое он считает единственно правильным; таких, которые своим мнением способны поступиться, очень даже мало. Теоретически разбираемся даже в основных положениях марксизма. Но в жизни выходит у многих шиворот-навыворот. Так что мое мнение такое — нет никакого толка от моего мнения, если я при нем не в ладах с практической жизнью.

Я рассказал Тийю о встрече с Васей-мореманом, намереваясь издали начать приближение к цели — к первопричине. Дорогая моя Тийю, я не философ, но меня вечно по поводу всего в жизни занимал вопрос «почему». Ответы и объяснения могли находиться на поверхности, однако я их не видел. Васе намного легче, чем было в его возрасте мне: его обидел родной отец, но его беда — его удача, она его научила сопоставлять, ведь отражение в витрине — всего лишь случайность, которую, не будь ее, заменила бы какая-нибудь другая, и он бы пришел к тем же выводам, потому что подсознательно к ним тяготел. У меня же, ты сама понимаешь, все было гораздо более жестоко и несправедливо.

Чтобы рассказать о первопричине моих бед, необходимо упомянуть шахматы, московское метро и теорию наследственности.

В сущности, беды каждого человека заключены в том, что он неудачно, неправильно разыграл дебют своей жизненной партии. Когда и как его разыграл я? Как вообще сложилась моя партия? В шахматах разбором занимаются признанные мастера, гроссмейстеры. Наши же игры мы рассматриваем сами, пока живы, а когда умрем — кто-нибудь другой в день усопших, случайно забредший на кладбище с четвертинкой в кармане.

Мой дебют определили без моего участия личности, которых одни люди на земле боготворили, им поклонялись и служили, другие же проклинали как врагов человеческого рода, и история признала их ничтожествами, несмотря на чудовищные по величине последствия их деяний. Дипломаты ездили друг к другу в гости, давали обеды, ужины, завтраки, произносили речи, заключали договоры; их везде провожали и встречали и показывали в кино. А я в то время играл в индейцев. В большой игре мы, дети, не были даже пешками, но во имя нашей защиты... в мире начали убивать всех людей подряд, в том числе нас...

Потом «мастера» настолько растерялись от последствий своей большой игры, что проследить за всем на доске оказались попросту не в силах, так что пешки стали пытаться сами как-то ориентироваться; иным казалось, что они — фигуры, а иным фигурам, что они — гроссмейстеры. Ну, эта путаница историками уже рассмотрена и объ-

яснена, в конечном счете всем было найдено место, и игра продолжается: дипломаты ездят друг к другу в гости, дают завтраки, обеды, ужины, произносят речи...

А в некоторых странах опять убивают одних стариков, женщин и детей, чтобы защитить жизни других стариков, женщин и детей. (Кто же сами этим конкретно не заняты, те, чаще всего, наблюдают, как это делается.)

Итак, Васе-мореману двадцать три года... И он сопоставляет вполне перспективно, свой дебют играет сам, и правильно. А политики ему не мешают, потому что те из них, которые с его игрой не считаются, сегодня уже не в силах везде по своему усмотрению менять государственные границы и вторгаться, куда их не просят. Стало быть, дебют Васи может развиваться благополучно, благодаря... тоже, увы, усилиям дипломатов, которые дают обеды и показываются в кино, когда ездят туда-сюда в гости...

А теперь о наследственности.

В юмористической литературе ситуации, похожие на мою, уже описаны, и получается действительно довольно смешно. Правда, мой приятель-философ, который работает уборщиком в кафе, утверждает совершенно серьезно, что гены генами, но теория наследственности — чепуха, потому что главное в образовании человеческого сознания — воспитание. Однако я лично генам придаю большое значение. Больше мне ведь и не на кого ссылаться. Воспитывали-то меня очень противоречивыми методами, я бы сказал...

Предполагаю, что разносторонность у меня от отца, который был человеком весьма сообразительным, расторопным, способным находить выход из любых ситуаций; единственно — от смерти ему отвертеться не удалось. Но прожить в такое сложное время, когда народы воюют, сорок два года — это даже достижение.

От матери мне достались доверчивость и неумение, даже нежелание искать ходы-выходы. Мать жила пониманием: если человек живет честно, подлостей другим не делает, то ему незачем попадать в ситуации, из которых потом придется выпутываться. Конечно, она была не совсем права. Ведь благополучие нашей семьи все же зависело от способностей отца, а не от честности матери. Но мне эти ее качества тем не менее передались тоже, и мамы-папины гены в таком противоположном сочетании создали немало сложностей, ибо я до сих пор, кажется,

в себе окончательно не разобрался, чтобы установить теперь, кто я есть: мошенник или праведник.

Чьи же гены мне больше навредили? Сначала, несомненно, папины, и втянули они меня во столько приключений — едва жив остался. Но однажды верх взяли мамины... Теперь мне за них приходится отдуваться. Я не научился оперировать генами: где надо полагаться на одни — полагаюсь на другие, и наоборот. В переводе это значит, где надо с волками выть, там я честность и прямоту проявляю, а где честным быть — вою по-волчьи, с разносторонностью непрактичной лезу. В результате бьют...

Я очень люблю читать (сегодня уже меньше, чем раньше), с этим связаны основные приобретения в сознании. А это не так-то просто, как может показаться, потому что мне приходилось часто и долго находиться в условиях, отрицающих начисто многие мои лучшие представления о жизни и справедливости, почерпнутые в книгах. Возьмем хотя бы марксизм-ленинизм. Теорию я не изучал, познавал практически. А практика, не подкрепленная теорией... Говорят, это ненадежное дело. Тем не менее о марксизме-ленинизме я читал. Впечатление складывалось положительное. «Гранит не плавится»... Я получил представление о революционной принципиальности, о скромности, неподкупности и честности, о самоотверженности и партмаксимуме, о людях, которые добровольно брались за самые трудные дела, не считаясь с условиями жизни или вознаграждением. И эта литература победила... благодаря генам моей матери.

А окружение действительно не располагало к человеколюбивым настроениям... Люди вокруг не были явными врагами социализма, но и приверженцами такового тоже, а очень даже многие из них относились враждебно ко всему, что мешало им лично жить, не подчиняясь никакому государственному строю. Дураками их считать было бы несправедливо, хотя они старались казаться умнее, чем были на самом деле, за что и им приходилось расплачиваться (я, конечно, не знаю, какие у них гены преобладали).

А у меня, как это ни парадоксально, верх брали маминны гены. Это был как раз тот случай, когда им-то следовало не пробуждаться, а сидеть себе тихо и наблюдать, какие выкрутасы будут изображать папины. Мне полагалось выть по-волчьи. Я же начал проявлять человечес-

кое достоинство, поверив книгам. Естественно, колотили прилично...

А потом произошел переход из одной жизни в другую.

Да, можно переселиться из страны в страну, и нелегко будет привыкнуть к другим порядкам; можно, скажем, заболеть неизлечимой болезнью или лишиться ног, зрения, и тоже будет непросто смириться с новым положением, которое уже нельзя отменить.

К другой жизни меня подготавливали главным образом книги. Люди тоже, но, как ни странно, те, которые относились к ней враждебно, пытаясь урвать как можно больше для личной выгоды. Именно их единодушное (почти единодушное) отрицание порядков социалистического государства настроило меня к этим порядкам доверительно, потому что те, кто их не признавал, не были симпатичны ни мне, ни маминим и даже папиным генам.

Ну вот... Пожалуй, и все для начала.

— А метро? Ты же еще сказал о московском метро.

— Прости, Тийю. Не так-то просто последовательно рассказать о вещах, в которых мне и теперь еще многое непонятно. Хотя я приобрел я более или менее четкое представление о позиции, каковой мне следует держаться. Но как же трудно было к этому прийти-продрасться! Порою все настолько запутано и перевернуто с ног на голову, что кажется лишенным всяческого смысла, так что я уже готов был пуститься в плавание по течению: угодны приспособленцы? Пожалуйста. Этому легко обучиться, так что, будьте любезны, станет еще на одного больше. Это было результатом разочарования, когда мамини и папины гены не могли между собой ни договориться, ни уступить друг другу.

Ведь я сперва обрадовался тому, что в неволе отрицательно относились к действительности, с которой я понастоящему не был знаком: меня же из нее исключили в шестнадцать лет, а вернулся, считай, пятнадцать спустя. Я надеялся, что она противоположна представлению ее врагов. Но здесь часто не мог найти разницы между отрицающими и отрицаемым. Правда, многие представители официальной идеологии смотрели на несогласных так, словно те свалились в нашу страну с Марса... Отрицающие — не мы, а мы — не они. Однако же я начал догадываться, что те и другие — одинакового происхождения.

В те дни мне часто в печати встречалось определение:

«новый человек». Очень трудно было понять, кто имеется в виду. Требования к нему большие. Создавалось впечатление, что новый человек — это все мы в Советском Союзе (кроме тех, разумеется, которые с Марса упали). Ну, а если конкретно? Кто он? Тот, кто честно и добросовестно работает? Но это же одно из древнейших требований к человеку вообще, и в мире всегда были люди, которые делали свое дело добросовестно. Или это тот, кто честен, благороден, великодушен? Но и такие люди были даже в античном мире.

Вот здесь-то меня и выручило метро.

Люди, чья задача рассказывать нам о жизни за границей, часто делились с нами впечатлениями о метрополитене в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, и мы узнали наряду с тем, как там опасно для жизни ездить, еще о вандализме, то есть о том, как там все загажено, разрисовано и расписано порнографическими и другими непотребностями.

Невольно, когда спускаешься в уютное и чистое метро в Москве, задумаешься — отчего у нас чисто, а у них нет? Встречаются и у нас робкие проявления вандализма в кинотеатрах, электропоездах — разрезанный дермати́н на сиденьях, разбитые фонари в парках... — слабо, конечно. В метро чисто не потому, что в нем милиция, — не уследят, если кто-то захочет написать на стене, что «здесь был Петя». Дело в общих условиях быта: неловко гадить там, где чисто, и тебе служат — за это тебя не грабят; наш быт во многом оставляет желать лучшего, но он сравнительно еще дешевле, несмотря на заметное подорожание...

...Если ты, Тийю, будешь меня навещать, я тебе еще о многом поведаю. А если меня отсюда не выгонят, то отремонтирую комнату по соседству, чтобы тебе можно было чувствовать себя здесь как дома и даже ночевать, когда захочешь, если в моей комнате нам тесновато...

17

Мне к Москве трудно привыкать. Отвыкнуть легче. В своей комнате на Крупской я не чувствую себя как дома. Это скверно, когда приедешь откуда-нибудь, а домашне себя не почувствуешь, иногда даже в гостинице бывает лучше.

Хотя здание, в котором я прописан, само по себе хоро-

шее — кирпичное, восьмизэтажное, квартиры с высокими потолками и вообще — дом первой категории да еще образцового порядка, и жильцы как жильцы, но домашности нет. Возможно, виновата некая Валюха, которая в этой квартире недолго проживала: некрасивая баба, лимитчица, карьеристка и авантюристка с весьма подленькими замашками; пока она здесь обитала, весь район лихорадило: такие ни перед чем не останоятся, ради собственной выгоды и человека убить способны; она невесть откуда в Москве взялась, сумела женить на себе старого человека, но после его смерти имущества его и жилья не унаследовала, несмотря на то, что затаскала по судам родных детей того несчастного; на перечень всех ее расторопностей много потребуется бумаги — танк, а не баба. Было время, и мою спину эта «дама» нежно поглаживала, так что я сюда боялся нос показывать. А может, зря? С такой женой можно стать премьер-министром... Но здесь ее давно уже нет, в другом месте интригует, а в квартире словно все еще слышны ее истерические вопли в адрес пойманного ею где-то молодого бородатого супруга азиатского происхождения.

А вообще-то было мне уютно хоть когда-нибудь за все время проживания в Москве? Было, но мало. Я не могу распевать столице дифирамбы, как один средних лет эстонский литератор, который учился здесь на Высших литературных курсах: у него и сам город, и все здесь встреченные люди, особенно же те, от кого он зависел, ужасно милые.

У меня так не получается, ибо я сам мало кому мил. Что же касается литературных курсов, то и мне когда-то предложили (тоже очень милые люди) их окончить. А я сваял исключительного идиота, отказавшись. Чем больше у тебя бумаг об окончании чего-нибудь, тем больше разных всяких хороших возможностей, невзирая на то, как ты с этими возможностями на деле справишься.

А почему я отказался? От лени, разумеется. Но еще от чересчур развитого самомнения: я, видите ли, считал, что если мне дано богом заниматься литературой, то литературные курсы мне уже не нужны. Разумно совсем наоборот: кому не дано, тому литературные курсы действительно не помогут. Если же способности есть, то курсы наверняка бы помогли.

И теперь я действительно литератор с одной лишь божьей помощью, так что если он поможет — хорошо, не

поможет — нет бумаги, что окончил. Я уподобился тому дураку, который, о чем бы ни говорили, твердит, чтобы казаться умным: да, я знаю. В результате останется дураком, потому что тому, кто все знает, никто ничего не объяснит.

Но Москва в том, что мне здесь неуютно, не виновата. В любом другом городе было бы то же самое. Это как с вождением автомобиля: кто пьет, обязательно попадет в аварию. Я сам знал одного опытного водителя, который лихо ездил и выпить любил; он поспорил на бутылку коньяка с начинающим шофером: если в течение шести месяцев попадет хоть в небольшую аварию, — с него бутылка коньяка, и наоборот. Он проиграл, но коньяк не отдал, потому что убился...

С чувством домашности то же: можно ощущать себя домашне даже в тюрьме; если ты внутренне уравновешен, то сумеешь создать вокруг себя нужный тебе микроклимат, и аварий не будет. Но еще никому не удавалось почувствовать себя домашне, когда от твоего микроклимата у окружающих зубы ноют...

Все дело в характере. И еще в пословице: «дают — бери, бьют — беги». Надо же смотреть — что дают и как, а когда бьют, надо разобраться, бежать или нет. Мне давали многое: и любовь, и вино. Я хватал все подряд, без разбору. Но я всегда привлекал личности с рискованными склонностями и репутациями — вероятно, потому, что они меня интересовали. Алкоголизм отвратителен, тем не менее мне нравилось общаться с любителями выпить. Не с молодыми самонадеянными умниками из обеспеченных семей — с бедолагами типа Сидорова, неиссякаемого для карикатуристов. Они мне нравятся своей непосредственностью, из-за которой их можно было бы даже назвать отдельной народностью, если допустить существование такой народности — выпивохи. Они не из обслуживающих, не из спекулянтов, не из благополучных и даже не из жуликов, они просто пьющие по доступности, которую отыскивают без усталости, — люди экс.

В результате везде вокруг моей особы скопилось много женщин и приятелей. И общественное мнение соответствующее сложилось, не зря же сидят тетки у подъездов, от них должна какая-то польза быть. Они все видят, во все суют нос, поведение каждого профильтруют, осудят, косточки промоют-прополошут и, если что подозрительно или аморально (особенно если аморально), —

куда надо сообщат и засвидетельствуют... даже если не надо. Валюха тоже была общественницей и тоже создавала мнение, так что домой я, бывало, старался прошмыгнуть в темноте, когда тетки у подъезда уже не сидели, когда на улице Час волка.

А участковый...

Он тебе, конечно, друг и спаситель... в кавычках, а ты у него на заметке без кавычек. На заметке и на поводке, и тащат тебя на комиссию, на обследование, в отделение, в опорный пункт, ты там как свой, они с тобой на «ты»...

Уютно? Да уж, конечно. И так везде, где бы ни жил, будь то в Москве или в Барнауле.

Ну что ж... Теперь, приехав ненадолго, можно себя почувствовать опять москвичом... Возвращаясь куда-нибудь после долгого отсутствия, все видишь по-новому. Хотелось не спеша пройтись-проехать по Москве, по местам, с которыми связывают врезавшиеся глубоко в память события, и попробовать осмыслить как-нибудь посвежему прошедшее время, хотя ни я, ни оно много в жизни не значат; если бы я вдруг растворился, никто бы не заметил, иной кто-нибудь вспомнил бы случайно — и только; жизнь, ее динамичность не дает очень долго сохранять что-либо в памяти, к тому же долго помнится лишь свое, не чужое.

Было же когда-то в Москве — вагон в метро (или два) взорвали, кто-то взрывчатку оставил, и люди погибли, об этом вся страна говорила. Сегодня уже не говорят, и мало кто знает — было или просто слух. А среди погибших были наверняка личности намного значительнее, чем я. Гибель людей, конечно, ужасна... но трогает только близких, самых близких. Так что, если я растворюсь, это все равно, что бросить в Москву-реку валяющийся на мостовой камешек. Мое прошедшее время значительно только для меня и тех, кого оно тоже как-нибудь задело, кто со мной в том времени соприкасался.

О взрыве в газетах не писали, по радио и телевизору не объясняли, но понять можно: кто-то хотел, видимо, нарушить мирное течение ежедневной жизни в нашей стране, вызвать переполох, панику, а то как же так — везде в мире гранаты бросают куда попало, стреляют (когда почему-нибудь, когда просто так, чтоб скучно не было) грабят, убивают, а тут, у нас, не взрывают, не поджигают — непорядок!

Решили как-то и у нас организовать это дело. Но попробовали и бросили. Видно, дороговато обошлось. Да и какой смысл, когда паники никакой. Здесь ведь не позвонишь по телефону и не скажешь, что, мол, это мы — «красные шапочки» — несем ответственность за поджог гостиницы «Россия», как это везде делают подонки. Изловить могут. И шлепнут тебя за милую душу, и тоже никто не заметит, даже в газете не напишут или же сообщат коротко: приговор приведен в исполнение. Конечно, многие мечтают, чтобы о них написали, но чтобы такой текст...

Итак, опять Москва. С чего же начинать? Ну, прежде всего надо приехать домой. Это просто: нырнешь в метро и на станции «Университет» вынырнешь, две остановки троллейбусом, немного пешком, и вот он — дом. Лифтом на восьмой этаж, откроешь двери — и ты в комнате с балконом на юг. Мебель — дрова: шкаф, который когда-то был трехстворчатым, теперь без дверей, одни полки торчат, четыре обшарпанных стула, половина старого серванта, два простых деревянных стола, раскладушка — вся обстановка. На стене висит довольно приличное зеркало, а занавеси на окне когда-то стоили тридцать рублей за метр. Вся эта шикарная прежде мебель принадлежала Зайчишке, которая проживала здесь лет семнадцать со своей матерью и сыном. Но не буду об этом распространяться — история долгая и обыденная. Единственно, надо отметить, что все предметы их обладателям стоили очень дорого и доставались с трудом: сколько пришлось выстоять в очередях и отмечаться — за холодильником, шкафом, столом — за всем отдельно. А цена для бедных людей по тем временам была значительна, ведь только-только война закончилась, а отец с войны не вернулся, муж предал. Так что иронизировать относительно шикарной мебели не стоит. Она служила людям до последнего скрипа и еще продолжает служить.

Мух полно, дохлых и летающих. Странно, но форточка почему-то приоткрыта, совсем чуть-чуть, но мухе много и не надо. И пауки понастроили капканов по всей комнате, даже не понять, кого здесь больше; мух или их едоков. Пыль, разумеется, везде.

Комната прекрасная, светлая, зимой теплая. Но жить мне здесь не хочется не потому только, что присутствие Валюхи мерещится, — грустно отчего-то. К тому же в квартире есть сосед — нетипичный алкаш Александр (все зо-

вут его просто Сашей). Когда Валюха проживала в квартире, она в течение двух лет регулярно определяла его с помощью участкового на пятнадцать суток. Он был тогда худой и вежливый. Теперь Валюхи нет — он ожирел, завел себе спутницу-алкоголичку и перестал быть вежливым.

Да нет, какая уж тут домашность!

С комнатой все в порядке. Соседей не видно, не слышно. Встретилась председательница подъездного комитета, сказала: «У нас теперь покой — ангелы летают». Ангелов я не видел. Но мне дальше, на Ленинградский вокзал за билетом на поезд № 176.

18

Билет достался без особых сложностей... на удивление; в Москве летом это всегда проблема. Лишь во время московской Олимпиады, тогда — да, становись в любую кассу, никакого народа. Обычно же, пока стоишь в очереди, можешь прочитать собрание сочинений Дюма-отца.

Когда-то я пользовался услугами Ивана Сидоровича. Это такой плюгавенький человек с белесыми зализанными волосенками и пороссячьими глазками. Назначает тебе встречу, как в шпионском романе, где-нибудь в залах ожидания, незаметно к тебе подсядет и тихим голосом докладывает, что в конверте в его руках твой билет (цену называет государственную), и все. Ты ему стоимость заплатишь плюс еще пять рублей. Но что значат какие-то пять рублей, когда человек может отправить тебя куда угодно, хоть в Сочи летом!

Ну вот, билет в кармане, и теперь можно не спеша отдаться воспоминаниям о том времени, когда я только-только стал московским жителем, а нынешний день находился лет на пятнадцать впереди.

В Марьиной Роще тогда начинали ломать старые дома, уже появились некоторые новые, многоэтажные, но еще жили люди, помнившие былые времена, воровские сообщества, пресловутый воровской «закон» и многое другое, сегодня странное и даже страшное. Поджигались жильцами деревянные домишки-клоповники (чтоб из них поскорее выбраться). А я здесь на улице Стрелецкой имел однокомнатную квартиру...

Но и в Марьину Рощу, хотя я там прожил больше

десяти лет, душа не тянет. Именно здесь-то все и было, то есть женщины, приятели, водка, и результат — бардачок. С приходом Зайца это постепенно прекратилось. Но приятных воспоминаний мало.

Ничего хорошего об участковом инспекторе сказать не могу — сам не дурак выпить, но в целом... дурак, завистливый неудачник. Из деревни, пошел в милицию, но учиться неспособен, а в таком случае какая карьера! С ним одновременно сержант один служить начал, так тот поступил в Высшую школу милиции, теперь уже майор. И тот честнее.

Так что похвалить участкового не могу, но и что он меня заставлял яйца воровать, тоже не скажу. Вообще, если человек не дает повода для претензий со стороны участковых, ничего они ему не сделают, какие бы ни были. А они, конечно, разные встречаются.

С тем милиционером у меня были натянутые отношения. Мы однажды в компании справляли его день рождения, он пошел ночью за водкой и прихватил для чего-то револьвер. Я «пушку» у него отобрал — пьян ведь человек, а вещь все-таки казенная, еще потеряет. Он здорово рассердился, обещал со временем показать, где раки зимуют.

Он понимал, что рано или поздно тот, кто употребляет спиртные напитки, обязательно повод даст. Закон этот никто не изобретал или он открыт теми, кто и водку изобрел. Он существует в самой природе и властвует над совершенно, казалось бы, независимыми друг от друга событиями, объединяя их через алкоголь. Именно в тот период мне жилось лучше, чем когда-либо. Меня издавали и любили. Я даже начал забывать, что достиг такого превосходного положения благодаря вранью, и легко освоился с тем, что иное вранье может быть названо писательством, а в таком виде оно уже имеет право на легальное существование. Надо правдиво врать, и тебя полюбят. Я некоторое время был результатом доволен, поэтому сам себя простил.

Но очень трудно было вычеркнуть из памяти, как мне досталось, когда я поверил, что в жизни все так и есть, как отражено в искусстве, — а моя правда мне не помогла нигде.

Я не забыл «хождения по мукам» — по различным инстанциям во многих городах и республиках, где чувствовал собственную ненужность, словно изгой; не забыл и

того, что именно поэтому на писательство согласился, но повторяю, результат меня устраивал вполне, и я успокоился: ежели правда моя нехороша, то ведь то, что мне стало хорошо,— правда. И чем одна правда хуже другой?

Да, конечно, все узнали, что я — нехороший человек. Но узнали бы все равно. Теперь же вслух говорили иначе: я был плохой, но уже стал лучше, а когда пить брошу, то буду совсем молодец. У меня особенных возражений не было, но, на свою беду, начал замечать разные несовпадения жизни с искусством, и чем больше замечал, тем печальнее становилось на душе, так что и сам себя уже не очень оправдывал. Мне не нравилось, что люди, говоря что-то, сами в это не верят, живут фактически по тем принципам, которые публично поносят и порицают.

Наблюдений таких с годами накопилось много. Они встречались в быту; о них можно было читать во всех газетах. Я даже одно время вырезал заметки, разоблачающие воровство, неорганизованность, головоупяцтво, прохиндейство, и пытался суммировать ущерб, но вскоре бросил: негде стало держать столько бумаги и не хватило знания математики (я ее с детства не любил) — цифры стали астрономическими.

Больше всего меня восхищало, что люди, причинившие миллионные убытки, почти всегда отделялись легким испугом — выговором, строгим выговором или... переводом на более высокую должность. Стало неприятно смотреть в лица на телевизионном экране, с которого подобострастно и без усталости повторяли слова какого-нибудь руководителя.

С уходом из жизни данного деятеля ушли в безвозвратное прошлое и его высказывания, на полках магазинов или скорее всего в подвалах, забытые, лежат в пыли его тезисы, которые раньше заставляли учить чуть ли не наизусть. А с телевизионного экрана уже повторяли высказывания нового начальника, которые ждала та же участь.

Да, я воспользовался литературой, но и здесь мне не повезло: на свою беду, оказался как-то раз в доме одного признанного эстонского классика, живого, когда он сам отсутствовал. Я нашел на его полке книжечку умершего эстонского писателя; она была издана тиражом всего в сто экземпляров очень давно, не при Советской власти. Прочитал ее и удивился, что небольшая глава мне

знакома, хотя раньше эта книга мне не попадалась, да ее и нет ни у кого, только и остался экземпляр в спецфонде, другой в библиотеке Академии наук, третий у классика... ну, может, у кого-нибудь еще есть.

Не составило труда установить, что живой классик, мягко говоря, «слямзил» у покойного главку, немного ее раздул, изменил имена действующих лиц и поместил в свой эпический исторический роман. Отсюда я заключил, что можно быть известным писателем, но скверным человеком. Когда я на свое подозрение намекнул, он, забыв о солидности и возрасте, здорово на меня накричал, отрицая, естественно, сей неопровержимый факт.

Этот живой классик создал крупные полотна, и украденная главка, конечно, искушение, соблазн — наверняка он мог бы без нее обойтись, но кусок в его романе хорошо смотрелся. И по сути, кража его как писателя не уменьшает, но как человека...

Ему ведь нет нужды воровать по мелочам, если он большой: у него дом, вилла, несколько квартир, машина, несколько жен — достаток, одним словом. Но он знал, что ему ничего не будет, он ничем не рисковал, ибо он — большой, вот ведь...

Да, этот последний факт меня сильно задел. Мне не забывали многие честные люди напоминать, что я все-таки был нехороший человек, потому что совершил когда-то, миллион лет назад, уголовное деяние и был водворен в учреждение, где плохих людей перевоспитывают. А я, по своей неразумности, неблагодарно и неоднократно из этого учреждения уходил, что не одобрялось законодательно, в результате чего имел много бед. Но дело в другом: меня посадили за мелочь, но посадили же. Крупного же писателя, но мелкого жулика даже не порицали...

С тех пор я скверно стал себя чувствовать со своим литературным экспериментом, перестал соглашаться. А всевозможные ссылки кого бы то ни было на мое уголовное прошлое стали обидны, порою хотелось взять да кого-нибудь, мягко говоря, «замочить», чтобы вранье мое перестало быть враньем. Тем более, что совесть бы меня даже не мучила, настолько я уже возненавидел тех, кому показывал, что вот, воруют крупно и мелко, вижу равнодушные, людей дурачат, а взамен требуют энтузиазма и самопожертвования, и требуют те, кто сам копейки не жертвует. Но говорил я глухим. Мне отвечали: нети-

пично (значит, будем ждать, когда будет типично?), это единичные явления, и я сделал вывод: если возьмешь чужое единично, чтобы было нетипично, то это и не воровство вовсе.

Один «специалист» по экономике мне доходчиво разъяснил: мы берем свое, потому что цены растут, а у нас дети тоже растут, а чем больше растут дети — тем больше приходится брать. Но государство не в убытке, ибо оно потому и наращивает цены, что мы берем... Нет, Тийю, шлепнуть кого-нибудь хотелось сильно, ей-богу.

А когда поймаются, все прохиндеи одинаковы — кричат, как крысы, угодившие в крысоловку. Представь себе, Тийю, живой классик даже публично отрекся от меня: он-де не знает, откуда я родом, и что его дети на моей спине катались верхом — тоже забыл. Но ему известно, что я необразован, что — да, действительно, я его обвинял в том, что он якобы что-то у кого-то списал... Даже назвал писателя, у которого «слямзил», но книгу — нет, вместо нее указал другую (разумно! — ведь вдруг у кого-нибудь да окажется еще экземплярчик). Так что ведут они себя, как крысы, но если крысоловки карают всех без разбора, то в человеческом обществе большим удаётся вывернуться, маленьких же направят на перевоспитание в район Магадана.

Меня лично перевоспитывали в Красноярском крае и на Урале. А пока это длилось, я в процессе созревания догадался, что, увы, меня не реабилитируют. Тех, кто затеял войну и ее проиграл, в эндшпиле повесили. Меня же, жертву их большой игры, еще в дебюте посадили, потому что, потеряв своих близких, даже не зная их места пребывания (в моем доме, когда я вернулся, жили люди, которые не знали эстонского языка и не сумели мне ничего объяснить), я стал бродягой и украл.

А как было не украсть? Но не реабилитируют. Мало того, деклассируют. Об этом не ставится теперь отметки в паспорте и на лбу не выжигают клеймо. Если долго-долго проживешь без сучка и задоринки, будет считаться даже, что тебя вообще не перевоспитывали, не было ничего, ты такое же безвинное дитя, каким родился. Теоретически так, но практически то, что было, где надо — отмечено и есть навсегда, на всю жизнь!

Однажды в учреждении, где я переночевал, утром, когда платил пятнадцать рублей, администратор — крепкого

телосложения, в звании младшего лейтенанта — спросил:

— Сидел?

— Нет.

— Но ты же написал в «Записках», что...

— Это было двадцать лет назад, а по закону значит что не было.

Он смотрел с презрением: надо же, какой зверюга — сидел, а печатается!

По мнению таких администраторов, если уж сел — должен сидеть до конца жизни. Так что теория одно, на практике — все не так.

Тем более, если ты был всего-навсего мелкий бродяжка. То, что ты украл, само по себе чепуха, если разобраться; не ты первый, не ты последний, крадут и сегодня везде понемногу, кто как сможет. Но вот то, что тебя судили, — плохо. Это надолго. Был бы я еще фигура значительная: гангстер, делец — то вернулся бы в жизнь как раскаявшийся, глядишь, простили бы, и приняли, и помогли, даже заужавали бы — больших обычно уважают.

А бродяга... Мелкий жулик?.. Помогут, конечно, если... сможешь добиться. Здесь с одной обаятельной улыбкой далеко не уйдешь, и гены родителей действуют еще несогласованно: зачем надо было замечать, что кто-то прохиндей, кто-то ворует; зачем возражать, когда ответственные люди говорят, что этого нет; им виднее, они ответственные. Зачем надо было говорить классику, что ты его поймал? Такое не прощается. А он, этот живой еще классик, не одинок (я слышал, и друзья его погорели в похожих «творческих» делах), и тебе несдобровать, если им представится возможность отомстить. Такие люди дружны. Их сплачивает не любовь друг к другу, а общность интересов. У них есть свой круг, а у тебя его нет. Один же ты супротив круга не попрешь.

19

Поэтому я и решил биографию свою немного подправить. Летучая мышь, говорят, ориентируется в темноте с помощью испускаемого ею ультразвука; собака полагается на свой нос, а я — на интуицию. Дневники («Записки») у меня уже были, но в них то, что было в моей жизни на самом деле. Мне показалось, что этого мало,—

нет крупных дел. Но где их взять? От мамы мне передалась потребность говорить только правду. Но папа здесь выход находил непременно. Нашел и я: чего не было, добавил. Чем больше добавлял, тем больше сам себе нравился.

Вася-мореман увидел мужчину, который его восхитил и этим перевернул всю его жизнь; тот мужчина стал для Васи маяком. Я же захотел стать похожим на того персонажа, которого сам выводил на страницах своего дневника. Он мне тоже понравился, хотя и стал как будто страшнее, опаснее.

Причем я здесь вдруг открыл для себя новые возможности.

Да что скрывать, я действительно уже познал тогда любовь женскую, хотя это была не любовь.

Так что, в сущности, по-настоящему меня никто и не любил, а сердце мое было готово давно, и я в этом чувстве сильно нуждался. Но когда тебя перевоспитывают...

В таких местах отдаленных...

Кого же тут полюбишь! Тем более, когда перевоспитывают ужасно долго. И вот теперь, начиная на страницах дневника смотреться по-новому, окинув жизнь с птичьего полета, я вдруг понял, что оно уже близко, это чувство любви, я в состоянии его создать, и никакая судьба не помеха, раз я сам эту судьбу произведу.

И она мне встретилась, нежная, умная и добрая женщина — Сирье. Я ее создал, я в нее влюбился, она любила меня, и потом я ее убил. О да, Тийю, мне было жалко тебя убивать, но надо было, чтобы получилось как можно более правдоподобно. Ведь правда жизни в том, что никогда не бывает все хорошо, жизнь так или иначе всегда драматична. Писатели, я заметил, обожают убивать полюбившегося героя, чтобы самим над ним рыдать. Может, они и рыдают, а может, дурака валяют — кто знает. А еще лучше, конечно, кокнуть героиню. Это почему-то более трагично. Крови — море, слез — оксан! Так что я решил: убью ее, Сирье.

А убить Сирье было не просто. Не хотелось, чтобы она, скажем, попала под машину. Это глупая и нелепая смерть, и она не драматична. К тому же не соответствует обстановке: кругом бандиты, погони, стрельба, а человек погибает под колесами...

Ее должны были именно убить, зарезать, но кто? Я

сам? Собственными руками? Ни за что! Следовательно, надо было ввести в дневник и жестоких людей, которым не жалко нежную и безвинную женщину. Я нашел такого в лице одного тюремного надзирателя, он был красив, но циничен. Теперь, коль скоро такие сволочи нашлись и страшное дело совершили, они не должны были остаться безнаказанными. Я чуть не убил того надзирателя (дело было в тюрьме, где я находился за мой последний побег; я работал уборщиком и ударил несчастного палкой от метлы).

История эта в дневниках осталась незаконченной из-за того, что меня освободили. Потом, так уж случилось, тетради попали на глаза литературным людям и вскоре затем в печать... как документальная повесть. Последнее обстоятельство заставило меня задуматься, ведь я-то знал, какой процент в них действительно документальный.

Правда, позже я пришел к выводу, что если бы печатались мои дневники без всяких добавлений, они были бы не менее содержательны, а также, возможно, не менее драматичны. Но они в те дни из моих рук выпорхнули, и я никак не мог решиться отобрать их назад. Попробовал было, но их не отдавали. Тогда плюнул — пусть идет как идет, если уж у меня такая судьба, что вследствие мировой политики из меня сделали жулика, так пусть буду заодно и убийцей, по крайней мере, это весомо, я уже не просто бездомный скиталец, я — гангстер! Некоторые московские философы меня именно так и представляли своим знакомым: «Рекомендую, это вор и убийца»... Мне стали звонить, чтобы проконсультроваться, можно ли отравить соседку, если послать ей банку с грибами и среди них бледную поганку; другие узнавали, как можно сбить собаку со следа. Я стал нужным человеком, почти как люди в телевизоре.

Что ж, не скажу, будто в таком амплуа очень приятно жить, когда другие, о которых тебе отлично известно, что они проходимцы, выступают с высоких трибун, представляясь честными и добрыми нашими советскими людьми. Вскоре я начал предпринимать робкие попытки потихоньку-полегоньку себя реабилитировать: написал еще две книжечки, в которых смешивал, как уже привык, действительность с вымыслом, по-другому рассказывал о событиях, имевших... место на страницах дневников.

Но я потерпел неудачу, не был понят, и многие хоро-

шо относившиеся ко мне люди стали разочарованно объяснять, что это не дело: если Сирье убили, зачем же говорить, что ее не было и, следовательно, ее не убивали. Ты что же, тоже никого не убивал, раз не было нужды за нее мстить?

Мне стали внушать, что я создал общественное мнение и теперь его изменить невозможно — обман получается. Потом, отсюда можно сделать далеко идущие выводы: ты же не хочешь сказать, что сидел за мелочь, так долго за мелочи не сидят. Сейчас ведь тоже воруют, но не сажают: выговор, с работы снимут — и все. Что там, дорогу железную украли, и ничего. Не саму дорогу: ее проложили и забросили, крапивой заросла. Но пока прокладывали, скольких людей это кормило, сколько денег ухлопали на стройматериалы, зарплату, премиальные! Никого не посадили, а тебя... за окорок и штаны? Клевета.

Так и убедили. Решил я остаться вором и убийцей. Правда, отдельные попытки с моей стороны и позже еще были, но успеха не имели. Ишь чего захотел — нормальным человеком стать!

Даже одна очень пожилая, но очень-очень умная и опытная писательница всему поверила, написала про меня хорошую статью в газете, чем и создала мне немало недоброжелателей, но открыла возможность другим журналистам, братьям и сестрам рангом поменьше, тоже перерассказать про меня.

Я, конечно, когда пишу, стараюсь быть достоверным, потому и путаю правду с враньем, иногда так запутаю, что и сам не в состоянии разобраться, где что. Хотя нарушения достоверности попадают даже у больших и очень больших литераторов, мне удалось засечь таких зубров, как Семенов, или, скажем, Джек Лондон, или Булгаков. У Юлиана Семенова, например, разведчик с огромным опытом оставляет отпечатки пальцев на телефонном аппарате, когда звонит секретно... из гестапо в ставку Гитлера — Борману. Есть чему удивляться, такого промаха не допустил бы даже мало-мальски натасканный квартирный вор. Да, но Ю. Семенов откуда может знать, он же не вор и не разведчик.

Такие осечки порою очень даже забавны. Помню телефильм «Аллегро с огнем», где двое идут разряжать магнитную мину, раздеваются до трусов, снимают часы, все металлическое, чтобы не сработало магнитное устрой-

ство мины, даже ботинки, ибо в них гвозди, и шагают в одних трусах к зловещей мине, неся в руках мешок... с железными инструментами.

А как пришлось краснеть мне самому, когда один дошлый читатель обнаружил у меня в дневниках лотерейные билеты в те годы, когда их еще не было; я в следующем издании исправил, но забыл про мотоцикл, который этот билет, став теперь облигацией, выиграть явно не мог... Кошмар!

Но в общем-то в дневниках все получилось так достоверно, что мне оставалось продолжать жизнь вором и убийцей. Это называется: стал жертвой собственного вранья и еще жертвой достоверности.

20

Да, воспоминания о Марьиной Роше не были самыми распрекрасными, несмотря даже на женщин, которые всячески пытались облегчить мое существование в этом сумбурном мире. Но воспоминания нельзя перечеркнуть, тем более, когда они касаются десяти лет. Громадный кусок в кратковременном человеческом существовании. А для меня он значителен еще и потому, что здесь все-таки, кроме участкового, было и много действительно для меня важного, такого, чего я, может быть, даже по сей день до конца осмыслить еще не сумел, хотя...

Нет — сумею, несмотря на лень, отсутствие образования и самомнение; я сознаю, что вообще-то я не дурак, что понимаю даже больше, чем умная собака, которая только говорить не умеет...

Конечно же, десять лет в Роше не забываются. Поэтому и отправился я в первую очередь туда. Доехал в метро до станции «Новослободская», здесь сел на трамвай номер 9, и вот я на Стрелецкой, а вот и дом мой, который уже давно не мой. Когда-то он значился под номером сорок четыре, потом под номером четырнадцать. За ним... родильный дом номер 9. Чуть дальше — парикмахерская. Здесь я полагал теперь подстричься, как будто никуда не уезжал. Но она оказалась закрытой на обед. Пошел дальше, чтобы хоть плюнуть на ступеньки магазина «Утюг», но и в этом не повезло — «Утюг» исчез с лица земли.

Вот это да! Мне его не жалко, но плюнуть в него сильно хотелось, а был бы я собакой, так еще и

лапу поднял бы у крыльца... Но нет магазина, снесли. Вместо него здание строят панельное, многоэтажное. В доме, который «Утюгом» называли (еще и по-другому, «Бухенвальдом», за что так — мне не известно), я был лишь однажды, но с магазином продуктовым, который на первом этаже располагался, меня связывают весьма неприятные воспоминания. Именно отсюда я и украл яйца куриные.

Но прежде надобно рассказать, как я относился к Иде, директрисе магазина. Эта толстенная бабища была мне противна, не потому, что очень жирная, а потому, что была вульгарна и воровата. Здесь нелишне подчеркнуть, что, хотя я и украл в жизни кое-что сам, тем не менее жуликов не люблю. Особенно таких, которые от жадности воруют, без нужды. Ида такая и была: жадная, циничная и наглая.

В ее магазине я наблюдал картины, которые меня потрясли. «Там», откуда я пришел в большую жизнь, мне и другим, на меня похожим, объясняли, что мы потому «там» находимся, что в большой жизни идет борьба за лучшие идеалы и воспитывается совершенно новый человек, от которого мы настолько сильно отличаемся, что на близкое расстояние не должны к нему подходить, только где-то на расстоянии около ста километров можем жить и далее. И я в это даже поверил. Поэтому-то увиденное в магазине у Иды меня шокировало. Например, давали там однажды ветчину...

Очень аппетитная она была с виду, и очередь быстро возрастала, люди нервничали: ветчину из подсобки выносили небольшими порциями, хватало лишь нескольким покупателям. Тут, конечно, еще объявились личности, которым везде все «положено» без очереди... У прилавка уже организовался заслон из женщин. На прилавке лежит «Особая» колбаса, но на нее не обращают внимания, все дрожат от возбуждения, адресованного ветчине. Появляется Ида в белом халате — румяная, с ярко накрашенными губами, едва шевелит короткими пальцами, унизианными золотыми кольцами, перстнями, и извещает, что ветчина кончается, так что, «товарищи покупатели, не следует волноваться понапрасну», и, обращаясь к «своим» за прилавком, презрительно заявляет: «Чтоб я еще раз взяла эту проклятую ветчину! Столько суматохи!» Скривив губы, этот студень на толстых ногах удаляется.

Но вместо того, чтобы перестать волноваться, в очереди начинается нечто неприличное, пошли выражения в адрес Иды, затем...

На «вы» никто ни к кому не обращается.

— Пустите! Мне вне очереди! — слышится взволнованный голос. — Я инвалид войны.

— Мне тоже положено без очереди: я участник революции, — заявляет старческий голос.

— У меня дети...

— У всех дети...

— У меня мама больная...

— Я сам едва на ногах стою, ночью работал.

— Я участник...

— Он участник, — ворчит седая женщина. — Если бы я тебе тогда не делала патроны, чем бы ты воевал? Так что не ори!

— Bravo! Бис!

Перекричать гвалт не представляется возможным.

В открытую дверь подсобного помещения видны четыре белоснежные мадонны, они равнодушны ко всему, они руководят. Ого! Появляется еще одна Белоснежка... Эта идет, расталкивая покупателей, через входную дверь. Красавица! Тащит на плече большущий сверток, упакованный в целлофан; прет через магазин. Обернувшись к кассирше, кричит:

— Народу там... обалдеть! — Эта Белоснежка сама куда-то в магазин ходила. — Четыре рулона по рубль шестьдесят, слышь?! Осталось мало.

— Что это? — интересуются в очереди.

— Импортная туалетная бумага, — отвечает Белоснежка, — японская.

— Моющаяся? — ехидно спрашивает мужичонка в телогрейке.

— Фу! — фыркает дамочка в дубленке. — Мы за ветчиной стоим, а вы тут такое, совести нет!

— А что они странные такие, рулоны эти, — интересуются в очереди, — бумаги на них мало, катушки внутри большие, и такие дорогие?

— Так японская же, — объясняет мужик в телогрейке, — они там в Японии малого роста, рис едят, и то помаленьку.

Дама в дубленке не выдерживает, уходит, отказывается от ветчины. Нет, как хотите, а импортная туалетная бумага — это интересно. Ай да японцы! Бумага экст-

ра-класс, фирма «Сони», многоразового употребления, а наши за ней в очереди давятся.

Да, ветчина, конечно, хорошая вещь, размышлял я, когда мы с Зайчишкой (она уже тогда была в моей жизни) отправились домой жарить рыбу, но такой ценой мы ее приобретать не станем, не говоря о японской туалетной бумаге.

Любопытная пришла мысль: если всем этим нервным и возбужденным людям в очереди показать их отражение в огромном зеркале, как бы они отреагировали на свои лица — злобные, искаженные? Ведь они способны друг друга избить из-за ветчины...

Если вооружиться блокнотом, фотоаппаратом и пойти на поиск красивых людей, таких, как те, о ком пишут в газетах, кого показывают по телевизору, то не надо будет, наверное, долго и далеко искать — они повсюду. Но вот вопрос: как они относятся к ветчине, красивые люди, или к тому, чему мы только что были свидетелями?

Кто все эти, которые оскорбляют друг друга на улице, в транспорте, в магазинах, в чьих глазах алчность, жадность — кто они? Они и есть, что ли, те самые новые люди, от которых я должен держаться на расстоянии не менее ста километров?

Их ведь тоже не надо долго искать... Возможно, их мало? Но они как будто более заметны, они хорошее заслоняют, порою становится тоскливо. Кто-то высказал соображение, что с годами их станет меньше, но почему? Еще говорят, что люди послевоенных лет не душились в очередях из-за импортных штанов и ветчины, хотя и беднее жили. Почему же теперь душатся? Может, потому, что война осталась далеко позади? И ее забыли те, кто знал? А кто не знал — и не хочет знать? Но как могли забыть такое?

— Ветчина нам совсем не нужна,— сказала мне тогда Зайчишка,— нам колбаса досталась, и хватит.

— А если бы не было колбасы? — спросил я.

Она ответила, что тогда купили бы какую-нибудь крупу и сварили кашу. Согласен. Но хотелось бы видеть вежливых людей не только в кино, хотя я понимаю, что вежливость у нас — норма нравственная, но не является жизненной необходимостью.

У нас так: можно быть вежливым, можно и не быть. От этого твое благополучие мало зависит. Вежливость

в гораздо большей мере является жизненной необходимостью там, у «них», где законы джунглей, там клиент всегда прав, потому что если ему не угодит кто-то из обслуживающих (например, продавец), то его уволят, и найти работу ему будет сложно, а что это значит — знает каждый и в нашей стране, если он, конечно, смотрит телепередачи «Сегодня в мире» и «Международная панорама».

Я их смотрю с большим удовольствием, хотя мне и не очень импонируют некоторые обозреватели, любящие шибко много подчеркивать свои личные похождения: «Когда я был недавно в Рио...», или «в Нью-Йорке я ехал в «форде», или «У меня там в Бразилии друг, помощник президента, недавно мы пили кофе, и его жена...» Но в целом эти передачи многое рассказывают. Так что тот, кто думает, будто ветчина — смысл жизни, пусть поедет в Рио или в Нью-Йорк. На канализационном люке ночевать не хочешь? А стоять в очередях за бесплатной похлебкой из кухни Армии спасения?

У нас же никого увольнением не запугаешь. И покупателя потерять Ида не боится. Я ее однажды спросил:

— Тебе разве приятно, если я здесь не куплю, а пойду в другой магазин?

— Чево-о? — разинула она свой красный рот.

Я пояснил.

— А-а! Ну и валяй,— она хрипло засмеялась — Там тот же товар, что у меня, а то и его нет...

Действительно, что из того, что я отправлюсь в другой магазин,— в это время оттуда кто-нибудь тоже уйдет и явится к Иде, так что баланс сохранится. А увольнения Ида не боится: уволят отсюда, устроят туда. Она разве любит покупателя? Или покупатель — ее? Нет. Образовалась уже давно тихая, полная презрения друг к другу заприлавочная война: вы нас за людей не считаете, мы — вас. Но подсуньте Иде микрофон и спросите, что для нее в жизни главное? Она ответит, не краснея: приносить пользу людям.

«Еще встречаются отдельные недостатки» — так принято характеризовать сознательное или несознательное вредительство, встречающееся повсюду: делец, махинатор, трус или профан причиняет зло по умыслу или недопониманию (что ведет к одинаковому результату, приносит неисчислимый ущерб стране и, кроме всего, еще и развращает человеческие сердца своим примером или властью.

С Идой, этой «отдельной» прохиндейкой, я был на «ты», между нами существовали чисто бутылочные отношения. Мы ладили до того вечера, когда я увидел ее, лакающую водку с ревизором в своем кабинете. Это, на мой взгляд, неприлично, когда директор магазина пьет водку с ревизором, о чем я им тут же и заявил. Ида в ответ послала меня туда, куда сама из-за своего веса безуспешно давно мечтает попасть. Я же в отместку украл у ревизора из верхнего кармана пиджака ревизорское удостоверение. Вышел большой скандал.

На другой день удостоверение я им вернул, чтобы не раздражать зря участкового, он и так смотрел на меня дурным глазом. Что поделаешь: я почему-то ему не нравился, а вот Идочка в сто тридцать кг ему нравилась. Но взаимоотношения наши из бутылочных переквалифицировались в матовые. И тут, как назло, отыскалась еще одна дама, которая, хотя и обладала выдающимися ногами при классическом бюсте, потребовала с большим опозданием за одноразовое удовольствие лицеизреть ее в натуральном виде такую немислимую цену, что вся моя скромная жизнь была разбита вдребезги и основательно. Одним словом, стечение обстоятельств: Ида плюс Ирма, плюс куриные яйца, в результате — кругом сплошной минус.

Объявилась она по телефону. В гости пригласила. Почти как тогда...

Впрочем, тогда не я к ней ходил, а она ко мне. Потом исчезла. Но, оказывается, насовсем исчезают только те, кто умирает. Позвонила она под предлогом, что ей якобы поручено передать мне подарок от одного моего знакомого, который сам-де не имеет возможности со мной связаться, потому что находится за границей.

Квартира ее находилась далеко от центра, но я все-таки добрался. Открыла она сама, была она не одна. Присутствовал неопределенного возраста лысый гражданин, она его представила как дядю. Право же, я не уловил ни малейшего сходства между ними. Дядя не отличался словоохотливостью. На мое рукопожатие ответил вяло, на мое замечание относительно погоды буркнул что-то, скорее всего он к погоде претензий не имел. Но меня уже дождался отлично сервированный стол. Здесь было много вкусных вещей, присутствие же бутылки «Солнечного» меня потрясло...

Откуда и с какой стати такая роскошь?! Божествен-

ный напиток обрадовал меня еще больше, когда выяснилось, что дядя не пьет из-за язвы желудка. Я признался, что тоже язвенник, но у меня, к счастью, язва двенадцатиперстной кишки, так что «Солнечный» мне можно. Что же до Ирмы, она, скорее всего, лишь притворялась, что пьет. Возникло подозрение, что меня запланировали напоить, но... я, собственно, ничего против не имел.

Конечно, если откровенно, я немного иначе представлял себе встречу с Ирмой, которая меня когда-то завожила своими гостеприимными коленками. Тем не менее и в данных условиях встреча проходила в теплой и дружеской обстановке, хотя дядя меня смущал, но главным образом молчаливостью. Мы ели, мне наливали «Солнечного», говорили о жизни. Причем я даже не заметил, как говорить стал преимущественно я один, а Ирма с дядей лишь слушали. Не хочу сказать, будто я болтун, но за столом хоть кто-нибудь должен же о чем-нибудь говорить.

Ирма в беседе участвовала, но повела ее в направлении критическом: все ужасно плохо, ничего не достать, да и дорого из-под прилавка или у спекулянта покупать; она рассказывала, что якобы из надежного источника узнала, будто где-то в Подмоскowie судили дирекцию колбасного завода, они-де добавляли в колбасу туалетную бумагу и поэтому, дескать, неудивительно, что колбаса стала никуда не годная, а туалетная бумага дефицит.

Женщины вечно недовольны жизнью, во всяком случае такие, как Ирма. Им бы жить где-нибудь в гареме восточного султана. Но зачем я стал бы портить настроение человеку, который — я знаю — в глупости не превзойден и к тому же угощает коньяком «Солнечный»?

Поэтому я поддержал разговор, соглашаясь с ее версией относительно вареной колбасы и туалетной бумаги, и сообщил, что сам убедился в одном магазине — «Утюг» называется — в необходимости покупать из-за таких махинаторов эту самую дефицитную бумагу в Японии. Но дядя явно скучал.

Потом Ирма стала расспрашивать меня о моем детстве, потом о том, что было дальше, после детства, потом о том, что было потом, и я рассказывал, ел, пил и даже гладил потихоньку ножку Ирмы. А дядя, словно ему неинтересно, усердно обгрызал куриную лапку. Мы интере-

совались с ним явно разными ножками. Но он был значительно старше меня, так что я подумал — неизвестно, какими ножками буду интересоваться я сам, когда доживу до его лет.

Потом Ирма опять начала волноваться из-за нехватки в магазинах того-другого, и я ее поддерживал весьма успешно, потому что и меня хлебом не корми — дай только покритиковать недостатки, я их действительно ужасно не люблю, да и кто любит, разве только те, кто сам их создает, чтобы в мутной воде легче было рыбу ловить...

Но вообще-то смысл происходящего был мне совершенно не ясен. Мысль о подарке, который мне должны передать, иногда возникала. Но когда на столе «Солнечный»...

Наконец Ирма протянула мне пачку фотографий:

— Посмотри, как живут наши друзья за границей.

На фотографии были действительно знакомые мне люди, но я бы не сказал, что между нами, когда они еще жили в Москве, существовали какие-нибудь исключительно сердечные отношения. Он был работником центральной газеты, даже заведовал в ней отделом, но ему больше нравился стиль работы западных газетоделателей, он жаждал сенсаций, необычностей, броскости, — так мне казалось; со мной познакомился, когда тоже по следам старенькой, очень умной писательницы взял у меня интервью; потом ходили в гости друг к другу, пили чай, иногда гуляли, разговаривали, тоже все критиковали.

У него были очень широкие взгляды на жизнь. А критиковать всегда найдется что, и у него наверняка создалась убежденность в моей абсолютной солидарности с ним. Хотя на самом деле это было не так. И я даже пытался было иногда робко вносить ясность, доказывая, что если у меня имеется ироническое отношение, то не к советской действительности, а лишь к инородным явлениям в ней, а это, между прочим, совершенно разные вещи. Но он настолько втянулся в свою критическую критичность, что ослеп и никаких моих аргументов признавать не хотел. Ну а потом со всем семейством уехал в Израиль, и с тех пор я о нем больше не слышал ничего. А теперь...

Он в Тель-Авиве, главный редактор солидного журнала. На фотографиях он, жена с дочерью — в Италии

Америке. Надо полагать, журнал не представлял интересы советско-израильского общества дружбы...

Я даже не заметил, как опустошил бутылку, а другой не подавали. Но я обратил внимание на дядю, он кончил терзать курицу и очень даже внимательно ко мне присматривался. Затем Ирма подала мне заклеенный конверт.

— А вот и подарок...— сказала она голосом, каким говорят тети, когда в Новый год раздают детям подарки.— Ему ведь известно, что бы тебе хотелось... Так что купи сам, что захочешь.

Последовали заверения в дружбе, рукопожатия, дядя опять буркнул что-то, и я оказался на улице. В конверте была купюра в сто рублей. Черт с ними, решил я, и мы с Зайчишкой на другой день побежали по магазинам искать ей осенние туфли, в них давно возникла острая необходимость.

21

Я уже забыл о том случае с подарком, когда мне опять позвонила... нет, не Ирма, какая-то дама, и тоже сообщила, что ей поручено передать мне подарок. Но в гости не пригласила, коньяк с закуской, увы, отпадали. Назначила свидание у метро «Маяковская». Дама сразу после встречи со мной собиралась идти в театр. Договорились насчет опознавательных знаков, и, прихватив на всякий случай сумку побольше, я отправился на встречу в превосходном настроении, прикидывая, где бы достать жене приличные зимние сапоги.

Разумеется, я не сомневался — просто так мне подарки делать не будут, их смысл скоро обнаружится. Дамы на месте не оказалось, хотя пришел я точно, ведь мне хотелось установить, с кем она идет в театр. Наконец увидел ее. Она стояла в стороне от входа в метро. Я подошел к ней, отметив, однако, что при ней не было сумки, которая соответствовала бы размерам моей..

Мы отошли дальше от других людей, но я обратил внимание на субъекта в кожаном пальто, который спиною вперед продвинулся вслед за нами, что вынудило меня облегчить ему подслушивание (раз он такой любознательный!), и я заорал как можно громче о том, как я рад, что есть на свете люди, передающие мне подарки, потому что я редко их в жизни получал, в основном люди бы

ли ко мне щедры в раздаче тумачков, а то, что у меня в данную минуту дрожат руки и я громко говорю, это не от радости, а оттого, что недавно здорово «поддал» и у меня сейчас похмелье.

Дама была в возрасте моей матери, одета изысканно и, на мой взгляд, очень даже приятная, интеллигентная, так что стало почему-то грустно... Я принялся ей объяснять, по-прежнему громко, что пью давно, что ужасно от этого страдаю... И черт знает какую еще нес околесицу.

А субъект в кожаном пальто все стоял спиной к нам, как будто мне не известно, что и спиной можно не только слышать, но и видеть. Интересно, думалось мне, с ним она в театр собиралась? Но отчего же он стесняется подойти? Ну ладно, не мое дело. Так где же подарок? Опять конверт?

Дама забросала меня вопросами касательно личной жизни: продолжаю ли литературную деятельность и как у меня получается — печатают ли меня охотно или очень, хорошо ли платят или оставляет желать лучшего, нуждаюсь ли я или как-то свожу концы с концами. Отвечал я примерно в таком же плане: пишу и кое-как получается, но человек я необразованный, к тому же русский язык мне неродной, так что пишу медленно, не расставаясь со словарем Ожегова, печатают тоже... может, и не все так, как мне хочется, но, наверное, так, как хочется, не печатают никого, так что вряд ли явлюсь исключением. Конечно, печатают редко еще, может, и потому, что не умею быть пробивным, я только на бумаге находчив, в жизни же совсем иначе. Свожу ли я концы с концами? Так по-разному бывает...

«Давай подарок, — думаю с нетерпением, — а то в театр опоздаешь»...

Она не спешила. Она еще говорила о том, что человек, который так любезно присылает мне подарки, мог бы оказать материальную помощь более значительную, если бы я ему об этом написал собственноручно. Я слушал ее болтовню, наблюдая кожаную спину, которая по сантиметру в секунду к нам все приближалась. Наконец дама воскликнула:

— Да! Чуть не забыла!..

Она открыла сумочку, достала маленький сверток и вручила мне: «Посмотрите дома». Затем, пожав руки, мы расстались.

Я энергично зашагал прочь. Отдалившись метров на двадцать, повернул обратно и тихонько, скрываясь среди прохожих, возвратился к месту, где ее оставил. На улице было уже темно. И вот я ее увидел, она оживленно разговаривала с тем гражданином в кожаном пальто. В этот момент к ним еще один подошел. Стало ясно, что я все время был под наблюдением каких-то людей, не захотевших почему-то мне показаться.

Конечно же, у первого фонаря я сверток развернул, надеясь обнаружить пачку бумажек светло-коричневого цвета. Но в нем был... ремень. Обыкновенный брючный ремень. Со злостью сунул его в свою большую сумку и отправился домой, ломая голову над вопросом: что бы это значило? Что же это, если не намек: дескать, придется тебе потуже затянуться, потому что ни шиша больше не получишь, раз такой неблагодарный — ничего не пишешь собственной рукой... А пошел он к черту! Не такой я дурак, чтобы послать ему туда хотя бы строчку.

Когда же я дома еще раз с неприязнью стал осматривать ремень, то заметил на внутренней стороне, на всю длину, едва различимый шов, а в нем тонюсенький капроновый замочек-молнию. Потянув, я открыл потайной карман... пустой. Так вот в чем дело! Ремень-то с секретом...

Ну, а что мог означать сей секрет? Вероятно, здесь должно получиться, стал я размышлять примерно так: я что-нибудь пишу на тонкой папиросной бумаге, складываю, всовываю в потайной карман ремня, звоню даме (телефон она оставила), и мне назначают встречу с кем-нибудь в общественном туалете, где я, зайдя в одну из кабинок, снимаю ремень и передаю поверх перегородки или под ней в другую кабинку, откуда мне, в свою очередь, передается такой же ремень, в потайном кармане которого, вероятно, находится вознаграждение, так называемый гонорар...

На другой день я позвонил даме, и она выразила радость по поводу того, что я вспомнил о ней, что я себя хорошо чувствую, что на улице хорошая погода, а... ремешок, ответила она на мое недоумение, он в некотором роде как бы символичен. Так она именно и выразилась, а что он символизирует — не объяснила. Но символ, мягко говоря, попахивал черт знает чем. Так что сто рублей в конверте, догадался я, были мне даны на хлеб,

а ремень послужил сигналом, что могу заработать и на масло...

Вроде ничего особенного не произошло. Что из того, что меня вспомнила хорошая знакомая, оказавшаяся знакомой другого знакомого с широкими взглядами на жизнь, проживающего в Тель-Авиве? Но он теперь почему-то нуждается в том, чтобы я ему написал... о своих взглядах. Что же с ним случилось — ему своих не стало хватать? Однако я же не путешествую по Индии, имея возможность любому издателю в мире посылать мои путевые заметки...

Опять же подарки: если их кто-то мне делает — это его личное дело, равно как и мое — принимать или нет. Единственно, подарки, мне кажется, жидковаты. Я не требую, чтобы мне прислали «фольксваген», но и мелочиться все же неприлично как-то, ежели ты занимаешь солидную должность в крупном деле...

Конечно, у нас в стране некоторые «подарки» стали рассматриваться как взятка, а взятка есть стремление подкупить или, проще говоря, купить... Меня до этого случая еще никогда купить не пытались, так что опыта нет. Но если кто-то считает морально оправданным меня купить, то почему?.. Разве я чем-нибудь давал повод? Да, конечно, жизнь моя несколько отличается от жизни Героя Социалистического Труда, но я стремлюсь тоже хоть немного, но делать все-таки полезное. Ведь эту страну для жительства я выбрал добровольно. И об этом не следовало бы забывать. Я мог бы совершенно закономерно уехать в Швецию и не узнать никогда, что Тийю живет в Эстонии. В Швеции моя семья, самые близкие люди. А я сегодня даже не могу сказать, что увижу когда-нибудь мать... Что смогу побыть хотя бы на ее могиле. Вот ведь таковы для меня результаты игры, когда шахматная доска — материки и моря, а в качестве пешек — люди.

Мы вместе когда-то что-то критиковали... но по-разному. Я чем-то недоволен, но и мною кто-то недоволен. Я кого-то критикую за что-то, но и меня критикуют за то, что я критикую; так и живем — критикуем. Но я же не маленький, умею различать подлость, хитрость, всевозможные гадости, однако о них считаю необходимым высказываться здесь, а не в Тель-Авиве. Оттого, что все хорошее (которое тоже, конечно, констатировать необходимо, — во всяком случае, приятно) должно быть естественным, делать ударение на нем не нахожу необходимости.

Дни стояли сырые, как все последние зимы, падал снег, транспорт больше стоял, чем двигался, на остановках скопище пассажиров, всем надо ехать, но у городских властей, говорят, нет средств, а у жителей энтузиазма для очистки улиц от снега, в результате задерживаются или вовсе не поступают нужные производствам грузы, опаздывают или вовсе не добираются до станков рабочие. А мне с кем бы поделиться мыслями? Конечно, у нас масса эрудитов со степенями даже, но многие из них, мне кажется, озабочены именно своими степенями, чтобы блеснуть в печати, рассказать что-нибудь умное с экрана телевизора. Они десятилетиями заседают на конференциях, меняются лишь направления словосочетаний, но проблемы остаются и усугубляются, а речи, как бумеранг, возвращаются, обернувшись во вред. Правда, с экрана на нас часто смотрят и действительно толковые люди, честные, искренние, но как я их вне телевизора найду, вот прямо сейчас?

Меня хотели купить на том основании, что я чем-то недоволен. Но всем довольны могут быть лишь казнокрады, которых пока еще не поймали. Я не люблю, в частности, надоевшую до смерти болтовню, создающую у людей привычку слушать не слыша. Хотя эта разговорня часто ведется под знаком идеологической работы, мне она представляется идеологической диверсией, сеющей безразличие, уничтожающей остатки бывшего энтузиазма.

Я недоволен тем, что при всех наших трудностях мы тем не менее твердим: сегодня всего больше, чем было вчера. Представим себе ярославского или челябинского рабочего, которому говорят с экрана, что он здорово живет, у него всего навалом. Он бежит в магазин и, кроме водки и рыбных консервов, ничего не находит...

Революцию люди делали босые и голодные и справились благодаря тому, что знали: вопрос в том, быть или не быть. И сейчас надо не хвастать, а признавать честно, что живем трудно, но жить нетрудно не можем: наша идеология противоположна другой идеологии, борьба идет за конечный результат. Он каждой идеологии по-разному видится, следовательно, все грамотные люди должны понять, что борьба ведется не на жизнь, а на смерть. Неужели какой-нибудь чудака может допустить мысль, что капиталисты мирно расстанутся с тем, что для них является основой жизни? В сосуществование двух систем они, конечно, не верят, они знают, что мир-

ное — на самом деле мирное! — сосуществование для них гибель: от них один за другим откалываются народы и приходится им на прогресс и человечество, в их понимании человечество — это они. И уж если им суждено погибнуть, так пусть весь свет летит в тартарары: «Не будет нас, пусть же не будет никого». Поэтому нас со всех сторон стараются окружить всевозможными базами, блоками, союзами, пактами, актами. А из тех, кто с нами, не все сильны. Многие только вчера приобрели свободу; им не помочь — тогда и нам не выдержать. И вот мы помогаем, и наша победа заключается в сохранении мира.

А теперь я уже размышляю не в глобальном масштабе. Я думаю конкретно о нас — о потомках тех, кто совершил революцию, пусть сам я к ним не отношусь, к сожалению. Если бы я мог похвастать хоть каким-нибудь троюродным дедом, который сам видел живого Ленина!..

Мы недовольны, что прилавки не ломаются от деликатесов, что наша жизнь становится утомительной; мы говорим, что устали от бесконечной толкотни, от неорганизованности, от бесхозяйственности; что раньше люди были не такие злые, не такие жадные, жили беднее, но дружнее. Конечно, есть позади и разные плохие периоды — война, культ личности; одна из причин безразличия: «...Кому это надо?.. Да никому не надо...» Народ, отдававший все силы строительству социализма и получивший за это однажды по шее, становится недоверчивым.

Так вот, культ личности и меня давно стал волновать — культ личности каждого отдельного человека. Разве не в этом заключается ответ на все предыдущие недовольства?

Нижеследующий текст никак не относится к тем людям, благодаря кому мы все же сыты и одеты, но отражает многие наблюдения. Итак...

Работать хотим как можно меньше, получать, естественно, больше. Работой не дорожим: ее у нас на всех хватает. А потому мы и придумали жить так, чтобы нам было удобнее. К доверенным нам государственным объектам относимся как к своей собственности: хочу — обслужу, не хочу — к черту пошлю. Дашь пятерку — повезу, нет — пешком ходи; дашь десятку — место в гостинице получишь, в ресторан без очереди пустят; дашь тысячу — место в лучшей клинике добудешь, дашь две — место на

кладбище можешь заранее купить. Те, кому дают, работают только ради тех, кто дает. А мы, кто дает, откуда берем? Мы берем у тех, кто дает нам, и тоже делаем все хорошо, но только для тех, кто дает нам...

Какой парадокс: там, где правит капитал, люди готовы на любую работу, они рвутся к ней, пусть даже не по специальности; мой брат, например, не знает, где бы пристроить сына-инженера, который покамест красит заборы, и то спасибо. В Москве все могут найти работу по специальности и получают ее, но работать не хотят, хитрят, комбинируют, организывают; в двери квартир врезают глазки, ставят сигнализацию, строят двойные двери... Пролетариат! От кого же спрячется пролетариат? От соседей или собственных детей? От воров?

Победили царизм, победили фашизм, возможно, справимся с алкоголизмом, если будем стараться. И с ворами. Нельзя же все-таки запирается на все замки после семидесяти лет революции... Писать и говорить об этом стесняемся — защищаем «честь мундира». Но эту честь можно защищать лишь до тех пор, пока еще есть мундир... Оптимист по своей природе, я со временем пришел к заключению, что и скептики весьма нужные люди, потому что «оптимисты», как я смотрю, готовы ринуться бегом в коммунизм... будучи без штанов.

Как при таком положении дел можно со всей отдачей бороться за мир и свободу во всем мире?

Разве мне все это нравится? Нет. Но совсем не в том смысле, как хотелось бы людям с более «передовыми и широкими взглядами» на жизнь.

А потом, мне вообще трудно понять людей, представляющих, что на земном шаре сегодня могут быть страны или государства, где бы все было прекрасно для всех... Везде имеются свои, порою неразрешимые проблемы. Искать идеального места под солнцем означает вечно скитаться, так и не найдя его. Недаром говорят: «Хорошо там, где нас нет». Идеальная страна — это сердце. К чему оно привязано, к каким местам на земле, к каким воспоминаниям — там и есть идеальное место. Париж, наверное, великолепен, но как хорош остров Сааремаа — это знаю только я.

И вот я шел домой, а настроение было отвратительное из-за всего вместе взятого: что же это получается — я хожу по Москве в амплуа вора и убийцы, меня поносят даже публично живые классики, которые са-

ми тем временем являются мелкими жуликами, рядом же жирная Ида пьет водку с ревизором в обнимку; и тут еще появляются дамы с предложением обменяться ремнями... Ставят этим фактом точку всему моему моральному содержанию, полагая, по-видимому, что если я совершу какое-нибудь антиобщественное дело, то с моей стороны это вполне закономерно...

Шагая в таком настроении в тот мартовский вечер, я встретил знакомого. Из бывших воров. Клички он имел разные, но больше его знали как Золотую Челюсть — из-за обилия искусственных зубов. В обществе двух мне менее известных гавриков он наблюдал давку у входа в магазин «Ковры». Для меня она не была занимательной, потому что часто здесь проходил, привык. Летом очереди здесь образовывались с вечера: цыгане, узбеки, армяне, грузины — кто здесь только не встречался. Костры жгли на полянке неподалеку от магазина, вино пили — табор.

Золотую Челюсть давно не видел. «Эти» люди не очень-то и стремятся поддерживать отношения с авантюристами, решившими заняться какой-то писаниной. Они к ней всегда относились скептически, хотя Есенина уважают... На мое появление отреагировали вполне безразлично.

— Ну как? — вопрос вежливости. — Что-нибудь пишешь?

— Пишу, — ответил я вяло, дескать, не стоит и говорить.

— Ну ладно, пиши, — разрешил Золотая Челюсть и повернулся к своим компаньонам, но спохватился: мысль пришла. — Да что толку от твоей писанины? Денег у тебя никогда нет. Уж написал бы так, чтобы отхватить... Сколько ты сорвал за свой роман?

Остальные оживились, уставились на меня.

— Три тысячи... минус налоги. В общем... не очень.

У Золотой Челюсти кислая физиономия, словно я его подло обманул.

— Тьфу! И за это ты ломаешь голову?!

Он разочарован. Мне и самому становится неловко, словно я сам себя и всех других обидел тем, что не отхватил больше.

Решаюсь реабилитироваться, признаюсь, что за предыдущие зато отхватил пятьдесят тысяч...

— Да-а? О-о!— Я снова удостоен внимания.— Прямо сразу отвалили?

— Да нет, не сразу, по частям... в течение десяти лет.

— А сколько же это будет в год?— задумывается Челюсть.— Пятьдесят тысяч на десять... Да нет, надо... Ну да... Получается... десять тысяч на два года, значит пять тысяч в год. А сколько же в месяц?

— Около четырехсот будет,— подсказывает кто-то.

— Это еще ничего...

Золотая Челюсть смотрит на меня с некоторым уважением. Моя репутация, и литературного труда тоже, спасена.

— А что главное,— разъясняет один из присутствующих, здоровенной комплекции небритая личность по прозвищу Кувалда,— ему не надо, как дураку, в семь утра вскакивать и толкаться в городском транспорте, на работу добираться, сам себе хозяин: хочет — выпьет, не хочет — не пьет. Вот что главное.

Порядок! Чувствую себя человеком. Мне дозволено, «как умному», спать в то время, когда они, «как дураки», толкаются в городском транспорте (хотя с трудом представляется, чтобы они — да на работу). Одно только не складывается: не получал я пятидесяти тысяч, хотя теоретически такое, конечно, возможно. Если поехать в Переделкино, как настаивал один мой знакомый генерал, и написать сценарий для какого-нибудь фильма этак серий на двадцать-сорок. Но, во-первых, это надо уметь и, во-вторых, сильно хотеть.

Золотая Челюсть еще не до конца поверил в авторитет литературной деятельности:

— Так это ж не гарантия, что опять столько оторвешь... И столько голову ломать!.. Да брось ты это дело. Не лучше ли где-нибудь рвануть так, чтобы на всю жизнь хватило? Потом сиди себе, ханку пей, писаниной же прикормешься, а?

Видать, проблема у него одна — чтоб хватило на всю жизнь. Действительно, когда «оторвешь» столько, чтобы на всю жизнь хватило, какие тогда проблемы? Конечно, надо исписать до дьявола бумаги, полторы-две тысячи страниц, чтоб потянуло на пятьдесят тысяч, а это уже классический по объему труд! Зато можешь жить бесппроблемно, только не ленись: сдал один «классический» труд, замеси тесто для другого. Ведь что такое

пятьдесят тысяч? Ничего, если учесть, что к большим деньгам легче привыкать, намного легче, чем к их отсутствию,— аппетит, всем известно, приходит во время еды.

А кто может сравниться с тобой — Бальзак, Булгаков, Байрон? Вольтер, Мопассан или Стендаль? Да где они? Есть ли в книжных магазинах? Их там нет. А ты будешь. Но раз так, то кто есть истинный классик? Ведь твои произведения продают честно, открыто, этих же всяких Шекспиров, Байронов, Монтескье и других — где их продают? В подъездах, на задворках, в общественных уборных.

Конечно, еще имеются Толстой, Некрасов, Тургенев, Чехов, но они найдутся в любой библиотеке, они для тебя не конкуренты, к тому же издателю классик нужен современный, но не Ремарк, он немец, и его уже нет в живых. Нужен свой, да еще живой. Зачем переводить бумагу на мертвых писателей? У живых тоже дети растут, и надо дать им высшее образование. Да, Золотая Челюсть не дурак, он знает: пятьдесят тысяч — это пятьдесят тысяч, и когда они у тебя есть, тебя везде поймут, сердечно примут, обнимут, потому что ты тоже сердечно принимаешь тех, кто тебя понимает и обнимает. А это же красиво — жить в объятиях друг друга!

Если б я не встретился с Золотой Челюстью, наверное, пришел бы домой и ничего дальнейшего не случилось. Но судьбе было угодно, чтобы именно этот Челюсть стал последним в ряду обстоятельств, приведших меня к тяжкому уголовному преступлению, в сравнении с которым бледнеют проделки живого классика и даже мои собственные из арсенала прошлого, потому что от магазина «Ковры» мы все ушли в тот самый «Бухенвальд», он же «Утюг», и в каком-то мрачнейшем из мрачных помещений, голом и грязном, напились до зеленых чертиков. Когда же я выбрался оттуда, чтобы пойти домой, и проходил мимо второго, обычно закрытого входа в магазин Иды, дверь его была широко открыта, около нее штабелем стояли коробки, как оказалось, с диетическими яйцами, вокруг же — ни одной души. Перед моим пьяным мысленным взором возник образ этой отвратительной особы, и в ее мерзком лице сконцентрировались все мне известные мировые подлости, так что захотелось плюнуть в ее гадкую рожу, и я плюнул... против

ветра, то есть на самого себя; от этого еще больше разозлился.

Здесь меня осенила гениальная идея: если у нее в магазине будет недостача, о которой она не подозревает даже, потому что не сама украла — ох и зачешется же ее толстый зад! А недостача... Ее легко устроить. Эх, Идуся! Ну и будешь ты у меня бегать считать яйца... Взял я коробку с ними и пошел (она потом написала, что я взял три коробки, но даже ее любимый участковый объяснил ей доходчиво, что три коробки одному не унести). Итак, взял я и пошел. Куда? Домой — всего триста метров, но все равно тяжело, да и годы не те и сила не та. Да и на кой черт они мне?! Не знаю, сколько их там было, штук триста, может. Надоело, бросил в кусты, яйца врассыпную. Посмотрел — неэстетично смотрятся. Рассыпавшиеся собирать не стал, но коробку поднял и притащил домой. Куда их? Вывалил в раковину и лег отдыхать.

Вскоре позвонили в дверь. Ну что за люди? Не дадут поспать. Человек устал, а они звонят. Открыл — милиция. Опять! Ну что ты с нею поделаешь!..

— В кухне они, — говорю, — как вы меня нашли?!

Участковый — сама любезность. Как же, наконец-то я у него в руках. Он может мне теперь показать, где они зимуют... раки эти.

— По следам шли. Ты как в сказке, но не бусинками и ягодами, а яйцами дорогу отмечал, в лифте три штуки нашли, у двери одно...

22

Затем было так, как обычно показывают в кино. Я действительно видел в Переделкине однажды документальное кино о том, как ловили сутенера, причем снимали достоверно — начали, когда красавец синеглазый еще бегал на свободе и в него влюблялись женщины. В фильме показали, какая силища, какая техника, какие людские резервы были мобилизованы на его поимку по всему Союзу. И только во второй части фильма случайно открылось (этот момент, когда следователя «осенило» на Центральном рынке, показали крупным планом), что красавец еще и убийца. Но парадоксально: как убийцу его вовсе не искали. Дело было «законсервировано» ввиду отсутствия улики. Хотя на пароходе, где он

задушил буфетчицу, его видели и описали. Но он ушел на берег и — концы в... растерялись на суше. А сутенера искали всеми силами министерства — почему? Потому, что за этим следил объектив кинокамеры. Нельзя же было ударить лицом в грязь. А за поисками убийцы объективно не следил, ну и черт с ним. Так что если бы кинокамера стала участвовать в каждом уголовном деле, глядишь, не осталось бы совсем нераскрытых преступлений.

При моем деле с яйцами оператор не присутствовал, все остальное было... Приехала группа со служебной собакой (!). Сфотографировали яйца в раковине, яичницу в лифте, меня, мое пальто (из Германии привез, светлое), мои ботинки (югославские) — они были в желтке. Потом повезли в отделение и дали камеру до полуночи, потом разбудили и увезли дальше, и опять дали камеру. Здесь сняли отпечатки пальцев. Как давно это было, когда в последний раз «на рояле играл»! Познакомился со следователем, подписал протокол допроса и статью об окончании следствия, и тогда меня оставили в покое. На четвертый день, часов в двенадцать, открыли камеру и велели выйти. Вышел. Повели по коридору, второму, третьему, привели в большой кабинет, через него в другой — поменьше. Четыре стола, сидят здоровые ребята.

Один из них, симпатичный, спрашивает:

- Как?
- Никак.
- В тюрьму?
- Вам виднее...
- Дети есть?
- Не знаю...

Затем он достал связку ключей и, показывая на здоровенный, старой конструкции сейф, говорит:

— Откроешь — домой пойдешь.

Я не поверил своим ушам. В чем дело?

Один из замков в этом сейфе не могли отпереть. Замков всего три, но средний не открывался, делай с ним что хочешь. Вспомнили: у нас «этот» сидит, а ну-с сюда его.

Изображая из себя бывалого медвежатника, беру ключи, узнаю, который от среднего замка, говорю, чтоб отошли подальше, что, дескать, не люблю «работать», когда под руку смотрят (я это вычитал у Шейнина в «Записках следователя»). Все послушно отошли.

До чего же жаль, думаю, что никогда не приходилось

изучать это дело, ведь я ни одного сейфа не открывал. Но в тюрьме мне один специалист рассказывал: замок — все равно, что женщина; к нему надо подходить нежно, ласково, и он тебе поддастся, силою тут ничего не сделаешь.

Вставил ключ, повернул — не поворачивается; правильно, он и не должен был, потому что я поступил грубо: сунул, крутил... Кто же так обращается со стареньким имуществом, ведь сейф-то старый!

Сначала я со страхом подумал: чтобы эту громадину распечатать, мне потребуется по меньшей мере четыре лома, пятнадцатикилограммовая кувалда и на всякий случай полкило динамита. Но сейчас... Осторожно вставил ключ и, не толкая до предела, а продвигая по полмиллиметра, пытаюсь нежно обнаружить нужную грань, где он повернется: один миллиметр, второй, третий, три с половиной, поворачиваю и... он плавно, послушно открывает замок. Отпираю оставшиеся два и распахиваю дверцу.

— Ну! — кричу вне себя от радости. — Отдайте ремень и шнурки от ботинок.

Прибежали человек семь-восемь: открыл?!

— Всего за пять минут, — констатирует кто-то.

— Как ты это делал?

Я не стал держать марку, сказал им, что замки старые и просто расшатались.

— А не отремонтируешь?

Я ответил, что для этого надо два контейнера инструментов. Этот вариант им не подходил. Нет так нет — отдайте шнурки.

«Направо пойдешь — домой придешь, налево пойдешь — смерть найдешь».

Так бывает только в сказке. Здесь обе дороги вели в тюрьму. В ту же ночь меня отвезли в Бутырку.

Ну что тебе, Тийю, сказать про Бутырскую тюрьму? Шаланда, полная карасей всех сортов. Контингент еще до моего прибытия узнал: Серый Волк с яйцами погорел. Здесь мне представилась возможность подумать над вопросом, из каких продуктов человеческий организм может получить сумму белка, равную содержащейся в яйце. В Бутырке я эту задачу не решил. Сегодня уже могу сказать — из различных. Что же касается яичницы и вообще яиц, вкрутую или всмятку, — я на них смотреть не могу.

Весна была в разгаре, начинался чемпионат мира по хоккею, а я в весьма «малонаселенной» камере — шестьдесят человек — играл в жмурки. Пришла неведомая мысль: если человек в семнадцать дурак — это ничего, если в тридцать — есть еще надежда, но если уже пятый десяток и все не поумнел,—значит, это навсегда.

Самочувствие в первые дни моего пребывания в Бутырке было непередаваемо. Что я знал о Бутырке? Ничего. Хотя на воле почти ежедневно проезжал мимо в автобусе, троллейбусе или проходил пешком.

Место историческое. Когда построено — не имею понятия. Давно. Пугачев тут сидел, это мне известно. Есть здесь его башня. Пугачева четвертовали. Меня за яйца, конечно, не четвертуют, но суд... Сам факт суда... Ведь это был бы суд не за кражу яиц, а за образ жизни. Вот что до меня дошло, когда оказался благодаря бутылке в Бутырке. А ведь еще несколько дней назад я о неволе и не задумывался, несмотря на огромный опыт в этом деле. Мои дневники доказывали, что человек в силах изменить свою жизнь, если, естественно, он изменится сам. И как только они были напечатаны, тут же выявилось немалое число противников, утверждающих безапелляционно: сколько волка ни корми — он все в лес смотрит.

Мое пребывание в Бутырской тюрьме являлось предательством в отношении всех, кто за жизнеутверждающий подход в данном вопросе, а следовательно, и за меня, волка, ставшего человеком. А я еще стремился доказать, что и не был волком...

Не был, но — как же так?! Сидишь опять... Алкоголизм? Да, но и здесь путаница: уже сдана в редакцию рукопись «Бежать от тени своей». Конец романа вроде не оставляет сомнений — автору и его герою удалось победить (в себе) это зло. Книга еще не издана, а автор... пал жертвой алкоголизма, у него в перспективе возможность продолжить дневники, в которых убивают очень милую женщину.

Конечно, и в Бутырке пришлось «играть на рояле», подстригли под полубокс, сфотографировали в профиль и анфас! Жена принесла передачу: батончик, сто граммов колбасы, четыре вареных... яйца!!! Еще двести граммов масла, мыло, зубную щетку. Маловато, но что поделаешь: она думала, здесь можно ежедневно приносить, как в больнице.

Да, с женитьбой мне не повезло. Какой должна быть качественная жена?

К примеру, жил у меня приятель на Преображенской площади, инженер-электроник, специалист высокого класса, и отец у него в Одессе портной, но сам он к жизни совершенно не приспособленный. Выходим, например, с ним отдать в починку его брюки. Нам надо, естественно, в ателье по ремонту одежды, а он претя в дамскую парикмахерскую: «Извините, не подскажете, где можно починить брюки?» Говорю ему в десятый раз, чтоб не лез везде с дурацкими вопросами, я же знаю, куда нам надо, идем скорее — он упрямо останавливает встречных: «Извините, вы не знаете, где можно починить брюки?»...

Но какая у него была подруга! На два дома таскала продукты, как трактор. Дома у нее муж-бестолочь и дети; на Преображенке — мой приятель, Наум. И эта милая вкалывала так, как принято теперь рассказывать, когда хотят пощекотать не знаю уж что — самолюбие ли женщин, самочувствие ли мужчин. Сама из себя красавица, все она умела по дому и за мужа ответственную работу делала, но ценили ли ее эти остолопы?

Мужу, видать, лучшего и не надо было. Наум же мне советовал: «Женись на ней, человеком будешь (я холостой еще был), одетым, обутым, сытым, пиши себе, а не сможешь — она напишет, ты только подписывай». Вот ведь. За что только красавица так старалась для этих брюконосителей?

Мне такие подруги не попадались, но я не очень переживал. Зато у меня их было больше, я, что называется, возмещал качество количеством и в принципе жил ничего себе. Но как только женился, сразу перестали меня посещать и приятели, и приятельницы, а со временем потихоньку-полегоньку я сам превратился в идеального мужа-домработника...

Каким образом моя жена этого достигла? Скорее всего это результат воспитания: всю жизнь за меня никто ничего не делал. Женившись, я продолжал делать то же самое, что и всегда делал для себя. Так что все осталось по-прежнему, с той лишь разницей, что раньше женщины приходили и уходили, а теперь нет.

Но, в отличие от подруги моего приятеля с Преображенской, та женщина, которая ко мне пришла насовсем, она... была милая и трогательная, и смешная,

к тому же близорукая и всего на свете боящаяся: громкого звука радио, сильного огня на газовой плите; ключ в замке она поворачивала обязательно два раза и постоянно страшилась потерять или забыть что-нибудь, поэтому вне дома из рук не выпускала ничего; упаси боже ходить по городу с незастегнутыми карманами! Последнее вполне оправданно: уж я-то терять умею! Она опасалась, что стена дома обвалится как раз рядом с софой, где образовалась небольшая трещина; если с дерева в лесу свисает сухая ветка, она обойдет его, и дом зимой обойдет, если увидит висящую под крышей сосульку, а вот из-за черного кота она с дороги не свернет, хотя, выйдя из дома, за зонтом ни за что не возвратится, пусть на улице и льет как из ведра...

В литературе женщин чаще всего изображают загадочными, романтичными или же по-детски бесхитростными. Встречаются и героини. В Зайце тайн нет. Бесхитростная? Как сказать... Маленькие хитрости бывают и у ангелов, наверное, у Зайчишки тоже, но в ее честных глазах все они видны. А если и есть какая-то тайна, то лишь одна — непонятно, как может сегодня среди всех этих умных, практичных, образованных, деловых, героических, романтических, загадочных женщин откопаться совершенно обыкновенная, которая ну ничуть не хочет блеснуть?

Мне встречались таинственные, но после недолгого общения очень даже блекли, словно выветривались, хотя оставаться могли и образованными, и трудолюбивыми, и красивыми. Мой Заяц не из такой породы. Одевалась не то чтобы немодно, а... доступно, и из-за приобретения тряпок из шкуры собственной не лезла. Всяческую же нарочитую броскость в особах женского пола она весьма ехидненько отмечала. «Чем некоторые женщины старше,— заметила она однажды, смотря телевизор,— тем короче становятся их платья...» Эти «некоторые» были довольно именитые певицы.

Об отношении же ее к моей персоне мой приятель Станислав сказал своей жене этак полуиронически: «Да она с него пылинки сдувает». Но прозвучала словно бы зависть. Ведь с самого Станислава при всех его талантах вряд ли какая-либо из жен сдувала пылинки.

Познакомились мы с Зайцем в кабинете генерала, когда тот ей что-то диктовал. Вернее, там я ее впервые увидел, и она произвела на меня впечатление имен-

но этой самой своей простотой, естественностью и едва угадываемым благородством. Была она в то время секретаршей генерала. Сей факт — хотя тогда я этого предвидеть не мог — сыграл в дальнейшей моей судьбе немаловажную роль.

У таких людей, как Зайчишка, нет нужды бежать от собственной тени, они живут терпеливо и безотказно работают, и это — героическая жизнь, если разобраться. Я не хочу сказать, что достижения тех, кто на производстве выполняет за год пять и больше планов, можно сравнить с успехами стенографистки. Но ведь и она не виновата, что ее труд иначе планируется и нормируется, а бывают и вовсе ненормированные рабочие дни, по двенадцать и более часов в сутки; приходится часто просиживать в три раза больше других, менее опытных или менее добросовестных (увы, всем предпочтительнее машинистки высокой квалификации). У нее есть медаль «Ветеран труда», но я не видел, чтобы она ей в чем-нибудь помогла, даже в двадцатипроцентной добавке к пенсии ей откатали, потому что ее стаж не заработан в одном учреждении, как будто ее вина, что учреждения реорганизовывались или просто ликвидировались... Но сорок лет непрерывного труда тем не менее есть, и долг в отношении природы тоже выполнен — ребенка родила и вырастила, несмотря на предательство мужа. Ближе и дороже, чем сын, у нее никого на свете нет.

Какие это были прекрасные годы! Каждый из нас занимался своими обязанностями, это конечно. Но во всем остальном мы были свободными. Остальное — черт знает какие условности, которыми люди везде ухитряются осложнять свою жизнь: у нас не было собаки, кошки тоже, цветы держали только такие, которые можно долго не поливать, канареек и золотых рыбок мы не заводили, нам ничто не мешало куда-нибудь идти-ехать.

Ее родственники уже смирились с моим существованием, нас не беспокоили; моих пьяниц ей удалось отвадить, вернее, они сами ушли: она к ним относилась тоже как-то доверчиво, доброжелательно и даже уважительно, и они, видя это, не захотели ее обижать — люди ведь, как ни говори.

Вещей и мебели у нас лишних не было. У нее — потому, что на небольшую зарплату много не купишь, я же просто не привык их иметь. Средства для сносной жизни имелись, но мы не разбрасывались, где можно — эконо-

мили. Даже перешивали старую одежду, когда это имело смысл. Так, например, из красивой шерстяной подстежки моего пальто родился пирпендончик (выражение Зайца) — жилетка. Заяц оказалась крупным изобретателем в области лингвистики: «уконтрапупить» — потерять или испортить, «сгрибчить» — помять... «Я там не собираюсь долго колдыбачить»... Что бы это означало? — недоумевал я. Оказывается, она собралась идти в магазин и не будет там задерживаться. Я однажды серьезно прикинул: не создать ли новый язык специально из Зайчиных слов, ведь на нем можно говорить не хуже, чем какое-нибудь племя африканцев: «надев пирпендончик, колдыбачил по газону и сгрибчил там всю растительность»... А? Звучит?

Итак, мы были относительно свободны и ценить это умели.

А теперь... один батончик, двести граммов масла... И это хорошо, что мало, что не знает она, какие тут порядки (надо таскать как можно больше, потому что ходить сюда разрешается не как в больницу, а только раз в месяц). Но и как можно больше нельзя...

Положено-то всего пять килограммов всякого-разного. Таскать много ей предстояло позже, и не мне, а человеку более близкому, но гораздо менее благодарному. И будет она ездить несколько лет, в морозы и жару, в три погибели скрючившись, в автобусах, поездах, ночевать на холодных автовокзалах, ходить пешком, согнувшись под тяжестью мешков, спать на скамейках в сквозняке, просить и унижаться, и выслушивать грубую брань весьма стервозных баб, чтобы взяли для сына передачу. Пока же она этого не знала и я, естественно, не знал. Это было будущее — страшное для матери. В этом будущем я участвовал, все ее страдания переживал и сказал себе: если, не дай бог, я когда-нибудь окажусь надолго за решеткой, то лучше с голоду умру (а ведь с голоду там еще никто не умирал), но не допущу, чтобы в угоду моему желудку хоть кто-нибудь так мучился.

Ну а теперь мне было ужасно смешно, и всем другим, которые здесь находились, — тоже. Но именно оттого, что и батон был маленький, и масла мало, именно оттого сердце согрелось теплой волной нежности: как это невероятно приятно, неповторимо хорошо — находясь в жесткой действительности, сознавать, что есть на свете чистая душа и она о тебе заботится, беспокоится.

Вспомнилось, как на заре нашей совместной жизни в ресторане «Северный» я исполнял индобразильские серенады и весь зал мне аплодировал, а маленькая Зайчишка встала и слушала посвященную ей музыкальную авантюру — душа наивная, она-то не подозревала даже (и никто не понимал), о чем я пою, как не знал этого и я сам...

Сначала мы сидели за столом и праздновали день ее рождения — Александр (он только что вернулся из армии), Зайчик и я. Мы, конечно, потихоньку смаковали коньяк (Заяц нюхала) и кушали. Это была наша первая встреча втроем.

Мы слушали местного платного Карузо, который в сопровождении ансамбля «Ребята с дикого Запада» ревел, как страдающий муками ревности муж. Мне пришла идея: я дал их руководителю десятку (тогда цены были сравнительно низкими), чтобы он позволил мне исполнить арию в честь моей жены, присутствующей здесь... «Без аккомпанемента, пожалуйста» — и представился ему так: я старый эстрадный волк, объездил Южную и Северную Америку, Италию, Францию, Грузию, пел в Китае, где меня слушал сам Мао, был даже приглашен в театр «Ла Скала», а в Большой театр не попал только из-за интриг завистников. Так что руководитель ансамбля «Дикие утки» (а может, «Удалые поросята» — в моей артистической жизни их столько встречалось, что все и не запомнишь) разрешил мне исполнить без сопровождения его группы.

Я схватил микрофон и начал петь. На каком языке — в точности не скажу: мне было лень учить языки. К тому же, когда их знаешь, петь труднее, надо правильно произносить слова, а это требует чрезвычайно сложных упражнений при исполнении многих вокальных модуляций. Язык! Что он, собственно, значит в музыке? Мешает лишь. Что дает текст в песне? Ничего не дает. Иногда даже песня исключительно популярных авторов состоит из двух-трех слов, бесконечно повторяющихся, как то: «по тротуарам, по бульварам; по бульварам, тротуарам»... Или: «Люблю тебя, ты солнце мое» — и все. Есть песня из одного слова: «авиапочта». Так на кой хрен они мне нужны, эти слова? Я пел однажды в каком-то обществе лингвистов, они слушали заворуженно и целый день потом спорили, пытаясь определить язык. Но никто не сомневался, что какой-то иностранный. Магомаеву до меня далеко...

Итак, я спел маленькому Зайчику на индобразильском диалекте, но какие были овации! Аплодировали стоя. Зайчишка тоже стояла — простодушная, доверчивая! Для нее я, кажется, был бы в состоянии петь даже на китайском, хотя всем известно, как это трудно. Получилось, как настоящее искусство, но было, как всегда, не настоящее; мелькнула мысль: в четырнадцать во Фленсбурге я обыгрывал в шахматы мастера, — наверное, из меня мог бы выйти шахматист, чемпион мира; я могу увлекательно рассказывать — мог бы стать настоящим писателем; бог дал не самый худший голос и большие уши — мог бы стать эстрадным певцом. Но я не чемпион, не писатель, не певец, я всем лишь подражаю. Наконец, раз я похоже подражаю — мог бы стать хорошим актером, но... Играю не на сцене, а в жизни — самого себя.

Теперь, оказавшись в таком историческом месте, где у меня опять открылась возможность заняться творческим трудом без помех, я уже мысленно готовился к этому. Спешить мне было некуда, хотя говорят, что в пятьдесят надо ужасно экономно обращаться со временем, поскольку его остается мало и надо торопиться сделать что-то очень еще важное, прежде чем тебя заберет костлявая; причем именно тогда, когда этот срок на подходе, все вдруг спохватываются, что не успели самого главного. И они начинают заниматься йогой. Ничего не жаждут они теперь более, чем здоровья. Все хотят жить дольше, даже те, кому за восемьдесят, хотя прекрасно знают, что чудес не бывает и до двухсот все равно не дотянуть. Да и спрашивается, надо ли? Не помню в точности, сколько прочитал за свою жизнь разных трудов и поучений типа «как я сохранил здоровье», в которых престарелые делятся опытом с теми, кто в тридцать преспокойно кутит в ресторанах, валяется в постели до двенадцати дня, а в шестьдесят начинает искать спасение в зимнем купании, в системе йогов, становится на голову, бегаёт марафоны. Спортсмены по принципу «лучше поздно, чем никогда».

В этих трудах со всеми подробностями описывается, сколько дней голодать, сколько калорий съесть в завтрак, обед и ужин, какие делать упражнения и сколько минут, когда, как и сколько дышать, когда не дышать совсем, когда оправляться и какие при этом проделывать упражнения, чтобы было результативно...

Простите! Но если никто не хочет умирать... Что же

будет с планетой? Люди ведь все время рождаются... Господи! Да не хочу я такого — к черту! — здоровья, которое сделает меня его рабом.

Здесь же, в Бутырке, я, как всегда, занимался совершенно неуместным делом: жаловался на обилие жуликов в государстве, возмущался вредом, ими приносимым. Вот ведь! Обижался на жуликов в тюрьме... среди них же. Но я говорил убежденно и, следовательно, вдохновенно, так что слушали с удовольствием, даже сказали: «Ты так говоришь, словно ты коммунист».

Тебе смешно, Тийю? Но это было так. И как я ответил? Я ответил: «Я и есть коммунист». «И что, — спрашивали меня, — ты и в партии состоял?» Ты понимаешь, Тийю, по их мнению, коммунист — это тот, который член партии. «Чтобы веровать в бога, — спросил я их, — разве обязательно быть членом какого-нибудь монашеского ордена?»

На двенадцатый день пребывания в Бутырке я услышал — кричали что-то отдаленно напоминающее мою фамилию. Так оно и было — меня выкрикали. Из квадрата «кормушки», как портрет в рамке, смотрел надзиратель с усами.

— Собраться с вещами! — скомандовал усач. — Личные вещи отдельно, казенные — отдельно.

Вот и дождался. Значит, увезут, но куда — на свободу или в сумасшедший дом?

Меня повели в баню, побрили, и я очутился в помещении, где мне вручили справку об освобождении. Но чья это заросшая рожа приклеена к справке?! Как будто моя... Затем, образно говоря, дали мне пинка в зад, и я очутился за воротами исторического учреждения, а камеру Пугачева так и не довелось увидеть, не довелось также создать новые записки с новым драматическим сюжетом. Жизнь полна неожиданностей, порою совершенно необыкновенных.

Относительно же сюжета: он еще и не созрел в то время, хотя был близок к тому. Драматические события только предстояли, они были более чем обыденными, но вели все-таки к трагедии, потихоньку, но последовательно.

23

Я, конечно, ломал голову над тем, почему меня не судили. В дебюте моей жизненной партии за подобное

дело мне отвалили приличный срок, а теперь отпустили...

Обрадовалась ли Зайчишка моему освобождению? Еще бы! Ругала меня? Нет, не ругала. Умеет ли она вообще сердиться-ругаться? Сколько ее знаю, ничего похожего не наблюдал. Единственно, выглядела немного усталой. Со своими делами я это не связывал. Я же у нее не единственный трудный «ребенок», есть еще и Александр Великий, ее сын. Так-то удобнее: списывать собственный дефицит на счет чего-нибудь или кого-нибудь другого.

А с ним как раз было так: откуда я пришел — он туда собирался...

Но прежде чем на это окончательно решиться, он, этак между делом, женился и даже обзавелся дочерью Александриной. Проживали они пока все у Зайца, в двухкомнатной квартире.

Маринэ — курносая крашенная блондинка, работница ЗИЛа, — почему-то глубоко презирала книги любого автора. «Буду я еще мозги себе засорять», — объявила она свое к ним отношение. Она уверена в своей неотразимой внешности, флиртовать — ее хобби (а может, призвание), работает усердно на заводе не из любви к труду, а ради денег. Детдомовская: отец-алкоголик на глазах своих малолетних дочерей убил топором мать. Теперь все они разбросаны по стране. Маринэ подалась в Москву, поймала Александра, и вот создали они Александрину.

Дружно не живут, хотя Александр не злой, добродушный даже, ну даст иногда по загривку легонько, скажет справедливо, что дура она, дескать, так ведь действительно: упряма, мстительна, сварлива, хотя и сексуальна — единственное, что их, в сущности, связало. Но Александр не дурак (он мечтал когда-то стать сыщиком), Александрина сотворить сотворил, но расписаться с Маринэ... извините, он уже имел представление, что она такое.

Это умно: Маринэ, бывало, вызывала милицию, когда Александр с друзьями устраивал дома компании с выпивкой. Опять же, она объявилась в ЖЭКе и требовала часть квартиры на том основании, что у нее маленький ребенок, отец ребенка выпивает и его следует отправить куда угодно, а его мать, то есть моя жена, проживает у своего мужа, то есть у меня, и так далее...

Если бы они были расписаны!.. Ого! А что же остава-

лось делать маленькому Зайцу? Но есть ведь телефон. И Зайчишка теперь постоянно на телефоне «висела». Интересное выражение ее лица, когда она разговаривает по телефону с Маринэ (она всегда на ее стороне): это охотник (узнать, что и как) и мудрая змея (подсказать, научить Маринэ, как нужно в том или ином случае поступить, чтобы было лучше). Зайчик не желает плохого Маринэ, она никому не желает зла. Она хочет быть счастливой, для этого ей много не надо: чтобы сын не выпивал, чтобы дружно жили с Маринэ, чтоб Александрина не болела. Зайчик любит Александринку, считает, что она копия ее самой, особенно глаза, а характер, конечно, папин — немного легкомысленный, вспыльчивый, но легко остывающий и в целом доброжелательный, дружелюбный.

Ну, а я... Не имея собственных детей, я тем не менее вдруг ни с того ни с сего стал дедом. Ловко!

Итак, Зайчик была на стороне Маринэ. И я, хотя мне ее любить не за что, тоже тем не менее был на ее стороне, и когда Гусь, то есть Александр, ею возмущался, то пытался ему как-то объяснить мою позицию. «Твоя Маринэ, — говорил я ему, — конечно, не блещет умственными тонкостями, так что невоспитанный человек мог бы сказать, что она дура непробиваемая или же круглая, но ты же сам ее выбрал и сделал матерью своего ребенка, так разве ты, спрашивается, умнее ее? Коли она дура, а ты на дуре женился, то если ты не дурак, так кто же? Простая душа? Простофиля? Который-де случайно, шутя, закинул удочку в собственную ванну и — глядь! — клюнуло... рыбку вытащил! Чудеса!.. Нет, брат, ты закинул удочку не в ванне, а в спальне. И не рыбку, а живого ребенка выудил. Так что хлебай теперь свою кашу как подобает. Конечно, молодец, что удочерил Александринку, — но дальше как? Ведь и Маринэ надо на что-то в жизни ориентироваться, она тоже человек какой ни на есть. К тому же ваши рыболовецкие возможности, учитывая ваш возраст и аппетит, достигнутым явно не исчерпываются. Что же будет, если появится еще какой-нибудь окунек?»

С другой стороны, и Александра понять нетрудно: опыта обращения с крашеными блондинками у него никакого, — действительно, что называется, прост. Познакомились в компашке при выпивке, захотелось здесь же быть мужиком. Был. Решил и мужчиною быть, но это ока-

залось намного труднее, требовало ответственности. А он о ней понятия не имеет — в детстве не объяснили, теперь же поздно.

Маринэ? Что же — не видела она, какой парень еще зеленый? А ведь она старше его. Что легкомысленный и гены преобладают явно не материнские, что одно дело играть с таким в рыбную ловлю, но совсем другое от такого родить?.. Это простительно женщине, если она обеспечена, стоит твердо на своих ногах, ни у кого отнимать жилплощадь нет нужды, а ребенка хочется хоть от черта (такое, говорят, бывает).

Давно известно, по какой системе некоторые девицы пробивают дорогу в жизни, вернее, в столицу: найдут дурака с квартирой, женят на себе, рожают ребенка, мужа затем на свалку, раздел имущества, и дело в шляпе.

Ребенок? Кому не известно, какое внимание государство уделяет матерям-одиночкам. Хватит и на туфли на высоком каблуке и на другое, ведь главное — нарядность во всем облике, ибо новый муж не исключается. А нужна ли среднему мужу жена, читающая книги? Чаше нужна жена, умеющая стряпать и посуду мыть. Маринэ это умеет, да и как мать она на уровне — Александринку любит, и та у нее ухоженная, ни в чем отказа не знает.

Судить их жизнь или что-нибудь решать нам с маленьким Зайцем в то время было фактически невозможно. Единственно, после возвращения из армии Александр в нас нуждался, когда нужно было подыскать для него работу, удовлетворяющую его. Я тогда обзванивал заместителей господ бога в Москве (заместителей тех, кто может все или почти все) и говорил им об Александре, что он добрый малый (в принципе это так), что старательный (чего, конечно, я не мог знать), что... одним словом, отличный парнишка, которому лишь не повезло в самом начале жизни, и отца, наконец, никто себе сам не выбирает... Я говорил, а Зайчик в ванной занималась стиркой, слушала и роняла слезы радости (что о ее сыне так отзываются) в мыльную воду.

Когда все это было! Миллион лет прошло. Такие вот дела, уважаемая Тийю из Фленсбурга! Миллион лет прошло с тех пор, когда мы с Зайчишкой тихонько, без бурных объяснений расстались. А теперь, будучи проездом в Москве, я бродил по городу, предаваясь воспоминаниям.

Мой отъезд из столицы пришелся на понедельник. Встал я рано, решил пойти в парикмахерскую — хоть раз в месяц, а надо отыскать собственные уши, склонные затеряться в растительности, которая только вокруг них и продолжает расти по-прежнему буйно. К тому же я надеялся, что народу будет немного, учитывая, что понедельник — день тяжелый. У мужиков, подумал я, голова еще болит. Если пойти сразу к открытию, в семь часов тридцать минут, наверное, буду первым. Решил идти в парикмахерскую недалеко от «нашего» с Зайчиком дома.

По транзистору меня предупредили, что ожидается двадцать семь градусов без осадков, и я полагал, что моей начинающейся лысине солнечные лучи не повредят. Загорелая лысина, между прочим, выглядит намного симпатичнее, чем незагорелая.

По пути я прикидывал в уме варианты шуток, какими можно расположить парикмахера, вернее парикмахершу. В этой мастерской работал только один мужчина, мастер Вася, но могла быть не его смена. Вася после выходного, насколько я помнил, никогда в первую смену не выходил. Остальные два мастера — женщины. А расположить людей к себе крайне необходимо.

Однажды я подстригался у женщины-мастера, у которой болел зуб, а я ее своими ушами так рассмешил, что зуб перестал болеть — и как же она меня подстригла! Я помолодел. Причем же ничего не выдумывал, просто рассказал: одно ухо у меня выше, а другое ниже потому, что в детстве сильно проказничал, а драли почему-то лишь за одно ухо — и вытянули. Разумеется, обмолвился, что мешают они в городском транспорте в часы пик, что трудно двигаться против ветра...

Теперь то же самое, шагаю и думаю: не травануть ли про уши? Я давно здесь не бывал, они меня все забыли и уши мои, разумеется, тоже. Смотри, конечно, которая тебя обслужит. Есть здесь... во всяком случае, была в смене Васьки одна костлявая, ты ей хоть про уши, хоть про хвост — стена непробиваемая, чувства юмора нет. Другая же из них такая, к которой стараются попасть преимущественно клиенты, которым за сорок, и понять это можно только так: им нравится, когда она пухленькими пальчиками щекочет, ерзяя при этом выдающейся грудью где-то около твоего носа. Но мастера там кот наплакал, так обкорнает — первый ми-

лиционер остановит, поинтересуется, откуда сбежал.

Подойдя к парикмахерской, глянул на часы — еще не было половины восьмого, но они уже открыли. Правда, из мастеров никого не было. Старенькая уборщица уборку затеяла — непонятно, почему не вечером после закрытия? Мой расчет, что приду первым, не оправдался. Три гаврика уже сидели, ждали. Один с орденом, другой, седой, с лентой, третий, лысый, без ордена, но на деревянной ноге. Еще один зашел. Он, оказывается, на улице стоял, курил, но он и был первый. Лет тридцати, сухопарый, нервный, с презрительно ко всему на свете оттопыренной нижней губой и сморщенным носом. Он стал о чем-то навязчиво рассказывать одноногому.

— ...У нас... бесполезно! Даже та-а-кую мелочь не умеют! — Он махнул рукой.

Одноногий безразлично поддакнул, сам уткнулся в «Правду». Нервный от него не отставал, выражал недовольство, по поводу чего — понять было невозможно.

— А эти... одно и то же, ловят — отпускают, отпускают — опять ловят. Бесполезно!..

Он махнул безнадежно рукой, обведя всех сердитым взглядом, словно ища подтверждения своей правде. Остальные сперва были уже готовы соучаствовать в его недовольстве, но тут же отвернулись.

Тогда пришла она, мастер. Совсем не та, которую я ждал, из другой смены. Костлявая. Тоже нервная. Да еще в плохом настроении, потому что на улице дождь пошел, а обещали без осадков. Седой тоже посмотрел недоуменно в окно и объяснил: «Ну да, у них там на метеостанции раньше подагрик работал, тогда они угадывали правильно, но подагрик умер, теперь они не знают, что и объявить...»

— Бесполезно... — среагировал нервный, — такой пустяк, а не могут.

А если парикмахерша в плохом настроении и шутить не любит, как же она тебя подстрижет? Она же, надевая халат, ворчала: «У людей выходной как выходной, гуляют, а тут руки отваливаются»...

А людей, у которых выходной как выходной, все бывало. Видно, все рассчитывали, как и я: кто же в понедельник с утра в парикмахерскую пойдет? И полезли все, как миленькие, как и я со своими ушами. Нервный, конечно, опять недоволен.

— Это они только открывают в половине восьмого,

а когда на самом деле работать начнут? Бесполезно! Она еще чесаться-причесываться будет с полчаса, но... бесполезно!— И махнул безнадежно.

А парикмахерша на руки свои жалуется. Уборщица ей посочувствовала, а мне от этого толку никакого — мои уши и зеленые глаза здесь бесполезны, факт. Поскольку у человека руки отваливаются... И я ушел.

Честно говоря, не так уж и сильно мне нужно было подстричься. Я пришел сюда совсем даже не потому...

Мне хотелось, прежде чем сесть в поезд... Ах, да что там — было просто грустно. Здесь недалеко, в этот час в доме рядом с Бутырским рынком, за одним из окон (из него мне уж столько раз смотрели вслед добрые карие глаза) спала сейчас Зайчишка, а я уходил... неподстриженный, уходил, чтобы в три часа дня сесть в поезд. Но сейчас никто на меня не смотрел в окно с двенадцатого этажа. Я уходил и смотрел на окно. Рано еще, в окне никого не было. Но я все равно видел это личико с доверчивыми грустными глазами.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

24

Я остался на хуторе Ванаталу. Можно сказать, снова повезло. Дом, то есть хутор со всеми его пристройками и мельницей, конечно, купили. Но прошли недели, прежде чем я увидел нового хозяина. Звали его Хуго. Он был похож на моего дядю с острова Сааремаа; невысок, плотен, квадратный череп с широким лбом. Но, в отличие от моего дяди, который тоже звался Хуго, этот мужик был не склонен к алкогольным напиткам, уж трезвенника от пьяницы я еще в состоянии отличить. Он приехал на такси. Время приближалось к полудню, Тийю только что отбыла в Вильянди (живописный городок в Центральной Эстонии, где-то там неподалеку лечился муж Тийю).

Около месяца назад, когда Тийю ездила в Одессу к младшей дочери, я был усердным «базарным воробьем» и собирал кормовую свеклу в колхозе имени В. Кингисеппа, таскал мешки с картофелем, в результате пятисот рублей запрятал в заначку и относительно зимнего пропитания был спокоен. Топлива тоже хватало, от Роберта же остались те самые бревна, которые меня придавили так, что правой рукой орудовать в колхозе было очень даже неудобно: в любом положении рука вообще-то двигалась свободно и не причиняла сильной боли, только нельзя было заложить ее за спину, а если попробовать дотянуться ею до лопаток — дикая боль! Так что если бы, скажем, я попал в ситуацию, когда выкручивают руки, — мне был бы каюк.

С деньгами повезло не только в колхозе. Еще поляки в Варшаве издали мою книгу «Бежать от тени своей», и я получил чеки. Причем они ее издали неожиданно двумя тиражами, и гонорар соответственно увеличился. Единственно, я не понял, зачем им понадобилось изменить название: они перевели «Бежать от жены своей»... Такая обложка действительно смотрится более интригующе, если подумать. Ведь каждой полячке небезынтересно

узнать, как это бегают мужья от своих жен, да и поляки иные, надо думать, не прочь узнать, как можно удрать от жены, так что в результате, по-видимому, и выпустили двумя тиражами. Люблю людей с юмором. Удалось заключить договор с болгарами, но вот неизвестно, под каким заглавием издадут.

Итак, Тийю отправилась навестить мужа, и тут же во двор заехало такси. Из него вылез коренастый мужик с внешностью моего дяди и его именем, лет ему было около сорока. Поздоровались.

— Я — новый хозяин,— сказал он как бы между прочим.

— Я — старый жилец,— в тон ему ответил я. Обменялись рукопожатиями.— За деньгами, наверное, приехали?— спросил я, имея в виду квартплату, то есть те уже известные пятнадцать рублей в месяц.

— Нет,— ответил он так же безразлично.— Просто так. Посмотреть.

Таксист сперва вышел из машины, потянулся, походил туда-сюда, за угол сарая заходил, хотя в Эстонии такое редко практикуется, в данном случае это можно объяснить разве что запущенностью старого хутора. Затем он забрался в машину и, достав газету, уткнулся в нее с полным безразличием ко всему прочему. Хуго меня внимательно рассматривал, говорили ни о чем: кто откуда родом, о погоде.

— Вы здесь отдыхаете... или...— пытался он неловко разузнать. Но кто же отдыхает в деревне глубокой осенью?

— Я здесь... от жены сбежал,— вспомнил я поляков. Хуго засмеялся:

— Разве от них убежишь...

— Тоже верно,— согласился я,— не одна, так другая. Выпить хотите? (Мне все-таки следовало быть гостеприимным по отношению к хозяину.)

— Чаю бы попил,— сказал он,— другого не употребляю.

— Из-за «июньского переворота»? (Я имел в виду Указ от 1 июня, который Сависаар как-то образно назвал «июньский переворот».)

— Нет, я и до него не принимал, нет охоты. Переворот что?.. Пили у нас до него, будут пить и после.

Мы вошли в дом. Здесь с помощью Тийю, хотя и сам я грязь не терплю, стало намного уютнее. Я начал

готовить чай. Честно признаться, общение мужчин при посредстве водки или вина стало настолько естественным, что теперь я даже как-то неловко почувствовал себя, словно и говорить не о чем. О погоде? Уже поговорили. Как-то непривычно: два мужика за столом... пьют чай с белым хлебом.

— А тот, в такси,— вспомнил я водителя,— тоже, может, чаю хочет?

— Он... нет,— сказал Хуго и усмехнулся.— Он тоже из непьющих и вообще необщительный, так что...— Хуго махнул рукой и добавил:— Это мой брат, в Тарту на Пуйестее живет, свой дом имеет, жена русская, детей нет... почему-то.

Мне стало как-то не по себе: не слишком ли много непьющих сразу.

— Так что вы,— то он мне «ты» говорил, а то вдруг «вы»,— вы тут, говорят, пишете... Писатель или как?

Вот этого вопроса я и боялся: скажу «да», он мне за жилье такую цену заломит, что горбатым стану в колхозе, ворочая мешки. Всем почему-то кажется, что писатели — фальшивомонетки, деньги сами рисуют. Я, конечно, признался, что — да, пишу понемногу, но зарабатываю мало.

— Понимаешь,— сказал я,— те, у кого более приятные персонажи, скажем, герои труда или войны, разведчики или следователи,— они зарабатывают много. У меня же — уголовники, алкоголики... Кстати, а ты не читал «Бежать от тени своей»?

Он, оказывается, не читал. Но кто он сам-то, мой гость-хозяин?

— Значит, ты здесь надолго?— не дал он, однако, мне спросить.

— А на сколько можно? И что ты здесь хочешь сделать — сауну, дачу, тюльпаны разводить?

— Ничего не буду... пока. Нет денег. Успеется. Сейчас планы другие. Тоже машину приобретаю, а то сюда ездить неблизко. Так что живи сколько хочешь.

— Но за сколько?— задал я теперь уже в лоб самый главный для меня вопрос.

— Ничего не надо.

Он объяснил свой ответ вполне правдоподобно: ему выгодно, когда на хуторе живая душа имеется,— хоть не растащат дом с пристройками, не сломают, а то ведь могут запросто уволочь как стройматериалы или даже

топливо, древесина еще крепкая; а он будет наезжать, наведываться, чай пить, когда есть время. Здесь созрел совершенно закономерный вопрос: много ли, часто ли бывает у него это время, а если не часто, то почему.

— Я в колхозе «Калевипоег» заведую цехом, зеркала делаем для грузовых автомобилей. У нас дело там широко поставлено. Был у нас головастый один... Помер. Но это все, как говорится, дело его рук. Он все организовывал, приходилось со всеми выпивать, от этого и умер... Вот бы тебе написать о нем, интереснейшая была личность. В другой раз расскажу, сейчас ехать надо. Эвальд, верно, газету дважды уже прочитал.

Мы простились, и он оставил меня убирать со стола. Со двора послышался шум отъезжающего такси.

Осень. Мрачновато по вечерам. Осень в Эстонии всегда красива, но только по октябрь. Ноябрь уже не радует. В тропиках не знаю как, здесь же мрачно даже днем, если нет солнца, а вечер скоро приходит, быстро сереет, и уже надо идти колоть дрова и топить печь, ибо нет ничего более превосходного на свете, чем в мерзкую погоду потрескивающая веселым огнем печь в старом пустом доме.

Дом, конечно, был меблирован отвратительно с точки зрения граждан, считающих необходимым обставляться импортными комплектами; Андрес, сын усопшего Роберта, все вещи старика, которые хоть что-то стоили, вывез вскоре после похорон. Но старье, которое шаталось, скрипело, разваливалось,— осталось. Допотопное барахло — комоды, шкафы, стулья самодельные — пригодились бы «Мосфильму» в качестве реквизита. Но мне они весьма привычны, потому что приличной мебели у меня не было никогда с того самого дня, как покинул родительский кров еще в детстве.

Правда, в свою первую и последнюю собственную квартиру, которой я в Москве пользовался десять лет, я в самом начале натаскал совершенно новую мебель — чтобы почувствовать, что это такое. Она быстро осточертела своим блеском (не переносу, когда блестит), и я все раздарил. Так удобнее, не надо самому увозить, это просто и недешево.

Что же касается уюта, он достигается с помощью фантазии и, естественно, хорошего вкуса, а он у меня хороший (правда, редко кто сомневается в своем вкусе). И, конечно же, уют — это чистота. Я считаю, послед-

няя — первостепенная необходимость, хотя и здесь, конечно, дело вкуса, ибо, если человек всю жизнь провел в грязи и ты его заставишь жить в чистоте, так они помереть может с непривычки. Мне рассказывала одна сви-нарка, что однажды колхозная свинья была продана в частное хозяйство и там подохла в антисанитарном, по ее свинячьему соображению, сарае, потому что не привыкла к чистоте.

На хуторе же старые доски, краска везде облупилась, но... медные ручки при свете огня из открытой дверцы печи причудливо сверкают, словно золотые листья осины...

По-женски здесь мне помогала Тийю. Она бывает деятельна, разъезжает, привозит продукты, отвозит в город белье в прачечную — сама стирать она не любит, а я за годы, проведенные в Москве, настолько привык к горячей воде, которая легко достается, что на хуторе тоже не очень люблю топить плиту, греть в тазах, котлах воду. Тийю же все запихивает в мешок, бросает в багажник — и никаких проблем. Но это когда она деятельна.

Однако иногда на нее находит некая рябь, как в тихую погоду на море, — ни малейшего дуновения ветра... хотя в ее сердце какой-то ветер задувает, но какой — неведомо. Она тогда опять за рулем. Я, если пожелаю, могу сесть рядом, и мы быстро (ведет машину она мастерски) и молча мотаемся из одного города в другой по лесным дорогам, переговариваемся этак односложно: «Красиво?» — «Да». — «Видишь?» — «Вижу». — «Хорошо»... Потом она меня завезет на хутор и уезжает неизвестно куда. У нас не принято расспрашивать. Это просто неприлично. В конце концов она — дама. Не из тех, которые воображают себя дамами, хотя даже не имеют четкого представления, что это такое.

Разве назовешь дамой какое-нибудь чучело в вельветовых или других брюках, которые она не стирает и не гладит (если вообще умеет гладить), но накрашена и всяким металлоломом обвешана? Кошмар! Брюки висят мешком — грузчик с овощной базы, о модах стрекочет, ногти красит... и курит. Может, ей руку целовать? Или на руках носить?

Если Тийю в брюках, то надо видеть, как они сидят! Одевается она недорого, довольно просто, так, как это никому не удастся, хотя не слышал ни разу, что у нее имеется опыт посещения магазинов типа «Березки» в Москве. У нее есть руки (красивые), швейная машинка

(не видел, она говорила), и есть вкус (знаю наверняка). Остальное — дело умения и старания.

Так что, если Таймо в Тарту меня «обязывает», то Тийю не даст искать помощи портного, который в каком-нибудь ателье лопается от счастья из-за возможности «приносить пользу людям», зашивая тебе брюки гнилыми нитками. Если что-то меня еще в жизни и беспокоит, так один лишь вопрос: где взять машинистку, которая отпечатала бы то, что мне здесь удастся написать? Причем отпечатала так же чисто и добросовестно, как это делала всегда Зайчишка. Как мне все-таки повезло, что все то время, когда я писал свои малограмотные книжонки, я был женат на высококвалифицированной машинистке!..

Конечно, идеально, когда у тебя жена великолепно шьет, вяжет, печатает на машинке, умеет тебя подстричь, превосходно готовит, лечит зубы (не заговаривает, а именно лечит), чинит ботинки, обладает тонким вкусом, музыкальна, сексуальна, умна, терпелива, и здорово, как у Жаботинского, и выносливость верблюда... Но где такое сокровище найдешь?! Хотя не сомневаюсь — они на свете есть. И значит, кому-то повезло, значит, есть на свете счастливые мужички. А здесь?.. Одна вяжет, другая шьет, третья печатает, а жены нет.

Тийю взялась было обучать меня вождению автомобиля, и вроде у нас неплохо получалось, я даже научился мотор запускать и ехать как будто был способен на приличной скорости, но...

— Хватит,— сказала она наконец сердито,— а то еще наедешь на милиционера, учитывая твою врожденную к милиции любовь... Больно ты мечтательный.

Действительно, для меня задуматься и забыть, что я за рулем, вполне естественно. Но с машиной на хуторе, конечно, хорошо. Я совсем затрудняюсь понимать этих несчастных автомобилистов в Москве, чьи сокровища на четырех колесах ржавеют на тротуарах, в месиве снега, песка, соли, мазута, когда и ездить по улицам образцового города невозможно, да что ездить — пешеходы с трудом пробираются. Так зачем там машины? Стремятся иметь, однако,— богато живем!

Другое дело здесь, на хуторе. Есть где ее держать (мы ее ставим на ночь в бывший овечий загон, а дома у Тийю, естественно, гараж).

После отъезда Хуго я несколько дней ждал появления Тийю, но ее не было. Она мне после предыдущего посещения мужа рассказала о каких-то осложнениях, даже опасных для жизни — то ли сосуды в мозгу заржавели, кровь не пропускают, то ли что-то другое. Кто в этом мозгу разберется! Одним словом, мужика к больничной койке привязали надолго, и хоть некрасиво радоваться чужому несчастью, меня такой оборот вполне устраивал.

Я решил пойти на Черное озеро за барахлом, которое там на зиму оставлять нельзя: гамак, одеяло, книги, тетради, ножи — все, что боится сырости и способно ржаветь.

Шагал я бодренько по тропинке, петляющей между деревьями, и мечтал... О чем? И не скажешь. Впрочем, об одном скажу: я дошел до мысли (и это после книги «Бежать от тени своей»), что, если буду пить дальше — умру; если же брошу — заболю, потому что организм мой привык к устоявшемуся образу существования; а если заболю — тоже умру. Но из двух зол, как говорится, выбирают лучшее...

Боюсь ли я смерти? Вероятно, каждый человек задает себе этот вопрос и, может, некоторые ее не боятся, другие делают вид, что им все равно. Я же ее просто пока еще не понимаю. Жизнь я чувствую. А умереть — значит больше ничего не чувствовать. Мучительно, когда умираешь от болезни, причиняющей сильные боли. Но если нет боли, человек просто тихо перестает что-нибудь чувствовать... Когда мне вторично оперировали ногу под общим наркозом — это же было прекрасно.

Но боли могут быть совершенно другого рода. Мне жалко оставлять того, кто будет страдать, тосковать или даже бедствовать после моего ухода. Мне что! Я умер, меня нет; и у меня душа не болит. Я и решил в пользу того варианта, когда не куришь, не пьешь и здоровеньким умрешь. Расчет прост: если у меня хватит здоровья хотя бы на столько, чтобы закончить книжку, так меня хоть будет на что похоронить: умереть сегодня — удовольствие не из дешевых.

Завязать не просто. Хотя в «Бежать от тени своей» я и объявил, что уже завязал, но объявить гораздо проще, чем сделать.

Могут подумать, что я июньского закона об ограничениях испугался. Это не так, его никто не испугался. Его, конечно, учли, с законом считается необходимо. Хотя бы для того, чтобы знать, как его обойти.

Уж очень он вдруг стал всем просто смертельно нужен, то есть буквально в один день — вчера он еще не очень был нужен. Удивительно, не правда ли? Причем еще более удивительно, как много начали говорить о негативных явлениях, с которыми стало необходимо бороться, и товарищи со всякими значками на лацканах теперь выступают на конференциях и шпарят — не остановишь. А вчера и позавчера уверяли в полном благополучии, так что лишь вперед и вперед!..

Давайте остановимся на минуту и задумаемся. Какие откровения! Какие дела, поступки — и какие люди и м и занимались? Люди, получившие от государства максимум — образование, звания, должности, дотации. А если бы все так и продолжалось? И если борьба с негативными ослабнет, сойдет на нет, тогда что?

Рассказывали о судебном процессе в Ростове над торговыми работниками. Одного, кажется, приговорили к высшей мере. А корни этого дела даже в министерство потянулись к высокопоставленным лицам. Все они жалко лепетали, что случайно оказались втянутыми во взяточные дела коварными проходимцами, — выходило, будто деньги пачками сами лезли в их карман...

Черт побери! Я целыми днями шляюсь везде с раскрытыми карманами, но ни одна собака в них копейки не бросила. А вздумаешь у кого-нибудь взаймы попросить — от тебя прятаться начнут, словно зарезать хочешь.

Смотрел передачу «Человек и закон»: кондитерская фабрика, несуну — полные сумки шоколада, портфели конфет; почти каждый второй с краденым товаром задерживался в проходной, жалкие извинения: «Я больше не буду», обещания и клятвы... Какие все люди! Мастера, рабочие, партийные...

Но почему их нельзя было поймать раньше и показать?

Мне самому четко давали понять (раньше), что негативные явления в моих высказываниях утрированы; объективизм, субъективизм — надо не показывать, а бороться...

Понятно, я изображал неграмотно, но все же... Теперь что ни передача — заседание, конференция по вопросу усиления борьбы с негативными явлениями. Только что

застолье было почти обязательным содержанием кино. Теперь, после «июньского переворота», образ пьющего может исчезнуть из кино и литературы совсем, могут и в «Войне и мире» запретить пить вино на подоконнике — хулиганство!

Но кто это делает? Вот что интересно. Те же, кто вчера терпимо и доброжелательно был настроен к негативным явлениям. Что с ними произошло за ночь? Внешне они выглядят так же, как вчера. А если они завтра опять изменят свое отношение — как прикажете с ними ладить?

Когда меня прогнали с корабля на Сахалине, старый рыбмастер мне сказал: «Дисциплина на море — вещь обязательная». Но разве только на море? А в торговле? А в искусстве? Но здесь куда реже прогонят «с корабля», если вообще прогонят... Здесь лишь принято менять убеждения: одни выкинул, другие — новые — проповедуешь.

Как-то давно в Киеве зашел я в крупное издательство и на столе секретаря увидел большой список литературных произведений, многие из которых были отмечены галочками. Я поинтересовался: что это за «птички» и куда они улетают? Мне объяснили, что список — план издательства на следующий год, а «птички»... произведения, которые напечатают в убыток издательству. Я был удивлен: зачем же печатать? Мне объяснили: такими книгами издательство выполняет план. Конечно, читателю они не нужны, но к ним не придерутся нигде.

А вот такие негативные явления, как, скажем, Волли с улицы Гороха, который приобрел в наследство дом, или люди в бункере рядом со штабом добровольной народной дружины, или же таксисты, торгующие водкой, — они так просто своих убеждений не меняют, они с твердыми принципами: больше пить не будут, но и меньше тоже... Хотя перед кем-то, естественно, возникли трудности, которые другим зато на руку.

Например, если у торгашей раньше бутылка стоила червонец, после «переворота» стала пятнадцать рублей, а еще позже двадцать пять... Риск! И он, спекулянт, тоже боится. Раньше он только после закрытия магазина наживался, теперь же еще и до открытия ему «урожай» можно снять: иному бедолаге до двух часов никак не выжить...

Я шел домой на хутор и опять мечтал.

Вспомнилось, как мечталось в детстве и как меня мое мечтание кормило...

Тогда я тоже бродил по дорогам и тропинкам, но не в качестве одного из «лесных братьев». Я им был не нужен, шестнадцатилетний сопляк, да и не знал из них никого. Но жить было негде. В моем доме поселились люди, ничего не знавшие о моих близких. Я ходил по деревням. Во многих из них меня так и звали — «мальчик, который ходит»... Потому что я неоднократно там проходил. Ночевать оставался обычно там, где меня настигал вечер, — у хуторян, которые победнее и попроще, такие обычно бывали более гостеприимны и более любопытны к тому, что делается в мире.

Ведь в то время единственный крестьянский транспорт — лошадь — не позволял особенно разъезжать с места на место. Раз в неделю или в месяц, а то и в полгода ездили в город что-то купить, что-то продать — вот и все дела. Откуда же что узнаешь? Телевизор люди бы за колдовство сочили, радиоприемники во время войны у большинства населения конфисковывались всеми освобожденными островитянами — сперва одними, потом другими. Бывало, одни возвращали то, что отобрали другие, но в целом была путаница, и отображенные приемники или велосипеды доставались тем, кто находился поближе к складам. Так что я был вместо радио, кино и театра. Пока шел по дорогам и лесам, выдумывал правдоподобные истории. Придя куда-нибудь на ночлег — врал как заведенный, отработывал постель и ужин...

Рассказывать колхозникам или единоличникам-хуторянам захватывающие и страшные истории из своей жизни мне приходилось и позже, когда бежал откуда-нибудь. Те истории были главным образом о побегах, как в современном американском кино, где побеги из тюрьмы показаны в сотнях вариаций. Люди опять слушали, разинув рот и... кормили, ночевать оставляли. Сочувствовали.

Теперь я шел из леса от Черного озера и мечтал совсем о другом, и ни о чем особенном рассказывать не собирался, а собирался сказать Тийю, что в конце концов никто не виноват, что я ее всю жизнь любил, ее образ всегда в сердце носил, ее черты другим женщинам, мною придуманным, приписывал, как, например, Сирье, которую убили жестокость и подлость.

До ухода в лес я в доме натопил, в печке тушеное мясо в глиняном горшочке оставил. Она знает, мы

это уже не раз проделывали, как в старину в деревнях бывало. А нашими помещениями по-прежнему остались верхние комнаты, где я жил еще до смерти старого Роберта. Благодаря нашим стараниям в них стало чертовски уютно, хотя и приходилось таскать дрова наверх, а удобства находились во дворе.

Я и раньше пытался заговорить как-нибудь ненавязчиво, намекал, что у нас с ней как-то комично получается: она отказывает в конце нашей жизни мне в том, в чем я ей отказал в начале. Но успеха не достигал. Она просто не «заводилась».

— Перестань! — единственный ответ на конкретную тему, и тут же закрывала мне рот каким-нибудь сногшибательным вопросом, обязательно таким, на который, она знала, я непременно постараюсь ответить, а в таком случае, в какой бы я ни был боевой готовности, тут же опущу оружие, просто не в силах его держать, будучи увлеченным идеей заданного мне вопроса. Такие приемычки у женщин меня обычно жутко раздражали, то есть когда в самый неподходящий момент — ты и думать-то, кажется, ни о чем постороннем не можешь — она тебя вдруг спросит, например, о том, куда у меня все-таки могли уйти лишние три рубля, когда я ходил за покупками...

Вот и Тийю.

— Скажи, — спросила она как-то, когда я в который раз пытался втолковать, что мы ведь все-таки остались равнодушными друг к другу, несмотря на эту прорву лет и события, что прошли в нашей жизни с того времени во Фленсбурге, так что... — Скажи, пожалуйста, — спросила она, — а ты до конца жизни думаешь кормиться этим... ну, я имею в виду литературу?

Меня как будто молотком по голове стукнули. Я ей об одном, она мне — другое. У русских есть поговорка: «Ей про Фому, она — про Ерему».

Ну откуда мне, черт побери, знать, когда будет конец моей жизни, и какой он будет, да что я буду делать?

Подумать только! У нас хорошо, тепло, соседей нет; ни скотину тебе кормить, дети не плачут. Я ей о чем толкую-то? Литература...

Конечно, я буду ею заниматься и кормиться до тех пор, пока не станет ясно, что именно она обеспечит мне конец от голодной смерти, а так... Чем же еще прикажете заниматься? Я тоже обратил внимание, что и в

периодической печати, и другими методами идеологического воздействия в настоящее время призывают людей — каждого индивидуума в отдельности — приложить максимальные усилия и содействовать мировому прогрессу в деле борьбы с угрозой войны; так ведь и я являюсь отдельным индивидуумом в общей массе людей мира!

А что я еще делать могу?! Может, и было бы от меня больше толку, если бы я был хорошим электриком, акушером, слесарем или токарем, но я ничего больше делать не умею, кроме того, что делаю, да и это тоже дается нелегко, с русским языком у меня до сих пор отношения до конца не выяснены, а на эстонском писать бессмысленно: чтобы быть напечатанным на эстонском, не надо ссориться с живыми классиками, об этом меня просвещал еще в Тарту, в бункере, бывший заместитель прокурора.

И я объяснил Тийю: решил писать потому, что больше ничего делать не умею. Решив же, столкнулся с трудностями, и главная из них — герой. Где его взять? О героизме пишут больше, чем его можно обнаружить, а если на всех не хватит, придумывают — на то и писатели; но для меня не все подходы к герою удобны, поскольку пришел в литературу совсем из другого института, и мне ли не понять, что рассказывать о следователе я не в состоянии, а об уголовнике твердить без конца — просто неприлично.

В современной литературе желательна тематика более злободневная. К тому же я два десятилетия назад смотрел на мир немного восторженными глазами, а сегодня восторженности сильно убавилось. В таком случае и вовсе с героем становится туговато. Но сказать о том, что думаю и что считаю даже необходимым, тем не менее хочется. Поэтому я решил идти своим путем. Верность одному герою распространена в литературе; возьмем хотя бы Конан Дойля или Агату Кристи, или же Жоржа Сименона с их сыщиками; и у нас достаточно литературы типа «И это все о нем» или же «Следствие ведут знатоки» (не очень порою компетентные). Я решил создать своего героя из собственного первого лица, которого так размаляю, что родная мать не узнает (она и не узнала: я ей послал книгу в Швецию, так она пишет: «Сынок, о ком это ты написал?»).

Ну конечно, Тийю дорогая (ах, как я жалею, что был тогда так глуп, во Фленсбурге! всю жизнь локти кусаю!),

нужно еще и какое-то моральное основание, чтобы писать книги, столь слабо ориентируясь в жизни, но разве у меня его нет? Я встречаюсь с читателями тут и там в библиотеках, коллективах. Они задают мне вопросы и интересуются моими мыслями о жизни... Значит, и они на что-то пригодны, эти мысли!

Когда-то пожилая журналистка в Москве писала обо мне в газете, что будто бы я стремился к суду над собой, руки мои в крови (они не были у меня в крови никогда, ни один палец), что я к правде стремился. Я действительно стремился к правде, но... к своей: мне где-то в глубине души хотелось мстить за мой жизненный испорченный дебют и за звание, которое мне навязала жизнь, за несправедливости, приведшие к моему положению. Не скоро я разобрался в той истине, что людей, учинивших зло надо мной, давно уже нет, а за то, что зло продолжает действовать по инерции, мстить кому бы то ни было несправедливо. Жить с душой мстительно злобствующей — никогда не обрести родины, нигде. И друзей тоже. Друзьями злобных могут быть скорее всего сходные с ними души, а это дружба скорпионов.

Эх, Тийю, не хочется мне с тобой на эту тему распространяться. А ты помнишь, когда мы гуляли в крапиве и я, что называется, за тобой ухаживал... ты меня спросила: «Ты любишь детей?» Меня потом часто об этом спрашивали, это, я бы сказал, традиционное явление у молодых влюбленных дураков, должное, по-видимому, доказать основательность их отношения друг к другу, всегда какой-нибудь сопливый влюбленный или влюбленная интересуется у другого: «А как ты относишься к детям?» Слово тут же и собираются их с полной ответственностью создавать. А я тебе что ответил? Что ужасно люблю детей, они такие милые... Ты помнишь? Тоже, конечно, врал, то есть играл, — что я в то время мог смыслить в детях?

— Перестань! — отвечала Тийю и задавала мне какой-нибудь новый вопрос — удар молотком по моему не протезированному пока еще месту. Так что от своего хотения я оказался столь же далеко, как она сорок лет назад в Западной Германии. Ну и дела!

Теперь же, сегодня, шагая с рюкзаком по дороге и приближаясь к хутору, я решил: если она приехала — все, я ее прижму, сколько можно меня мучить. Может, я и не идеальный человек, но человек с идеалами, и один из

них — она, черт побери! Не понять этого может только бревно, так же, как бревно не может быть Тийю.

Поэтому ужасно обрадовался, увидев при подходе к дому, окно кухни светится. Значит, все — судьба!

Было уже темно, во дворе ничего не видно, а свет из кухонного окна лился на мой еще живой организм вдохновляющим эликсиром. Я не видел машины, она, вероятно, уже стояла в овечьем загоне, но Тийю приехала, и я ей расскажу не только о том, что мы можем теперь жить здесь в уединении, сколько захотим, — о нет, не только об этом расскажу! Усталости от пройденного пути как не бывало.

26

Войдя в кухню, не успев снять рюкзак, я встал у двери и в немом удивлении уставился на явление, сидевшее за столом. Старик! Очень похожий на покойного Роберта божий одуванчик в белой хлопковой рубашке, почти безволосый и беззубый, беспомощно старался прожевать кусок мяса из глиняного горшочка, оставленного мною для Тийю в печи, и черпал из него с явным удовольствием деревянной ложкой бульон, который ему глотать было проще.

— А-а-а! — протянуло это чучело с длинной, как у старого гуся, шей. — Ты, что ль, пришел... ага, а я... Герберт. Хг-хе-е-е...

Герберт?! Роберт... черт! А она? А Тийю? Значит, не приехала. Откуда же здесь этот Кашей Бессмертный?

— Я вот ем... — прошамкал дед. — Хуги дал. Наверное, твое?! А? Я оставляю. Здесь много. — Дед как будто смутился, взглянул робко.

— Ешьте, ешьте, — подбодрил я. — Мне не надо, я уже поел...

У меня и в самом деле аппетит пропал, хотя всю дорогу я мечтал не только о Тийю, но еще о своем карбонате в печке.

— А Хуги тебе письмо оставил! — воскликнул дед тоном ребенка, который гордо заявляет: а я в штаны накакал! Накакали, это точно: вместо исполнения мечты, вместо красавицы и жаркого — старый хрыч, уплетающий мое мясо. Старик протянул мне конверт дрожащей рукой с жирными скрюченными пальцами.

«Дорогой друг, писатель! — начал свое послание весь-

ма уважительно инженер Хуго. — Обстоятельства сложились так, что вынужден был привезти на свой хутор отца. Это случилось ввиду того, что они с моей женой никак не могут дружно сосуществовать, а в дом престарелых отца родного отвозить, считаю, бесчеловечно. Надеюсь, ты со мной согласишься. А куда же мне его девать? Ему ведь уже восемьдесят седьмой год идет. Кроме меня, у него никого нет. Жена моя — художница, квартира двухкомнатная, мне на работу в колхоз далеко, так что подолгу дома не бываю. И вот пока меня нет, отец лезет рисовать масляными красками моей жены, все полотно испортил, он все себя хочет рисовать, отражаясь в зеркале. А дочка — ей еще только девять лет — за деда заступает, ну и постоянно такая карусель. Жена моя старика не любит, так что он и сам оттуда просто мечтал уехать. Помоги ему, сколько можешь. Мы с братом будем приезжать, продуктами обеспечим. Ему бы только молоко ежедневно кипятить, он молоко любит. Жаль, что тебя не застал; но увидимся, так что до свидания. Хуго».

Такой вот литературный жанр... Первая глава романа в письмах. Тоже очень распространенный жанр. Но где, черт побери, я буду каждый день брать молоко? И чего я больше всего не люблю в мире, кроме яиц, так это кипяченое молоко!.. Сам процесс его кипячения мне просто противопоказан, потому что терпения моего нет караулить это проклятое молоко, чтоб не сбежало... Ну, я понимаю, написал бы он, что старика можно кормить манной кашей, я бы сварил ведро, чтоб хватило на неделю, а тут... молоко. Горячее. Роберт жрал водку, с ним было куда проще.

Молоко, к счастью, было привезено самим Хуго — аж пятилитровая канистра стояла в погребе, в холоде, где я ее и обнаружил по подсказке Герберта, который при этом смотрел на меня таким просящим жалобным взглядом, словно умолял: ты дашь мне утром горячего молочка, а? Да, решил я про себя, да и куда мне было деваться? Но стало понятно и то, почему мне не надо плакать за проживание в доме. Может, мне еще взять сюда парочку-другую старичков, пригласить Таймо в качестве поварахи и организовать этаким небольшой частный пансионат или дом престарелых?

Старичок к тому же оказался словоохотливым, как в большинстве пожилые люди, и любознательным. Пока

я разбирался, как он устроился (в комнате покойного Роберта), он меня буквально забросал вопросами обо всем, меня касающемся и не касающемся. Он со всем соглашался. Спрашивал, я отвечал — он соглашался.

Я не женат? — Да, да, хорошо, а что хорошего в семейной жизни, вот у Хуго...

Ах, женат, но жена далеко? — Да, да — хорошо, когда жена есть, но далеко...

Я ему соврал, что есть еще и другая — здесь, что она в отъезде. Он опять согласился: да, да, это хорошо, когда две жены, одна — там, другая — здесь...

Но дед Герберт в отличие от деда Роберта о женщинах предпочитал не говорить. В отношении к собачьему роду он также отличался от циничного Роберта. В этом я убедился через несколько дней.

Днем он обычно ковылял по двору, пытался что-то насвистывать, искал дело, а делать было нечего. Потом где-то в округе пропадал, так что из своего окна я его не видел, а вечером, выйдя во двор, я ахнул: старик сидел у ворот на сваленном сто лет назад, заросшем мхом мельничном жернове, около него четыре собаки... Откуда они взялись? Когда был жив Роберт, собаки и близко к хутору не подходили. Теперь же эти четвероногие уткнулись носами в старика и о чем-то «беседовали». Я подошел ближе. Собаки вскочили и встревоженно оскалились. Старик их успокоил, а мне сказал:

— Ну что на них смотришь? Сука она обыкновенная, бродячая. А эти — ее дети родные, такие же бездомные... Что они, хуже лают, чем какая-нибудь породистая? Живет у соседки такая жирнюга, ей уже и лаять лень, до того расперло. А кусаться чтобы... Куда там! Э! Разве это собака? А эти тебя так облают, если за дело... Без дела не будут — умные, много повидали. И загрызут, если надо, будь здоров.

Однажды утром мне показалось, что в нашем дворе собрались собаки на какую-то свою конференцию — столько их сбегалось. И дед у них был председателем: куда он — туда и собаки.

Оказался я опять на хуторе со стариком, с другим теперь по имени, прибавилась орава собак, хорошо еще, что их не надо было поить горячим молоком и вообще не мое это было, как говорится, собачье дело, чем они питались. Старика же я молоко кипятил каждое утро, а телевизора, привезенного Тийю, лишился, потому что в пер-

вый же вечер дед, глядя опять жалобно, как малое дитя, спросил:

— Можно, я у тебя телевизор посмотрю?

— А чем вы интересуетесь?— спросил я у него.— Если что интересное будет, я вас позову...

— Я всем интересуюсь!— воскликнул он, вытянув шею, моргая своими синими детскими глазами.

Тогда я взял телевизор и установил его в комнате деда. Я эту породу людей хорошо знаю, которые всем интересуются...

Дед было заскромничал:

— Что ты, сынок, не надо, а сам подымусь...

Но я ему объяснил, что молоко еще куда ни шло, но телевизор у меня смотреть нельзя, потому что я сильно занят.

— Может, ты рисуешь?— спросил он как-то ехидненько. И устроился поудобнее у моего телевизора, который я поставил в его комнате так, чтобы можно было смотреть прямо в постели. Я сам так люблю, хорошо засыпаю под телевизионные речи, главное не проспать, когда надо выдернуть из сети. Теперь спускался по вечерам проверять, выдернул дед провод или нет, а то ведь черт знает что может приключиться.

В Тарту та же забота. Таймо тоже обожает смотреть телевизор и только включит — уже храпит, а выключаться самостоятельно эти ящики еще не научились.

Одним словом, оказался я в плену. Уехать нельзя по крайней мере до приезда Хуго, чтоб можно было ему объяснить, почему не могу постоянно варить молоко, свои какие-то дела имеются — в город съездить, в библиотеку, мало ли что наврать, этому меня не учить. А пока...

Я записывал мысли и впечатления, которые меня постоянно одолевали. Это, видно, участь всех, кто пошел учиться в школе и учится у жизни: обычно в школьных знаниях ты не сомневаешься — раз в школе преподают, значит, правильно; тот же, кто у жизни решил учиться, постоянно неуверен, сомневается, перепроверяет — нудный и медленный процесс созревания. Тем более трудный, когда совершенно неожиданно ты обнаруживаешь, что дожил до момента, когда тебя всерьез стала занимать твоя собственная позиция...

Что же к этому привело?

Трудно оставаться равнодушным наблюдателем. Жить в обществе и не переживать за его здоровье — прояв-

ление враждебности. Я же всегда видел, что вокруг меня жизнь бродит, меняются руководители, меняются стили работы в различных министерствах, как и сами министры, тут и там идет поиск нового, лучшего, и все эти наблюдения говорят о том, что какое бы ни было вокруг меня брожение — оно для прогресса, для улучшения жизни человеческого рода.

Так что была, очевидно, тяга к честности, которая привела к думам о гражданской позиции и меня... наконец.

Помню, как однажды разозлился из-за биографии одного француза, из-за его письма перед казнью. Он был умный, талантливый, но его расстреляли не немцы (как он сказал), а фашисты, и зачем было говорить, что смерть ему не страшна, потому что жил он честно, как подобает французу?.. При чем тут Франция? В ней тоже были и есть предатели, как они есть везде. Почему же он не написал, что жил достойно — как должен жить человек? Что же, и честность — принадлежность национальная?

Я помню, как в Москве, зимою, однажды ночью ходил на Красную площадь. Холод, ветер, безлюдно — три часа ночи. Стоят лишь часовые у Мавзолея недвижимо, словно статуи...

О Ленине я всегда думал как-то отвлеченно, примерно так же, как в детстве о боге, когда мне бабушка внушала, что он есть, что он все видит и знает, что бог — основа всего, его надо бояться и любить. Мы, дети, видели его только на картинках, и был он вовсе не страшен — дед с бородой, и только. Мы его не боялись и не особенно любили, а есть он или нет, нам было все равно. Мама важнее.

Я сильно удивился, убедившись, что есть взрослые и вроде бы сознательные люди, которые сегодня относятся к Ленину примерно так же. Других бога любить поучают, а сами живут, словно его и знать не знают.

Однажды в довольно приличном городе я был приглашен на конференцию учителей. Идя туда пешком, развлекал себя тем, что считал на заборах, стенах, в газетных киосках изображения Ленина. Увидев сразу четыре портрета на плакате, я спросил себя: зачем так много? Пока дошел до конференц-зала — три квартала — насчитал тридцать семь изображений. А сколько их по всему городу?

В зале я просидел два часа. Присутствовали преи-

мужественно женщины. На трибуне они разворачивали конспекты и монотонно зачитывали. Кругом слышались разговоры о чем угодно, даже обсуждались рецепты изготовления варенья из кизила, с трибуны же доносилось усыпляющее бормотание, цифры, цитаты. Неожиданно что-то изменилось, стало тихо. Худенькая нервная женщина говорила... то есть не читала, а говорила... Нескладно, но говорила о своем деле — между прочим, что школьники совсем не интересуются литературой о Ленине. И я вспомнил тридцать семь изображений Владимира Ильича.

Вероятно, школьники (как и я в детстве — о боге) знают с рождения, что Ленин — вождь мирового пролетариата, а его портреты можно увидеть на каждом углу (изображения бога можно увидеть только в Библии или в церкви), зачем же школьникам, подросткам какая-то специальная литература о нем? Им мяч или хоккейная клюшка ближе...

А Ленин и здесь, в зале, на огромной картине стоял во весь рост, одна рука поднята вверх, другая прижата к сердцу — учитель. Его вдохновенная поза говорила всем: разбуди меня в любой час ночи и спроси о чем угодно, касающемся моего дела, я отвечу немедленно, потому что этим живу. Здесь же в зале... учителя, не стесняясь его присутствия, зачитывали свои с трудом написанные конспекты, которые никто не слушал. Они никому не были нужны. О чем говорила та нервная женщина, я запомнил; те же сотни «проблем», что зачитывались по конспектам, — забыл тотчас. А сколько пишут, говорят, поют, что... Ленин всегда с нами! Так ли?

Как-то странно и непривычно представить, что я родился всего лишь семь лет спустя после смерти Ленина...

Стало быть, я вполне мог родиться и при его жизни! И революция была, в сущности, недавно? Так что все с ней связанное — в литературе рассказанное, в кино показанное — это не предание древних времен, как об Иисусе Христе, превратившееся в легенду, а реальное, действительно...

А я, невесть где родившийся, где-то скитавшийся, вдруг оказался здесь и разгуливаю в три часа ночи в каких-то сорока метрах от Мавзолея Ленина... Что ни говори, а все это более чем удивительно.

Но даже в этом чувстве удивительного скрывалось для меня какое-то грозное предупреждение, порождавшее

беспокойство, тревогу. И я понимал ее природу. Но избавиться от этого помог бы шаг... которого я тогда сделать был еще не в состоянии.

Хотя еще до того, как поселиться в Москве, я знал (я это наблюдал), что не все граждане искренне торопятся приносить пользу обществу, о которой неустанно твердят с любой высоты, но эти наблюдения до сих пор как-то не тревожили, даже наоборот — вселяли в меня оправдательные размышления: мол, нет святых даже среди лучших (судя по положению, каковое они занимают) людей нашего общества, значит, и от меня этого требовать никто не вправе.

Но ночью на Красной площади смысл этих наблюдений обозначился как-то неожиданно остро, и сама эта морозная ночь, и тишина, они словно шептали мне: все-то ты знаешь, ты все понимаешь, и причина твоего беспокойства тебе отлично известна. Ты просто малодушен, чтобы на что-то решиться, вот ты и ищешь себе оправдание в поступках таких же малодушных, в их образе жизни. Но здесь-то... Здесь-то, на этой площади, что стусевался? Это не Бутырка. Живи как жил или продолжай прятать свой хвост... в бутылку с водкой.

А днем подслушал в трамвае разговор двух женщин. «По телевизору сейчас ничего интересного, сплошная ленинская тематика»... А ведь они не школьники, подумалось с обидой. Их дети — да, школьники. Те самые, которые совершенно не интересуются литературой о Ленине. Но разве в том виноваты хотя бы эти две женщины?

У трамвайной остановки опять на плакате портрет Ленина, а сам плакат на заборе, в конце которого пивная, окруженная грязным, галдящим, пьяным гомоном мужиков...

27

Приезд Тийю был для меня воскрешением из мертвых. Это событие заслуживает подробного рассказа.

Было утро, но еще темно. Ведь ноябрь... Собаки всю ночь выли и лаяли.

Вставать не хотелось и не было необходимости. Я даже не знал, который час. Может, пять, может, больше. Во всяком случае, до девяти можно было валяться в постели, а там уже и светлеет.

Вставать рано необходимо богатым,— так Зайчишка

считала. Она обычно, когда разрешала себе «понежиться» в постели, говорила: «Пусть мне богатые завидуют». Действительно, чтобы иметь деньги, надо рано вставать: «Кто раньше встал, тому и бог дал».

Старик еще спал. Принято считать, что старые люди — ранние пташки. Но как во всем, так и здесь — у каждого по-своему. Возможно, он не спал, лежал с открытыми глазами, мечтал (наверное, и у старых людей есть о чем помечтать). Он рано из своей комнаты не выползал, если не слышал, что в кухне уже что-то делается. Я убедился, между прочим, что, в отличие от Таймо, он телепередачи смотрит во все глаза до конца и, когда ложится спать, не забудет выдернуть шнур из сети. Каков молодец! Я его уже почти полюбил.

Так что было темно. Но я так устроен, что безошибочно ночью определяю время без часов. Я знал: уже утро. Летом, когда открыты окна, о времени узнаешь от петухов из дальних усадеб. Мы жили без петуха, даже без кошек теперь, когда полон двор собак. Я лежал в темноте и... сказать, что о чем-то думал — нельзя, я не думал. Вспоминал? Тоже нет. Хотя воспоминания — да, они были, как-то удивительно, беспорядочно толпились у выхода из кладовых моей памяти — все сразу; здесь и картины детства и сегодняшнего времени; они, как теперь часто встречается в кино, перескакивали с недавних событий в прошлое, во Фленсбург, в Молдавию, на Сахалин, с Сибири — на Москву, захватывая одним мгновением и Урал, и Украину, словно я в одно и то же время был во всем мире, везде, где мне доводилось в жизни побывать, и в тех местах, о которых лишь приходилось слышать хотя бы от этих же «специальных людей»; сюда же вклинивались образы городов и стран, которых я не видел никогда даже во сне.

Я был на родине Паскаля, я присутствовал в Париже при Наполеоне Бонапарте, и в Америке переживал судьбу Джона Брауна лишь потому, что какая-то извилина памяти вдруг выделила мелодию песни о Джоне Брауне; одновременно со всем этим пришли мысли о слепоте... моей матери, и наряду с ними совершенно вроде бы неуместно я вспомнил Бухенвальд, но при чем здесь бункер Гитлера? Хотя связь, конечно, есть...

Это бдение в темноте нельзя назвать ничем — хаос картин, мыслей, путаница воспоминаний, но все это проносится перед мысленным взором с какой-то компьютерной

скоростью, стремясь остановиться на чем-нибудь реальном.

Но где-то в темном углу комнаты я уже вижу Зайчишку. Ее всегда лучистый облик теперь посерел. В ее взгляде, обращенном ко мне словно откуда-то из далекого мироздания, мучительный вопрос: что делать? И я вижу другую картину...

...Весна. Деревья уже оделись в зеленое. Родильный дом. Я тороплюсь к стоянке такси. О, я очень быстро шагаю, меня трудно догнать. На руках у меня большой сверток. Он не тяжел — ребенок, завернутый в шерстяное одеяло. Девочка. Она то ли скрипит, то ли кричит... Этот звук невозможно описать, какое-то кы-г-г-гх. Слабо шевелится — живет уже. Человечек родился.

Еще недавно его не было, не существовало, считай, что был мертвым, в том самом состоянии небытия, которого люди так боятся. А теперь я этого человечка несу на руках — девочку ростом в сорок пять сантиметров. И если я ее уроню, она запросто может опять перестать существовать...

Но я ее не уроню. Донесу до стоянки такси, даже дальше — довезу, куда надо. Потому что у нее уже и имя есть — Наташа. Ничего особенного, их миллионы в мире, Наташ, так что одной больше, одной меньше... Возможно, именно сейчас где-то в мире какая-нибудь Наташа погибает от несчастного случая, а другая умирает от болезни или старости, и в их судьбе мне участвовать не дано, но эту Наташу, в одеяле, мне надо нести, потому что жизнь у нее есть, имя тоже есть, отца только нет.

Он далеко. А где ему еще и быть, если человеку страшно хочется разбогатеть, это только далеко возможно, близко не заработаешь. Вдали, по крайней мере, жизненный опыт, ум, специальности разные приобретешь наверняка. Все это нужно, когда уже два «окунька» растут... Вероятно, не скоро ему удастся разбогатеть, ну где-нибудь лет через десять, но дети... Эти цветы, если посажены, взойдут и как-нибудь с божьей помощью да будут расти. Так что и Наташа, если я ее не уроню на каменный тротуар, вырастет.

Нет, я не уроню. Тем более, что сзади бегут, стремясь не отстать, Зайчишка с Маринэ. Последняя, догоняя, то и дело проверяет, не потерял ли я ту, что шевелится в свертке. Хотя книги она не читает, чтоб «не забивать себе башку ерундой», но душа у нее болит

за своего ребенка. Нет, Маринэ, я ее не потерял, несу. Хотя, честно признаться, не привык я разгуливать с подобной поклажей, потому и мчусь с такой скоростью...

Здесь картина оборвалась. Во дворе выли собаки, потом остервенело залаяли, послышался шум приближающегося автомобиля, в окно ударил луч фар. Приехала Тийю. Кто же другой в такую рань?

Я живо выбрался из кровати, залез в тапочки, накинул халат и спустился открывать. Собаки продолжали остервенело тявкать на все лады, и я твердо решил их прогнать — хватит с меня этого собачьего конгресса!

Открыв дверь, я встретился с Тийю. Она была одета в дождевик, хотя на дворе было совершенно сухо. И было бы тихо, если бы не собаки. Она заглянула в глаза как-то необычно серьезно, грустно, задумчиво. В утреннем сумраке она мне показалась совсем такой же, как во Фленсбурге.

Я вспомнил наше первое свидание в школьном классе. Я даже не помню всю эту наивную прелюдию нашей игры в любовь, но она якобы в чем-то провинилась передо мной, за что я якобы имел право ее судить и вынести решение. Мы сидели рядом в темном классе, и я не знал, с чего начать...

Я говорил, но мне хотелось не слов, а дел. Но как начать? Потом вынес мудрое решение: смерть через... удушение в объятиях. Глупее что-либо трудно и придумать, но я-то себе показался тогда, в свои пятнадцать лет, невероятно остроумным, тем более что жертва не возражала. Мы тут же начали приводить в исполнение приговор, обнялись, и я впервые в жизни по-настоящему целовался. О, до чего же долго и часто мы совершали эту казнь!

Теперь мне хотелось опять заключить ее в объятия, но я лишь сказал, что очень ее ждал, а собаки...

А собаки лаяли и выли. Я принялся объяснять Тийю, что я — полный хозяин хутора с разрешения Хуго. Говорил про старика, как он ел наше мясо...

— Откуда столько собак? — спросила Тийю, но мне показалось, что ей безразлично, есть они или нет. Мы стали подниматься в наши комнаты, я говорил про собак, но и мне тоже было не до них: она устала, подумалось мне, ей надо отдохнуть с дороги, да и я... не доспал. Заодно, решил я, поделюсь с ней некоторыми заботами.

Ах, заботы заботами, они всегда в наличии у каждого

человека, но я ей откроюсь так, как открылся бы разве что матери, хотя... Как открываются матери? В общем-то, я не знаю. Может быть, это потребность кому-то все о себе рассказать, вывернуть душу наизнанку — исповедоваться не всем свойственно, но я всегда мечтал, чтобы была у меня женщина (именно женщина), перед которой не стыдно все о себе рассказать, однако такое скорее всего возможно, лишь когда тебе еще хотя бы до сорока, а в пятьдесят уже поздно, и то, в чем хотелось открыться, останется во мне, вместе со мной умрет. Разве что Тийю...

Мы уже стояли на верхней ступеньке лестницы, когда Тийю сказала:

— А этот старик-то... ему что же, не спится? То-то я удивилась, когда увидела свет в комнате старика Роберта... Подумала: уж не дух ли его появился?

Во дворе опять заскулили собаки. Меня пронзила неприятная догадка. Ничего не ответив Тийю, я бегом ринулся вниз. В кухне было темно. Я постучался к старику. Ответа не было, но узкая светлая полоска под дверью подтвердила: внутри горит свет. Я толкнул дверь...

Старик сидел в кресле-развалюхе перед телевизором, который не выключался из сети, перегорел. Старик спал. Он уснул навсегда. Это и собаки подтвердили, протяжно завывая.

28

Еще держался я за холодную руку старика, когда глухим стоном вырвалась жалость к самому себе: что за невезение! Жизнь совсем не считается с моими мечтами; как бы я ни старался, в какую бы сторону ни повернулся, нигде ничего не выходит так, как хотелось. Но почему? Или я очень скверный человек? Может, хуже всех? Может, я нечестен? Господи! Мне же известно, как припеваючи и вольготно живется просто невероятно подлым негодьям, хотя они воры и грабители, иезуиты и лицемеры и вообще прохвосты. Почему же такая несправедливость?

Вероятно, этот вопрос меня не волновал бы, если бы все складывалось удачно и у меня... Нам не нравятся буржуи, они за наш счет хорошо живут — долой их, на их место сам устроюсь и заживу... как буржуй. К сожалению, так бывает.

Все равно как у зубного врача: ждут очереди, злятся, волнуются, ругаются — долго, безобразно, с нашим временем не считаются, жаловаться надо. Потом настанет очередь кого-нибудь из них, он у врача, сидит, глядит умильно в глаза, разинув рот, и что же?.. Может, вас теперь в спешном порядке обработать? Тр-р-р — дырку в зуб, пломбу-кляп и топай?.. Как бы не так! Теперь вам угодно, чтобы врач внимательно отнесся, обследовал тщательно, детально, больно не делал, обработал, а время... При чем тут время! Здоровье дороже. Свое здоровье...

Так что поговорить с Тийю не удалось. Надо было отпраляться в поселок и звонить Хуго. Он приехал после обеда, вместе с ним врач, словно он мог еще понадобиться покойнику. Меня, естественно, занимала мысль: не откажет ли мне Хуго теперь в квартире, раз молоко кипятить больше нет надобности.

Целый день гонял собак. Они уходили, злобно рыча, но тут же воровато возвращались. Конечно, когда зима на носу, то и собаке бездомной веселья мало. Собаки же не умеют рассказывать за корм и ночлег выдуманные истории, подобно «мальчику, который ходит», хотя, вероятно, у них есть о чем рассказать.

Похоронили Герберта на местном кладбище. Провожали его Хуго с женой-художницей, их маленькая дочка, таксист — брат Хуго, который их привез. Из поселка пришли три брата-холостяка, местные выпивохи, живущие на подхвате; они, оказывается, и на похоронах старика Роберта присутствовали, помогали. Приглашают их в качестве тягловой силы: гроб нести, поднимать на машину, снимать, в яму опускать. Шестым носильщиком был, конечно же, я. Из-за меня чуть не сломали Герберту шею после смерти: подвело мое плечо, которое я вывихнул еще при жизни Роберта. Я шел в первой паре, а когда плечо пронзила острая боль, то свой угол гроба опустил, от неожиданности и другие его не удержали, и тяжелая, из сырых досок, гробина грохнулась.

Тийю осталась на хуторе, готовила стол.

Но вот этого симпатичного деда опускают в яму. Соблюдаются кое-какие традиции, бросаем по горсточке земли, речей нет, таксист лишь коротко сказал:

— Прощай, дед. Чудаковатый был дед... напоследок. Спи спокойно.

Вот и вся речь. Никто и слезинки не пролил, даже

маленькая девочка в желтых, под цвет листвы на деревьях, резиновых сапожках. Она, насупившись, хмуро на всех поглядывала.

Место было красивое, вокруг аккуратные могилки, желтый песок, ярко-красные цветы, свечи, воткнутые в могильный холмик, молодые елочки — тихое место. Если уж быть погребенным, то лучше здесь, в зелени, чем, скажем, на московском кладбище, там много железа, решеток, даже замки на оградах могил, а к решеткам любого вида у меня устойчивая аллергия.

Нет, Хуго не собирался выставлять меня из дома из-за того, что отпала необходимость кипятить молоко. Сторож ему все равно был нужен, к тому же он видел, как мне теперь по нескольку раз в день приходилось разгонять собак.

Все началось с мышей, их при Роберте в доме кишмя кишело. Я сам притащил из поселка кошку, оказавшуюся жуткой проституткой, так что от котов скоро житья не стало. Правда, мыши исчезли. Когда же Герберт завел собак, исчезли, конечно, кошки. Но кого же мне теперь завестить, чтобы избавиться от собак?

Не только необходимость иметь сторожа заставила Хуго оставить меня на старых условиях, но и еще его аналитический ум. Мы, конечно же, выпили за упокой души усопшего Герберта — даже непьющий Хуго: смерть всегда настраивает людей на такой философский лад. Говорили о жизни, анализировали дела человеческого рода как бы с самого его начала.

— До господ единого люди были? Убивали они друг друга?

— Убивали. За еду и женщин. Чтоб весело было — убивали. Убивали просто ради того, чтобы убивать. Мучили, пытали — людей и животных. Гладиаторы...

С появлением бога стали убивать в его честь. Сначала сотнями, потом тысячами, сотнями тысяч. Были войны — столько, что нетрезвым языком трудно все перечислить. Войны короткие и долгие и очень долгие, даже столетние — и убивали, убивали, убивали...

Потом кончилось варварское средневековье.

Миновало и другое совершенно бескультурное время, богатое революциями, всевозможными освободительными войнами — землю планеты удобряли кровью и трупами, буйно росла трава. Государства меняли свои структуры и очертания границ.

Потом во всей этой религиозно-политической неразберихе выделились социалисты и капиталисты, образовались противоборствующие партии и опять пошло-поехало, загрохотали пушки, забухали бомбы, и убивали, убивали, убивали — миллионы, десятки миллионов убитых; опять пытали, выкалывали глаза, рвали ногти, варили живьем и закапывали живых.

Прошло и это время. И вот мы пьем водку за упокой души одного умершего собственной смертью, а на земле в это время идут войны тут и там, освободительные — здесь, закабалительные — там, войны маленькие и побольше. А самые большие цивилизации на планете готовятся к глобальному уничтожению жизни.

— Самое главное — люди это знают. Сознательно идут к катастрофе, а остановиться не могут. Мысль не может не развиваться, не создавать, не изобретать, но производит все вместе: нужное и ненужное, полезное и вредное, то, что лечит, и то, что убивает, созидает и разрушает. Хаос, говорят, был до сотворения, и он остался после него. Когда умные люди говорят, что добро и зло — ерунда, что они не стоят разговора, что ссылаться на них даже несерьезно, что не в них дело, а в разумности... Надо быть разумным! А какой он, разумный? Не добрый и не злой? Ни рыба ни мясо. И нет, значит, никаких полюсов? Но как же нам стать такими бесполюсными да разумными? С чего начинать?

— С трезвости, Хуго, с трезвости.

Мы с тобой здесь чем занимаемся? Пьем водку и говорим. Анализируем... Что-нибудь от этого изменится в мире к лучшему? Или мы сами станем лучше? Что мы делаем для того, чтобы было иначе?

Люди все говорят... Кто о чем. Тра-ля-ля — и все. Звуки, которые погасли, и их нет. А дипломаты? Их разговоры, речи, обещания — звуки. Они говорят, доказывают, убеждают, отрицают, борются — жизнь же уже тысячи лет совершенствуется, развивается все время в одну сторону — уничтожения, несмотря на осознанное стремление к разумному. Люди открывают чудеса научно-технических возможностей, способных благоустроить жизнь буквально всех людей Земли, и ведь все люди на земле это понимают; в то же время чем больше открывается чудес, тем больше вырастают арсеналы уничтожения. Но люди говорят... И чем больше говорят об опасности войны, тем меньше эту опасность ощуща-

ют — привыкли, само понятие войны стало абстракцией. И бесконечные разговоры о войне делают нас невосприимчивыми к ней...

Когда-то, Хуго, мудрецы спорили, что было вначале — слово или дело. Что было вначале, я не знаю, но последним будет скорее всего дело. Оттого, что слово употребляли все, оно выдохлось. Я помню одного руководителя, который обещал нашему народу коммунизм за какие-то двадцать лет. Давно миновало это время, и он уже умер, и — был прав, когда обещал, ведь он знал о мудрости Ходжи Насреддина: «За двадцать лет либо ишак сдохнет, либо эмир, либо я умру»...

Разве разумно слово, вызывающее недоверие?

Я думаю, человечеству трудно избежать войны еще и из-за разрозненности людей и стремлений. Даже мы — на лучшей половине земного шара — живем собственническими инстинктами (кроме тебя, Хуго) и с ними не боремся, даже не пытаемся (боремся лишь на словах, а о слове уже все сказано), мы теряем ту действительную силу, которая могла бы быть противопоставлена войне. Мы все больше живем бездумно, а чтобы мобилизоваться, надо быть способным на отказ от личных удовольствий, на самопожертвование. Но мы с каждым днем все меньше способны жить не для себя.

Когда показывали двадцатисерийный документальный фильм «Великая Отечественная», я подумал, что его следовало бы демонстрировать ежегодно, и как же умаляют его значение дешевые «художественные» пародии на войну типа «Особо важное задание» (выполненное по заказу Гостелерадио). «Великая Отечественная» страшна кинохроникой, фильм правдив и поучителен сам по себе. Неужели же хорошо устроенные жулики так ничего и не смыслят в истории и в ее отношении к сегодняшнему дню? Что было, что есть и во имя чего это делается? Они даже не хотят почувствовать ту особенность, какая свойственна нашей стране в глазах людей мира, испытать гордость за то, что все человеческие и гуманные начинания идут от нас, что именно из-за этого наша страна приобретает все большую популярность в мире, что это и есть настоящее величие.

Наряду с этим величием... у себя дома позорное крохоборство, забвение человеческого достоинства, продажность ради куска повкуснее и начисто забытые идеалы, во имя которых пережито столько страданий. Ей-богу,

не стоило сражаться с одной буржуазией, чтобы позволить образоваться другой! А ведь в нашу страну со всего мира приезжают учиться тысячи людей...

Самое чудо из чудес — если этот процесс остановится. Но остановится ли?

После войны дети часто находили патроны, гранаты и играли ими, часто эти развлечения скверно заканчивались. Но взрослые обычно успевали отобрать у детей такие игрушки. Кто отнимет опасные игрушки у человечества? Некому. У человечества нет папы. Разве что папа римский...

Война — самое большое в мире зло. А возьмем зло поменьше — алкоголизм. Как пробный вариант. Если не будут люди пить, если действительно остановятся, прислушаются, и алкоголизм будет побежден, тогда можно поверить и в то, что войны можно избежать.

Война и алкоголизм, таким образом, Хуго, хотя вроде и не имеют ничего общего, тем не менее взаимосвязаны, то и другое — безумие, в конечном счете зло.

Три брата-холостяка, фирменные гроботаскатели, пьяненькие, спали вповалку в комнате усопших стариков, жена Хуго с дочкой и Тийю удалились наверх. Тийю успела мне рассказать, что ее муж тяжело болен — хуже, чем сначала показалось...

Итак, Хуго меня не выставил. И квартплату не назначил. Правда, как и многие до него, полюбопытствовал, какое меня ждет вознаграждение за мой труд.

— Это как в рыбной ловле,— объяснил я ему,— можешь поймать маленькую рыбешку, но и большую рыбину — зависит от наживки, что на крючок нацепишь... Если достойная приманка, то и рыба солидная клюнет... Но можешь ухлопать уйму времени, а, кроме геморроя, ничего не высидишь, так что топаешь в магазин... купить рыбу.

29

После отъезда Хуго и всех прочих нам с Тийю досталось с уборкой дома. Отвезли в ремонт телевизор за двадцать пять километров. Вечером решили немного расслабиться, в «семейном» кругу поужинать,— тихо, уютно. Накрыли стол в моей комнате. Затем я еще раз

дал во дворе жару собакам, закрыл двери и, поднимаясь по скрипучей, как у Таймо в Тарту, лестнице наверх, почувствовал себя наконец-то хозяином положения.

И вот мы с ней одни, совсем одни. А на столе у нас и водочка есть, и рыба копченая, и квас, и даже кофе сварили, есть и печенье, и шоколад. Так что настало наконец время...

Как начать? Удивительное дело! Еще лет десять — пятнадцать назад я никогда в похожей ситуации не терялся. Что же теперь случилось? Откуда такая робость, словно мне опять пятнадцать лет?..

Тийю молча меня рассматривала, словно ждала.

— Устал?

— Не то чтобы...

— Ну давай?

Разлили. Принято считать, что водка обычно в таких ситуациях помогает, подсказывает нужные слова. Выпили за наше... детство. Тийю так и предложила:

— Давай выпьем за наше счастливое детство.

Ну и «счастливое» же оно было у нас!

— Да. Счастливое.— Тийю смотрела с укоризной во взгляде.— Хотя бы уже потому, что... было. Ведь больше никогда не будет.— И добавила:— Я всегда вспоминаю Фленсбург. Бомбоубежища, где мы с тобой играли в прятки после войны...

— И меня?

— И тебя. Но я знаю, о чем ты сейчас думаешь,— сказала Тийю.— Если честно, я тоже об этом немало думала. Ты знаешь, чего нам сейчас больше всего не хватает?

Я не знал.

— Нам времени не хватает.— Тийю оживилась, на меня же водка пока не подействовала никак, меня потянет позже, после десятого тоста...— Нам не хватает времени, чтобы могло еще быть будущее, если бы мы... ну, на что-то решились.

Разговор, кажется, повернул не в ту сторону...

— А собственно, почему бы нам не решиться?— встал я, хватаясь за удобную подсказку.— Не такие мы еще дряхлые. Ты читала в газете объявления бюро знакомств, какие там встречаются возрасты, по семьдесят, и те пишут... Мы же всегда друг друга знали.

Во дворе затаивали собаки — вернулись опять. Я это зафиксировал механически.

— Он... тяжело болен,— сказала Тийю грустно.— У детей своя жизнь, и без меня он останется одиноким. Однажды я заболела... Долго лежала в постели. Он был со мной неразлучно. И это было хорошо. Дочки приезжали-уезжали, они за меня, конечно, переживали, но их думы были уже не совсем со мной. Он же, даже когда отлучался, был рядом, я не чувствовала его отсутствия...

Не стану рассказывать о том, как выглядела Тийю, во что была одета, как сидела, вздыхала или зевала, или что выражали ее глаза; что она была хороша — и так ясно, иначе какой во всем смысл; но ее грустный рассказ возбудил во мне совсем неуместные воспоминания — о другом, очень милом и, в сущности, тоже одиноким человеке, о маленьком Зайце.

Ведь и ее сын, наверное, своими мыслями бывает с ней только тогда, когда она ему нужна, вернее не она, а то, что она в состоянии дать. Может, он и не виноват в том, что он такой, как не виноват крокодил, что он — крокодил, а дальтоник разве виновен, что не отличает красное от зеленого? Но Зайцу от этого не легче. Как каждой матери, ей больше всего в жизни мечталось гордиться своим сыном, радоваться его успехам, а тут... Но она-то в чем провинилась, за что ей такое наказание — за доверчивость? Что поверила однажды негодяю? Нет худшего преступления, чем обмануть доверие!

— Я легко могу тебя понять,— согласился с Тийю без притворства. Какое может быть притворство с человеком, которого любишь? Мне хотелось не только открыться ей в чувствах, а исповедаться. Да не для того, чтобы своей цели достичь, а скорее всего, чтобы добиться ясности в собственной душе. Что я должен? На что имею право? Что еще могу?

— Я легко могу понять разводы,— продолжал я свою мысль,— когда это сразу после свадьбы, но не могу понять, когда расходятся, прожив вместе целую жизнь. Действительно, когда-то я думал, что за десять — пятнадцать лет люди порядочно надоедают друг другу и поэтому расставание закономерно. Но все же я сам чувствую, что именно багаж вместе прожитых радостей, удач-неудач или бед укрепляет связь двух людей. Ведь чем мне на самом деле Заяц дорог — я не говорю о ее человеческих качествах, ибо не будь их, мы и не были бы никогда вместе,— она мне дорога прежде всего тем, что мы

вместе страдали и бедствовали, сражались с невзгодами и друг другу помогали; радовались солнцу, когда оно светило, и тому хорошему, что на нашу долю выпадало. Все это со счетов не сбросишь!

Я бы не мог теперь полюбить какую-нибудь красавицу (даже хорошего человека), у которой все благополучно, которая горя не знала,— не хватает вместе прожитого, когда делятся куском хлеба. Между нами, Тийю, это именно ее заслуга, маленького Зайца, что меня выпустили из Бутырской тюрьмы, когда яйца унес... Это она начальство высокое теребила и добилась своего. Конечно, Тийю, мне ее не хватает, уж очень это чистая душа, детское существо, которое совершенно искренне поверило однажды, что мне оперировали желудок и поставили пластмассовый. «А разве это можно?»—спросила лишь. Или, читая книгу, удивилась: «Разве муравей по дереву ходит?» Вот только, Тийю, целоваться она совершенно не умеет, черт побери!

— Совсем?— поразилась Тийю.— И никогда не целовались?

— Целовались, каждый день. По-детски, чмок...

— Что же ты не научил? Может, она еще научится?

— Нет, уж если пятнадцать лет только чмокались, то теперь не научится.

Тийю задумалась немного, не переставая улыбаться.

— Зато у нас с тобой во Фленсбурге все заключалось в поцелуях. Классные они были. И кончилось ими...

— Началось — да, Тийю, но насчет конца... Что-то не помню, чтобы мы хоть раз поцеловались, начиная со дня встречи здесь.

— Какие еще поцелуи! Э-э!.. Скоро ты меня или я тебя разве что чмокну разик еще... в холодный лобик.

Вот теперь она вздохнула или зевнула — не понять. Но я осознавал уже, что не в ту сторону развивается разговор, хотя ничего не мог поделать, говорили-то мы правду, и она, что называется, вела меня.

Да, конечно, Тийю намекнула на то, что мы уже не первой свежести были любовники, и, что говорить, была права. Я из состояния своего когда-то прекрасного организма секрета не делал... У меня раненые ноги, их не раз оперировали. Позвоночник, когда поворачиваюсь в постели, скрипит. Зубы уже давно не свои... Волос осталось мало. Сердце работает как ему вздумает-

ся. Пальцы правой руки не разгибаются, особенно мизинец, который укусил один пьяный...

А Тийю мне только безжалостно поддакивала.

— Ты и я... Мы могли бы быть целое, — прервала она меня наконец, — но жизнь нас развела. И каждому из нас дарила судьбу. У тебя — она, у меня — он. Мы, может, не были для них безупречными супругами именно потому, что должны были быть с тобой, вдвоем, вместе, друг для друга. Но для них мы значили в жизни все. Они нас выбрали, ни о чем не подозревая. Да что можно подозревать в тех, кто сам не знает о себе, где они и что... — Тийю все-таки немного разговорилась от водочки, — они нас выбрали, и разве не должны мы быть за это благодарны? Они нам не изменяли. Любили нас как умели, цело... чмокались с нами, они нам самих себя отдали. Что же они, в чем виноваты? Мы же их приняли?

У тебя — она, у нее — горе-сын. Она себя чувствует перед ним виноватой уже за одно то, что родила его... от отца-подлеца. Она не может осудить сына за то, что он в отца пошел. Она дала ему жизнь, не зная, что это причинит зло и ей самой, и сыну, его детям, и тебе. Куда теперь ей деваться? А тут еще и ты... ей не помощник. И мы с тобой не имеем права приносить в жертву своему удовольствию других людей... Особенно мы, потому что на себе испытали, что это такое — быть жертвой.

— Я не помощник?! — Мне это обвинение показалось незаслуженным. Разве я не был для Зайца другом? Разве она не была для меня во всем на первом месте?! Разве все лучшее, что было мне доступно, я отдавал не ей?! Другое дело, что я плохой добытчик, и не очень-то много было чего отдавать. Были у меня заскоки, и левые, и правые, но и в этом я ее не предавал никогда, и левые, и правые всегда знали, что даже думать неуважительно о Зайце для них более чем опасно... Э! Кому я, собственно, собрался в любви признаваться — тебе, Тийю, или Зайцу? Черт побери! А вообще... Я разве сказал, что ее не люблю? Что в состоянии бросить такого друга? Да никогда! Если хочешь знать, мы за пятнадцать лет даже ни разу не поругались. Я на нее орал — да, было; она на меня рычала, бывало, как тигрица. Но через полчаса мы чмокаемся. А если я тут еще охну и схвачусь за бок, то начнет меня раздражать дурацкими вопросами: «Болит? Может, врача? Дать таблетку? Сле-

лать компресс?...» Тьфу! Три раза через левое плечо.

Наше расставание началось, собственно, не из-за моего алкоголизма, к которому я уже сознательно присмотрелся, начиная тренировать психику, ибо медицина в этом деле сама по себе бессильна, даже похожа иногда на шарлатанство. А как я тренировал психику? Вот один приемчик: иду к винному магазину, суну голову в дверь, глазею на бутылки с водкой (такое в Тарту еще возможно, но не в Москве) и представляю, что я ее уже купил, бутылочку. Что тут начинается с организмом! Желудок схватывают судороги, сердце сразу пропускает удары, тошнота, словно я уже должен проглотить эту гадость. Силой воображения я еще усиливаю эффект, представляя все последующее, и даже не замечаю, как ноги с большой скоростью уносят меня от магазина.

Да, наше расставание с Зайчиком началось с усталости. Здесь не обошлось без Александра Великого. Я очутился на положении третьего.

Каким я считал его человеком, если все, что от меня шло положительного в его адрес, было адресовано на самом деле не ему, а Зайцу, чтобы облегчить ее участь.

Именно ради нее я впрягся в повозки, нагруженные продуктами для «ребенка», доставать которые приходилось ей.

Свою же жизнь всегда, какая бы она для меня ни была, я тянул самостоятельно, отвечая за все, получая кару, и заслуженную, и незаслуженную; подачек мне в жизни не давали, колотушки — да. Поэтому-то меня и бесило, что уже двадцатисемилетнему «супермену» мы делаем по блажки, которых он ничем не заслужил.

А Зайчику делить свое расположение между нами было трудно. Я понимал, что не может она не быть заодно с сыном. А я?

Со мною не то что не считались, но иногда я оказывался невольно вне их жизни. Они вдвоем были целое, я — отдельно. Из нас с Александром только один мог принести собственное благополучие в жертву, и этот один... Не буду уточнять, Тийю, кто он. Ведь кто носил на руках дочек Александра? Кто видел их восторги от подарков и обновок, купленных иногда и в комиссионке? И многое другое. Нет, не я должен был этим заниматься.

Кому я мог быть здесь полезен? Зайцу я в этом деле не помощник. Александра я искренне хотел поддержать, и не потому только, что он — сын Зайца. От меня, если

кто-то нуждался в помощи и я мог ее оказать, никто без нее не уходил. Я не забывал, что сам когда-то нуждался и мне помогали.

Однажды я попросил ее прочитать мне письмо, которое она посылала сыну «туда». Она не очень хотела, но, сообразив, что я всегда читаю ей письма, которые получаю или отправляю, согласилась. Меня поразило ее сочинение. Она жаловалась на Александрирку, на ее поведение, нрав, на ее характер, что с ней становится трудно справляться, что судьба ее и ее будущее заставляют тревожиться — никого не уважает, не слушается, грубая, эгоистичная (знакомые черты), и высказала Зайчишка соображение: «Придется тебе, когда приедешь, серьезно заняться ее воспитанием»...

Боже! Она это говорит совершенно серьезно, как нормальному человеку! Может, с ее стороны это педагогично, но все-таки пишет-то она тому, кто однажды заявил, что «работают одни дураки»...

...Во дворе вдруг залаяли все собаки, что-то их встретило. Мимо окна пролетела ворона, вспугнутая ими; «кр-р-р!» — прокаркала она возмущенно.

Мы с Тийю так и не легли спать в ту ночь — ни вместе, ни отдельно. Мы говорили. Я действительно мог исповедаться, и я рассказал также о всех своих заумных литературных хитросплетениях, приведших в конечном счете опять к потере свободы — моральной, духовной свободы. Я, конечно, понимал, а теперь, слушая самого себя, утвердился в этом понимании окончательно: единственный путь к ней лежит через правду (как бы скептически к этому понятию ни относились многие люди). Не связан никакими путями тот, кому нечего скрывать. Когда этого достигнешь, все становится ясно и просто, и смерть действительно, как для Сократа, не страшна. Умирать же, сознавая, что оказался ничтожеством, не нашедшим в себе смелости на откровенность, умереть, будучи виновным перед собственной совестью, лишив себя человеческого достоинства, это, пожалуй, хуже всего. Но разве это легко — совсем не врать?

Мешала и другого рода трудность: я многим представлялся смелым и ловким, необычной личностью, которой ухлопать человека — пустяк. Но разве мужество в том заключается, чтобы убить нескольких подонков? Иногда, наоборот, в том, чтобы этого не сделать. Но не могу не признаться, когда обо мне кто-то, особенно женщины,

думал как о смелом и ловком, кому сам черт не страшен — такое не только забавляло, но и нравилось мне. Я усиленно старался вживаться в роль разбойника и немало в этом преуспел: на моем счету выбитые двери, разбитые головы, разбитый хрусталь, краденые яйца...

Как об этом расскажешь? Даже ей, Тийю. Но я долго шел к разговору с ней, и вот он состоялся... Исповедался, называется.

Похоже, не я один к этому разговору готовился.

— Я понимаю,— сказала Тийю,— я знала... Тебе хотелось мне все сказать.— Она смутилась, словно оправдывалась.— Наверное, надо нам все уже до конца обговорить, поставить точку...

Что тут еще говорить? Если бы мы с ней друг друга не уважали до такой степени, что нам было бы все равно, как будем относиться друг к другу потом, то конечно... Но это означало бы всего лишь немного в постели покувыркаться, как с какой-нибудь Ирмой.

— Осень,— проговорила Тийю задумчиво,— уже листья с деревьев сыплются... И мы с тобой уже осенней краской покрылись, пожелтели-побелели...

— Что до моих «листьев желтых», они давно поспали, обдули их ветры жизни.

«Посредине пути»... По-эстонски это звучало бы: «кесктеел»... Как бы не так! В чем-то, может, посредине, но в этих делах все же ближе к концу, несмотря даже на то, что и в ветреную погоду я в состоянии еще ходить, не держась за стенку. И настанет день, когда останется лишь воскликнуть: «Эх! Были когда-то и мы рысаками!» А жаль.

Каким он вначале кажется долгим, этот путь!.. Нескончаемым. Бежишь, ни о чем не задумываясь, швыряясь жизненными силами, как казенными деньгами в начале командировки. Но когда половина пролетела, оглянешься, подсчитаешь «бабки» и... начинаешь экономить, но все равно чаще всего концы с концами уже не свести, и если вначале заседал в ресторанах, теперь где-нибудь в парке грызешь черный хлеб потихоньку.

А ведь еще каких-нибудь десять лет назад я бы ее, Тийю, повалил без особых угрызений совести, и она, вероятно, не очень сильно и возражала бы. Время же неумолимое бывает нам не только судьей. Оно нам помогает иногда и человеком себя почувствовать, напоминая, что страсти мимолетны, а чувства и достоин-

ство — навсегда. Любовь с женщиной без уважения к ней — равно что у кабана случка со свиньей.

— Да, Тийю, мы с тобой не африканские черепахи.

Тийю с любопытством уставилась на меня. Она, наверное, боялась, что начну опровергать ее доводы.

— Черепашьи дети... Я где-то прочитал: едва выбравшись из яиц, тут же стремглав идут к воде. Люди, родившись, не скоро осознают иной раз свою цель. Черепаха потому инстинктивно движется к воде, что она — черепаха. Человек же потому должен быть человеческим, что он — человек. А поговорка «ничто человеческое нам не чуждо» по сути своей очень часто потворствует низменному в нас. Или я это говорю потому, что мне уже пятьдесят пять? Но есть еще и другие слова: «Человек — это звучит гордо!» Что же гордого, если ведешь себя, как какой-нибудь кабан...

— Тебе еще только пятьдесят пять, сынок, — сказала Тийю, весело засмеявшись, и встала из-за стола. — Пойду собираться. Я завтра уезжаю в Вильянди. Да... сын мой, еду надолго... Ты-то когда в дорогу?

Не дождавшись ответа — откуда мне было знать, когда и куда я направлюсь, — она подошла, посмотрела в глаза — совсем не так, как во Фленсбурге — и поцеловала... совсем не так, как там, а... чмокнула.

— Как хорошо все-таки, что могу тебя всегда любить как прежде... са селлине тиллуке лапсеке (маленький ребенок).

Пожелав мне «хеад ыйд», хотя уже скоро утро, она ушла...

Хеад ыйд! Хороший ты человек. И я благодаря тебе могу оставаться на человеческом уровне, так что мы оба хорошие. В одиночку мне таким быть не удалось бы — знаю свой развращенный нрав.

Остался я сидеть за столом весьма удрученный, несмотря на мое осознанное достоинство, так что, извините, налил себе полный стакан этой омерзительнейшей из омерзительных жидкостей, я его выдул до дна, даже не считаясь с завтрашним днем. Черт с ним! Может, завтра война...

Утром — вернее, когда я, наконец, спустился — я нашел на кухонном столе записку от Тийю:

«Тере хоммикут! Знаю, ты удивишься, обнаружив, что я уже уехала. Для тебя, мне кажется, утро сегодня наступит позже. Но мне надо успеть на автобус, я же не

вправе сесть сегодня за руль. Постараюсь вернуться поскорее, чтобы тебя не задержать. Ежели ты все-таки уедешь в Москву раньше моего возвращения, то расскажи своему другу Зайчику обо мне, о нас, про нашу жизнь во Фленсбурге у датской границы. Непременно расскажи. А Таймо знает? Она тоже тебя любит, ты должен быть ей хорошим товарищем, чтобы ей не было грустно и так одиноко. Ты счастливый: тебя многие любят, и я тоже. До свидания, мой друг. *Тийю*.

P.S. За машину ты не беспокойся, и специально из-за этого меня дожидаться не надо».

Значит, уехала в Вильянди. Но почему я должен ехать в Москву? А впрочем... О чем же мы с ней, собственно, всю ночь говорили, если не об этом. Куда же еще мне ехать, как не в Москву? Конечно, со временем объявится Александр, а мы с ним люди трудносовместимые. Но если меня там не будет, то в доме маленького Зайчика дышать станет нечем. Табачным дымом? Будут кучи грязного белья; он не приучен за собой убирать. Как же жить маленькому Зайчику, для которого чистота, тишина и природа являются главными радостями жизни... не считая кино? Конечно, Тийю права: мне надо в Москву. Но я все-таки дождусь возвращения Тийю, тем более, что мне еще многое необходимо здесь записать: о том, какие мы все — и Заяц, и Тийю, и... я тоже — какие мы хорошие люди.

Еще мне нужно написать об очередном ляпсусе, обнаружившемся при встрече с Волли в мое последнее пребывание в Тарту. Волли на самом деле зовут Олев. Опустившийся алкаш, брошенный женой элтэпешник. В некотором роде так оно и было, и я думал показать, как стало трудно советскому алкоголику, до конца используя его такую печальную фигуру.

Шел я по набережной реки Эмайыэ, поравнялся со спорткомплексом, где гребные лодки и лыжная база, и вижу его, Волли, то есть Олева. Стоит он, небольшого роста, худенький, с красноватым лицом, и выглядит озабоченно, хотя еще рано — половина десятого.

Поздоровались. Он относился ко мне всегда уважительно. Впрочем, он ко всем так относится — и трезвый и хмельной. Он из той категории людей, которую я люблю: скромный, доброжелательный, естественный. Что-то в его облике показалось мне непривычным, сразу и необразишь — что? В шляпе, в светлом пальто... галстук.

Все чистое. Рубашка — свежая, брюки — отутюжены (впрочем, они у него всегда были отутюжены, хотя он костюмом пользовался как пижамой).

— Что стоишь? — спросил я, радуясь возможности узнать какие-нибудь смешные подробности про своего негативного персонажа. — Чем озабочен? Все директорствуешь?

Однажды он мне рассказал, что является директором спорткомплекса. Потом, кажется, себя понизил в должности до завхоза. Наконец выяснилось, что он просто рабочий, но я шутя с тех пор называю его директором. Про себя же подумал в очередной раз: как хорошо, что алкоголики книг не читают, а то... знал бы этот Олев, какую я с него картину нарисовал. Что бы сказал?

— Мороженого не достал, — буркнул он. — Мужики остались без мороженого, в магазине санитарный день.

— Что?! — До меня не сразу дошел смысл сказанного. Что он плетет? Какое мороженое? Какой магазин? «Ленинканан»? Спорткомплекс расположен рядом с «Ленинканом», где в самом деле продают мороженое.

— Ты что же, теперь на мороженое переключился? — Я пытался иронизировать.

— Здесь все его любят, — ответил Волли. — Это же спорткомплекс все-таки. Мужики послали, а тут санитарный день как назло...

Разговорились. Я, естественно, интересовался: как, где, с кем, что и тому подобное. Он же пригласил меня в гости.

— На... чердак? — спрашиваю.

— Почему же? У меня теперь квартира своя, я тебе рассказывал.

— Ты рассказывал про дом, что по наследству...

— Да нет, не дом, а квартира. Я был прописан у тетки, она умерла, и я теперь там живу. Женился...

— А как же Эльза? Собака?.. Милиция... участковый...

— Ты приходи часикам к двум, завтра воскресенье. Кофе поьем...

Кто-то его окликнул, и он побежал.

— Придешь? — прокричал уже в дверях.

— Приду.

Мне никуда не хотелось идти. Осталось в этой очередной истории «о себе» написать самое последнее — о том, что меня ждет в Москве, — но сейчас я это написать

не мог, потому что находился еще в Тарту. А идти куда-то опять напиваться не было никакого желания. Но этого типа я все-таки знал уже тысячу лет как страстного выпивоху — и чтоб этакий женился! Интересно было весьма.

Назавтра я шагал в сторону улицы Сыбра, что в переводе означает «улица Друга». Многообещающе! У автовокзала мне перебежал дорогу черный кот. А настроение у меня и без того было такое, что шел я — шаг вперед, два назад. Недалеко от Нового моста еще один черный кот (или кошка) перескочил дорогу перед моим носом, и подумалось, что ничего хорошего, наверное, не выйдет. Третий черный кот дожидался меня на крыльце дома номер пятьдесят по улице Друга и оказался собственным котом самого Волли-Олева, который тоже ждал, стоя на лестнице. Он явно волновался.

Кот сиганул мимо меня — красивый, блестящий шерстью, с умной мордашкой, и юркнул в приоткрытую дверь — в комнату. Оттуда послышался ласковый женский голос, обращавшийся, видимо, к коту. Мы с Олевом вошли. Нас встретила худенькая, скромно одетая, очень милая, на мой взгляд, женщина.

— Силви, — представилась она, подавая руку.

В небольшой квартирке царила чистота. Я растерялся — такого не ожидал.

Хозяева, видать, к приему готовились: были сделаны аккуратные бутербродики, закуски и паштеты, при мне Олев намолол на три заварки кофе, на столе стояли бутылки с лимонадом и минеральной водой, цветы. Тепло, уют и хорошая женщина! Нет, я не верил своим глазам. Такого в реальной жизни не бывает! Тут же я понял: коты эти, мерзавцы черные, встречались мне не зря: надо будет теперь все переделать в рукописи — все, что касается Волли!

Унаследовал он не дом, а квартиру, это ладно. Но еще жениться ухитрился на порядочной женщине, бухгалтере, и сам уже девять месяцев не пьет совсем и намеревается к этому вообще не возвращаться. А мне рвать целую кучу страниц! Кто бы мог подумать, что такая женщина изберет такого деятеля себе мужем... Где здесь собака зарыта? А может, мне самому подсунуть ему бутылек, чтоб... не рвать мои страницы? Нельзя! Таковую редкость погубить даже в шутку — преступление! Человек старается исправить свою жизнь — это радость всеобщая.

Как же она все-таки поверила Олеву? Непонятно. Может, действительно бывает что-то загадочное в женщинах? Век живи — век учись.

На другой день зашел проведать его на работе при лыжной базе. Он стоял во дворе, опять озабоченный. Я не стал выпытывать: у него достаточно еще причин быть озабоченным. Накануне мы и об этом поговорили. Я лишь высказал то, ради чего, собственно, зашел, что мне всю ночь покоя не давало: я вдруг совсем по-новому увидел этого маленького тщедушного человека, и почему-то жутко захотелось, чтобы он не сдался, чтобы выдержал, чтобы жизнь у них с Силви сложилась лучшим образом; мне всю ночь слышались те бесхитростные мелодии, которые он, словно для себя, удалившись от нас с Силви в комнату, наигрывал на аккордеоне — я понимал, что это для меня, показать, что он еще может, что в нем еще сохранился артист.

— Ты знаешь,— сказал я ему,— если ты запьешь, если ты такой шанс упустишь... Тебе в последний раз сама Фортуна улыбнулась! Так что, если ты по своей дурости это потеряешь, и на том свете такое не простится, и будешь ты вариться там в самом грязном котле, а ведь ты еще не выкарабкался. Когда лет пять пожрешь мороженое, тогда можешь чирикать.

— Мне так приятно,— сказал Волли, смущенно улыбаясь,— когда друзья хвалят.

Друзья?! А разве я ему друг? Или он мне? До сих пор он был, в сущности, моей жертвой, моей добычей... А ведь настоящие друзья, человечные,— это то, что ему сейчас больше всего нужно. Раньше его окружали выпивохи, но они — все до единого — одинокие люди, потому и ищут общества, компании. Но они не друзья никому, они и в компании одинокие. Во всем этом шуме и тарарапе они, в сущности, даже один другому до лампочки. Но отколись кто из них, бросив пить,— насмехаться будут, завидовать или злорадствовать, если тот не выдержит, сорвется. Так что Волли назвал меня другом чисто инстинктивно, механически, почувствовав, что я ему и Силви искренне желаю хорошего. Я подал ему руку и обещал зайти еще как-нибудь. Я зайду, чтобы сказать следующее: главное тебе, Олев-Волли, ни с чем не считаться, кроме Силви, а друзья образуются; ощущение изолированности скоро пройдет. Я по себе знаю.

Подумалось: дай-то бог самому удержаться, если

удастся мне, значит, удастся и Волли, то есть Олеву; а если это доступно ему, то и мне, разумеется, то, значит, всем, если разобратся. Надо только захотеть.

Все это необходимо было записать. Потом собраться в дорогу — в Москву.

30

Баня на улице Эмайе начинает работу в среду. Понедельник и вторник — выходные. А в среду, с часу, пожалуйста, купите билет, веник и парьтесь себе на здоровье, если вы любитель этого дела. Я и есть любитель. Меня к этому приучила бабушка на острове Сааремаа. Она была непревзойденной парильщицей. В деревне Кыляла на хуторе Сааре, где родились мой отец, его сестры и братья, баню топили каждую субботу. Топить было привилегией деда, у которого никогда нельзя было понять, когда он шутил, а когда говорил всерьез. Но вечером первая отправлялась париться бабушка.

В отличие от коренастого, широкого деда она была весьма костлявая. Всегда в очках, всегда в движении. Ее голос раздавался одновременно по всему хуторскому двору — в саду, на огородах, а по вечерам она причитала: «Ах! Весь день на ногах, ох! Совсем выдохлась...» Дед обычно иронически замечал: «А что толку? Ты хоть что-нибудь сделала? Только бегаешь везде да кудахчешь, как курица...»

Такая манера общения была у них естественной, а не ругались никогда. По воскресеньям же, одевшись празднично, шагали мирно по шоссе в направлении церкви.

Когда бабушка парилась и поддавала жару, то мужики вылетали как ошпаренные — даже мой отец не выносил. Из мужчин один только я не удирал, потому что бабушка держала меня за ногу и лупила веником, приговаривая, что уж она-то из меня сделает настоящего мужчину. Мне было тогда приблизительно лет семь.

Тогда на Сааремаа еще ходили в хуторские бани все вместе — женщины и мужчины, даже если приходили мыться соседи. Причем никаких плавок на себя не напяливали. Никто никого не стеснялся, никакой безнравственности и в помине не было. Топили баню, пекли хлеб, делали свое пиво, знаменитое на всю республику, в комнатах расставляли по углам свежесрубленные березки для аромата... Тогда в город ездили на повозке в одну ло-

шадиную силу... Не было асфальтовых дорог, не было автомобилей. Какое это было чудесное время!

С тех пор я страстный парильщик и тоже, когда подаю пар, мало кто выдерживает. На меня обычно шипят да орут, что ты, мол, не один, такой-сякой, и баня не твоя! Но всем известно, что там недовольных можно послать... к бабушке, не к моей, разумеется.

Была среда. Поэтому, как только Таймо взяла свою тачку (я ей привез из Москвы сумку на колесиках, чтобы ей легче было таскать почту) и ушла, я живо побрился, оделся и вышел. В воздухе кружились одинокие снежинки.

Рождество и Новый год Тийю проведет в Вильянди. Нельзя же, чтобы больной муж в праздники оказался один. Там, конечно, обслуживающий персонал, но они не свои... Как ни говори, отмечать Новый год в сумасшедшем доме — последнее дело.

Я помню день 8 марта в больнице имени Ганнушкина в Москве. Был концерт художественной самодеятельности. Там лечились очень даже известные музыканты, по-своему звезды: скрипач, пианист, певцы... Концерт был поставлен их силами, хотя, право же, впечатление он производил жуткое: певцы исполняли арии очень правильно на одном только фортиссимо, скрипач и пианист никак не могли определить, кто из них солист. Но все делали свое дело предельно серьезно и старательно; этот концерт в сумасшедшем доме часто мне вспоминается, когда приходится присутствовать на митингах или собраниях.

Итак, Тийю с мужем — среди психов, а я должен выбрать между двумя любящими меня людьми. С кем мне встретить рождество и Новый год? Сочувствую доктору Сависаару в Тарту: как он, интересно, решает эту задачу? Я восхищаюсь Станиславом Робинзоном в Москве: тот без всяких проблем собирает всех своих пять-шесть жен и детей, а сам во главе стола что-нибудь спокойно жует, словно патриарх еврейский. Но одновременно везде я бываю, только когда закрываю глаза. Значит, что поделаешь, поеду в Москву. Таймо здесь, конечно, горько и тоскливо одной, но Зайцу вдвойне грустно.

Чтобы не встретить никого из бункера, направился в баню по улице Роози. Она проходит между двумя десятиэтажными зданиями с длинными, во всю стену, балконами. Это общежитие университета. Здесь опасно про-

ходить, потому что порой сверху падают бутылки. Могут попасть и каким-нибудь другим предметом: табуреткой, тарелкой, пустым ведром, вилкой или ножом, чем угодно, или же попросту польется сверху за шиворот моча...

Жаловаться некому. Милиционеров в городе можно встретить, иногда проезжают мимо в машине, и в газете печатаются объявления, приглашающие в милицию опознать какой-нибудь труп или же жулика, или хулигана задержанного, но жаловаться на студентов нет смысла, не среагируют.

Потому что, если уж студент, что называется, им-матрикулирован, так нельзя его, будущего Эйнштейна, эксматрикулировать из-за такого пустяка, как моча на чью-то второстепенную башку.

Оттого иногда по утрам газоны перед этими красивыми домами напоминают мусорную свалку, из окон и с балконов раздаются вопли, крики, рычание и слова, которые нельзя отыскать в обычных словарях,— испугались бы и первобытные люди. Пустые бутылки по вечерам разлетаются, как гранаты, на мириады осколков каждые пять минут. Как-то трудно все-таки представить, что из юношей и, увы, девушек, исторгающих этакое красноречие, впоследствии могут образоваться интеллигентные люди. А там... Кто знает! Если изучить историю Тартуского университета и нравы, бытовавшие каких-нибудь сто пятьдесят лет назад, узнаешь, что было не лучше, даже убийства не были редкостью. Но сколько дал сей университет миру ученых голов!

Итак, я рискнул миновать общежитие. В такое раннее время они еще спят — те, кто кидает и мочится. У них, бедных, унитаза сломаны, а девушки в свои уборные не всегда пускают, так что единственно с балкона и остается.

Потом я зашагал по Деревянному мосту. Здесь почти всегда какие-нибудь тихопомешанные кормят уток, голубей, воробьев, когда в этом, в сущности, еще нет нужды; наблюдая их, приходишь к выводу, что если в мире и есть что-нибудь стоящее, так это возможность бросать корм птицам, прямо вот так — отламывая куски от буханки белого хлеба. Ведь воробьи хлеб не сеют, как и свиньи в частных хозяйствах, откуда же его им брать? Интересно, могла бы какая-нибудь из этих фанатичных добрячек есть лягушек или каракатиц, как утка? С другой стороны, если учесть, сколько на помойках гнивает хлеба

совершенно без надобности — пусть уж лучше уткам, даже свиньям.

В тартуских банях не так-то просто: идешь в баню и не уверен, что все получится как надо. Может случиться, что баня на ремонте, света нет, провод какой-то лопнул или труба, или печь дымит (она всегда дымит), или кассира нет. Тогда надо будет потопать в другую баню, а это не близко. Опять же, что тебя там ждет?

Санитарная техника в этом городе столь же стара, как сам город, а он древнее Москвы. Трубы везде проржавели, краны текут, отремонтировать невозможно, потому что нет запчастей, они на складе... в Таллине, а вывезти их оттуда не на чем — нет транспорта, потому что некому о нем заботиться — нет хозяина, а секретарь горкома постоянно временный.

Так ли на самом деле, нелегко сказать, еще труднее узнать; не могу же я пойти и спросить: «Вы как, постоянный?»... Но краны текут и трубы ржавеют, печи дымят, а служащие домоуправления и прочий народ именно так и объясняют ситуацию. Когда же в народе говорят — это многое значит.

Заскочил по пути в парфюмерный магазин, чтобы купить «березовую воду», шампунь или одеколон — протереть плечо после бани. Здесь меня продавщица ошарашила:

— Спиртные напитки с двух часов! — заявила... шутя, наверно.

Но мужики-то и впрямь пьют шампунь. Как тут установишь сухой закон — нечем станет автомобили заправлять, скоро до бензина доберутся!

С банями и в Москве не все хорошо. Во многих, как в кино, — сеансы. Внутри — клетушки для раздевания на пять-шесть персон, можно создать интим, очень нужный, чтобы без помех принимать винно-водочные изделия. Веник достанешь за приличные деньги. В Тарту все еще индивидуальные шкафчики для раздевания и тапки с номерами, как в старину, а веник приобретаешь в бане за пятнадцать копеек — всего заплатишь тридцать пять и мойся, пока не похудеешь.

В бане всегда интересные разговоры. Люди здесь, как правило, более общительны и менее насторожены, ведь если разобраться, здесь можно болтать без боязни, особенно в парилке. Во-первых, темновато; во-вторых, все здесь без званий и одинаково внешне — голые. Особенно никого

не запомнишь. Сидят, кряхтят, бывает, что произносят даже неприличные слова, но все говорят о жизни. И что из того, что веник тебе достался — в крепостное время такими крестьян пороли.

Голые и одетые обладают одинаковыми правами высказываться, но в парилке все люди наиболее равны.

Вот один голый, хлеща себя по хребту, говорит, что еще один винный магазин закроют где-то на улице, которой я не знаю.

Другой голый, белый и жирный, подтверждает, что — да, точно, закроют, но не только этот, а еще и на Нарва-Маантее, он знает наверняка. Потому что там очень сильное автомобильное движение, а вокруг магазина многие качаются, так что могут под машину загреметь, а кому это надо...

Ого! Магазин на Нарва-Маантее мне преотлично знаком. Недалеко от Пуйестее, рядом с бункером, что напротив штаба добровольной народной дружины. Как же теперь там все мои «бывшие», то есть люди-экс? Откуда будет брать «топливо»? Как-то даже тревожно стало за них. Конечно, по шее мне там как-то отломили, но как представил я себе совершенно трезвых бывшего председателя, бывшего прокурора и всех других — печалью сердце заволочло. Как-никак, а родной бункерчик. Рядом, правда, монополия имеется, но после того, как монополющицу с улицы Мяз посадили и ее двадцать кошек да с десятков собак остались сиротами, здесь могут на время затаиться.

— А хотели Тарту сделать вообще «безъядерной» зоной, — говорит какой-то голый, орудуя веником, — свободной от водки и вина, чтоб даже пива не было, так что и пивзавод бы закрыли.

Все загалдели. Отовсюду послышались крики: да, слышали про это безобразие.

— Но не все начальство, видать, свихнулось, — радуется костлявый немолодой голяк. Он не парится, просто так сидит, греется, потеет.

— У кого-то там из них хватило ума все же...

Костлявый захихикал тоненько.

— Да ведь они же без нас прогорят, — констатирует белый и жирный, — городу денег уже не хватает, зарплату рабочим пивзавода выплатить нечем. Ведь сколько мы давали прибыли!..

— Точно. Теперь им тяжело, пропадут еще...

Почтенного вида лысый голый, до сих пор молчавший, взял слово:

— Немного просчитались, конечно,— объясняет он авторитетно создавшуюся в городе ситуацию остальным голым, которых в парилке заметно прибавилось.— Что от пьяницы на производстве одни убытки, с этим не поспоришь, но, обратите внимание, закрыв винные магазины, создав невыносимые условия в ресторанах плюс другие меры, они сразу лишили государство основного дохода, в то время когда коэффициент полезной деятельности на производстве бывшего пьяницы, ставшего трезвым, еще не возместил государству сиюминутного дохода, который оно получало до сих пор безотлагательно... Мы аккуратно и всегда своевременно выполняли план от пятилетки до пятилетки. А теперь... Когда еще количество безумного дохода сравняется с количеством разумного? Много воды утечет и мало вина.

Потом все голые, естественно, стали обсуждать личность, внесшую такую неразбериху в экономическое положение города, уточняли, какое у него образование; кто-то знал, что у него даже два образования, а жена вроде бы одна, кто-то сообщил, что языки, мол, знает, а сколько — не уточняли. Все это, однако, говорилось в манере исключительно диагностической, без злобы, даже без иронии, не было ни малейшей обиды со стороны пострадавших.

А мне известно,— да это всем известно,— что так бывает не всегда. Я не помню ни одного руководителя, о котором не рассказывалось бы в народе что-то забавное, причем чаще недоброжелательно и, конечно же, не без иронии. А по-моему, нет ничего более скверного для авторитета руководителя, чем насмешливое отношение к нему народа. Как трудно в таком случае тем, кто этому руководителю и его тезисам должен или вынужден петь дифирамбы,— живешь, пока поешь. Не дай бог тебе простудиться и голос потерять... А если кто не поёт, потому что не хочет, не в настроении, о нем я и говорить не стану.

Но в данном случае отношение вполне серьезное, даже вроде одобрительное, даже некоторые выпивохи, которых знали как преданных «делу» товарищей со стажем, явно с облегчением вздохнули: «Эх! Теперь не так много надо пить»... Словно их кто-то силком заставлял. Но если опять вспомнить Джека Лондона, он в своей повести писал,

что из выпивающих алкоголиками являются разве что двадцать процентов, остальные восемьдесят — пьющие по обстоятельствам.

Так что отношение пострадавших к названной личности — как, к примеру, к судьбе или погоде: вчера была хорошая — сегодня дождь, и наоборот. Ну и что же тут поделаешь? Надо относиться просто как к фактору и посмотреть, что дальше. Нашелся и один голый скептик.

— Ладно, ладно,— рассуждал он мудро,— видели и раньше старательных... Новая метла, знаете ли... Посмотрим, что будет, когда товарищ освоится с новым положением... Лет этак через пять... Сегодня пишут о голодном и тяжелом положении колхозов в пятидесятые годы, а что нам пели в пятидесятые годы про эти самые «цветущие» колхозы? Посмотрим, посмотрим.

Ну что ж, поживем — увидим. Мне тоже интересно, кто победит в кампании за трезвый образ жизни — разум или, как всегда, сатана? Но люди, как я обратил внимание, то тут, то там настроены выжидаячи. Словно шлюзы прорвались — потоком везде льются разговоры о том, что и как было раньше, прикидывают возможные перспективы. Создалось впечатление — всем хочется, чтобы было строже, чтобы стало больше порядка, даже многим таким, кто не очень за это переживал раньше. Изменений не жаждут разве что те, кому лучше быть уже некуда... Странно, но объяснимо: в бардаке и проститутке жить не хочется.

31

Холодно стало как-то неожиданно. Мороз ударил, мягко говоря, ниже пояса, во всяком случае по радио такого похолодания не предсказывали, обещали 10-12 градусов, а получилось все двадцать... пять. Это уже подло со стороны погоды, хотя в последние годы она только такими выходками и отличается.

Ученые опровергли, кажется, влияние «парада планет» на земные условия, но в некоторых журналах писали, что период, пока планеты соберутся на смотр и возвратятся на прежние позиции, сопровождается вспышками землетрясений, наводнений, болезней и особенно агрессивностью людей. Как бы там ни было, а погода-таки постоянно валяет дурака. Человек же существо до такой степени беззаботное, избалованное, испорченное цивили-

защитой, что в таком малом вопросе, как во что ему одеться, выходя из дому, он полагается не на свои глаза и осязание, а на радио; он даже не смотрит в небо, чтобы убедиться самому — что там и как, когда ему по радио обещали безоблачную погоду; он сядет в электричку, уткнется в газету и едет в лес в одной рубашке, выходя же из вагона, стоит потрясенный — дождь! Как же так? Ах-ах, обманули! Бедный гомо сапиенс!..

Подобные внезапные морозы чреваты последствиями для жилища Таймо. Оно к зиме плохо приспособлено, везде щели, уборная замерзает, водопровод тоже. Можно ли что-нибудь исправить? Что касается труб и туалета — нет (по известной уже причине). Но и своими силами что-либо сделать трудно. Наружная дверь разбухла, не закрывается. Таймо на ночь ее веревками привязывает. Обратиться ли ей в домоуправление? Здесь не Москва — пообещают, но обманут. Сей факт даже в городской газете освещали, чтобы видно было. Но тот, кто должен был увидеть, — ему не холодно.

А мне на хуторе все стало невероятно нравиться. И звуки, и специфический деревенский воздух, пахнущий старой краской, дымом, копотью, сыростью, древесиной, землей, снегом, собаками — всем одновременно. Такое особенно располагает после жизни в больших городах. Эти запахи и звуки — когда скрипят двери и ступеньки лестницы — словно возвращают в детство.

Я жил, ждал Тийю и записывал, чтобы была еще одна история «о себе». Потом поехал в Тарту попариться. Пока я в бане обсуждал экономические проблемы с голыми мыслителями, здесь, в поселке, старушке Альме из Таллина родственники привезли газовую плиту с баллоном, установили и отбыли обратно. А пока они ехали, старушка с помощью плиты благополучно спалила свой домишко. В это время сюда, на мою беду, заезжал Хуго. Он приютил и старушку, и ее кошку на хуторе... временно. Но если учесть возраст погорелицы и то, что из этой комнаты последние ее жильцы выселялись навсегда, я решил на всякий случай убраться восвояси, не дожидаясь Тийю. Тем не менее сразу уехать не удалось.

— Хуго сказал, что вы молоко любите, буду вам варить¹, — объявила старушка, когда я начал было объяснять, что уезжаю надолго, возможно на всю зиму,

¹ В эстонском языке нет слова «кипятить».

так что пусть Тийю, когда привезет телевизор, поставит его в той самой комнате внизу, где... А молоко мне кипятить не надо, я еще полностью на диету не переключился... Молоко и яйца... Я их не ем совсем.

Она, конечно, не поняла юмора.

Я чуть было не спросил, как она относится к видениям...

— Книзу, тебе нельзя на улицу...— обратилась она к кошке, которая мяукала, на двор просилась.— Беда с ней,— старушка взяла кошку за шкурку и оттащила от двери,— столько собак, загрызть не загрызут, но загоняют. Просто несчастье. А что же вы здесь жить не хотите? Я еще думала попросить вас помочь мне разобрать кое-что в моем хозяйстве. Попросила одного мужика из поселка, денег ему дала, а он напился...

Так и вышло, что рождество, Новый год и еще десять дней я ежеутренне на пару с Альмой отправлялся в поселок разбирать бревна, доски, то да се.

У Таймо в последнее время я стирал полотенца, блузки, передники, топил печь, тушил на углях мясо; здесь же с другой старушкой копался в остатках дома; на хуторе разгонял собак, и они начинали понимать, что власть окончательно переменялась не в их пользу; злобно рыча, неохотно, но стали уходить, и с каждым днем их становилось все меньше (простите, собаки, но ведь в человеческом обществе собаки иногда символизируют малосимпатичного человека, и не я это придумал). Так что со старушкой шагали ежедневно рядышком по шоссе, под ногами хрустел снег. Она несла в хозяйственной сумке кошку, а я топор за поясом.

Ей-богу! Мне даже самому трудно было осмыслить такую свою сущность, но подумалось — мне впору работать в каком-нибудь доме престарелых: что-то в последнее время сплошное пожилое окружение, я стал похож на няню в детских яслях... Это я-то! Именем которого иные добрые граждане детей пугают...

Дело скорее всего в возрасте все же — старею, и отношение мое к пожилым-одиноким стало сочувственнее. Хотя о собственной старости — какая она будет, если будет,— я все же не думаю, так же, как Таймо. Но Таймо... Трудно забыть ее тот задумчивый взгляд и горький вздох, когда она, глядя в окно, в никуда, однажды спросила сама себя: «А кто же меня похоронит?»

Что там ни говори, а это очень грустно. Но здесь ду-

май не думай, ничто не меняется. Как будет, так тому и быть — простая философия.

Чертовски неприятные вещи приходится порою осознавать в жизни: печаль, обида, боль одиноких людей, будь то некрасивые женщины, болезненно робкие мужчины, покинутые дети или старые люди, оставшиеся одинокими. Однако я начал это чувствовать — именно чувствовать — теперь, когда с этим близко столкнулся.

Люблю ли я людей?

Сегодня модно задавать этот вопрос. Задавали его не раз и мне. Отвечал по-разному. Чаще подражал всем тем, кто вынужден друг другу повторять шаблонные ответы; как правило, никто в неприязни к человеческому роду не признавался, так что послушать всех — идиллия, кругом сплошная любовь!

Для меня сказать, что я люблю людей, не просто. Люди же не одинаковы. Я могу высказать свое отношение к собакам или кошкам, к птицам, цветам, но даже как я отношусь к детям... уже не могу. Я уже не умиляюсь лишь потому, что ребенок — это ребенок. Поросятами восторгаюсь, потому что для меня они все одинаковы и пока они еще не свиньи.

Что я люблю тех, кто меня ласкал, — естественно. Хотя такое и кажется иному рецензенту предосудительным. Ну а те, другие, которые колотили? Обязан ли я их любить? Нашлись лет двадцать назад даже такие юмористы, которые писали в журнал «Москва» восторженно, что это именно они меня перевоспитали, забыв, однако, какими приемами пользовались... Они, похоже, были потрясены, что я вышел живым из их «педагогического института». Но вообще-то я часто признателен и тем, кто меня колотил: они заставляли понять — за что бьют. Что не понравилось им? Как им понравиться? И надо ли? Нравятся ли они мне? Ах нет? Но, значит, потому и я не нравлюсь им. Я давно обратил внимание: если кто-то не по вкусу мне, можно с уверенностью сказать — и я ему тоже. Правда, колотили меня нередко и в пьяной компании, но здесь потому, что был я пьян, следовательно — не приглянулся бы и сам себе, сумей я, пьяный, увидеть себя трезвыми глазами.

Но чего ради я заговорил о любви к людям?

Потому что хочу сказать: я — да, люблю людей. Но людей такого сорта, как Таймо, как Альма, Зайчишка (не беда, что перечисляю только женские имена; это, воз-

можно, потому, что женщины добрее, но я ведь знаю, что и мужчины такие есть, иначе не было бы гармонии в природе). Эти люди лишены природою жадности, они наделены завидной жизнерадостностью, хотя... откуда?

Покоряет меня в них совсем неожиданное качество которое можно назвать некачеством. Что это такое?

Например, Таймо. Она ждала в гости любимого брата из Канады. Всем известно, что Канада — страна капиталистическая и далеко от Тарту. Здесь Таймо десятки раз бегала в домоуправление: «Заделайте, пожалуйста, дыру в потолке кухни, брат приедет — стыдно, неудобно, у брата в Канаде большой дом, дача с бассейном, семеро детей и семь автомобилей. А я тут работаю при университете, отец был интеллигентный человек, оставил городу свою коллекцию, даже его выставка существует, и... он был честным человеком, родину очень любил. А дыра большая, половина квадратного метра, вода и грязь просачиваются, так что помогите...»

Ей, конечно, не помогли.

Приехал брат. Увидел жилье Таймо, сказал: «И в такой развалюхе живет моя сестра!»

Горько было Таймо. Обидно, что он имел основание так сказать, что такое впечатление осталось от Тарту (второго по значению города в республике), что он об этом расскажет в Канаде.

Но у человека потолок, что называется, вот-вот свалится на голову и нет денег «дать», «сунуть» кому-нибудь, чтобы отремонтировали. Она столько не зарабатывает, а воровать не станет никогда, потому что — Человек, и сил нет из такого положения выйти. Не знает, что делать!

Вот это и есть то некачество, привлекающее меня, разбойника, убийцу и вора, к таким «беспомощным» людям. Даже самому удивительно.

Кажется, я достаточно доходчиво доказываю собственную положительность? А?

Ситуация у старой Альмы напоминала происшедшее с Таймо. Я и подумал: почему нужно отвертеться от просьбы старой женщины, если уважительной причины нет? А ей, похоже, надеяться не на кого — один обещал, взял деньги и напился... Вот я и застрял здесь. Вот и пили мы с Альмой и ее Киизу горячее молоко, встретили рождество и Новый год в тиши. Когда же и Киизу уже без боязни могла разгуливать по двору, перевалило

к весне. В мире много за это время разного происходило, встречали и провожали дипломатов, встречались и расставались президенты.

Люди на земле ежедневно, везде, даже в самых микроскопических сочетаниях, непрерывно конфликтуют (я очень люблю остров Сааремаа и островитян, в такой атмосфере разве не мог «живой классик» поговорить со мной как островитянин, чтобы объяснить факт и найти какое-то понимание? От его неблагородства, в сущности, никто не пострадал, кроме него самого, но... не мог), так что люди, пусть в самых ничтожно маленьких сочетаниях, сосуществуют мирно даже в нашем обществе благодаря только законодательным сводам. Но как же можно надеяться, что капиталисты захотят войти в положение социалистов? Когда это было, чтобы богач захотел договориться с бедняком? Социалист, правда, сегодня уже не везде бедняк, а капиталист — все равно капиталист, все равно богач, он к звездам рвется искать у них помощи, чтобы опять же ничем не поступиться, ни в чем не уступить. А если никто не хочет уступить — катастрофа. Кто же должен уступить? Естественно, тот, кто может.

Я вспомнил маленькие человеческие микроструктуры в связи с тем, что люди, каждый человек, мне кажется, окружены каким-то небольшим облачком выделяемой организмом невидимой субстанции, он внутри этого облачка, словно мошка в капле янтаря. Окружил им себя, как защитной скорлупой, и живет, никого и ничего через него не пропуская, контактируя с такими же, окружившими его эластичными субстанциями: к кому-то прикасаясь, кого-то обходя, редко с кем соединяясь, готовый сокрушить другого при малейшей опасности для своей скорлупки. Поэтому мне кажется, что для мирной жизни люди должны изобрести форму контакта, при которой каждый ради собственной безопасности должен заботиться о выгоде вокруг живущих: если я помогаю другим, тогда и они во мне нуждаются и помочь мне — в их интересах.

Я ни черта не смыслю в биологии, в делениях-разделениях всевозможных клеток, но, сдается мне, это все немного биологическое. Здесь мне трудно осмыслить такой простой вопрос: чем я, бедняк, могу быть полезен капиталисту? Что, на него даром пахать стану? Ради чего?! Тогда чем может быть полезен он мне? Тем, что даст мне заработать в ущерб своим сверхприбылям? Но это

означает поделиться жизненными ресурсами планеты, а он не хочет. Он всецело занят укреплением скорлупы вокруг себя. И, по-моему, оказался в дурацком положении: чтобы обеспечить себе прибыль, он должен продавать. Но благодаря его же системе производства вокруг все обеднели, и покупать уже скоро будет некому, так что он как бы трудится вхолостую. Остановить же свою машину он не в силах. А куда ему девать продукцию? Как думает этот несчастный выйти из положения? Как можно ему помочь, чтобы он совсем не взбесился? Он и сам обрастает долгами, работая вхолостую, а еще к звездам рвется!.. Чтобы крушить все, когда уже некуда отступить?

Бедняк отступить не может, потому что уже некуда. Чем может поступиться он? Только жизнью своей. Капиталисту же можно еще с пользой для себя постепенно трансформироваться из одного социального состояния в другое — это все-таки жизнь, в которой он сохранит за собой достаточно выгодные условия. Гибель же планеты не принесет пользы и ему.

Но ежели, дабы помочь капиталисту, я перестану сопротивляться, чтобы он мог делать со мной что ему угодно, отобрав у меня всякую самостоятельность, тогда это откровенный фашизм. Звезды, они интересны, но для людей Земли твердая земная почва под ногами предпочтительнее радиоактивной пыли.

В каждом обществе существуют свои законы, и за их нарушение судят. Законы разных социальных строев часто бывают противоречивы. По отношению к убийству во всех общественных образованиях одинаковое суждение — убийство есть самое тяжкое из всех возможных преступлений. Но и здесь разделение — убийство и убийство особо тяжкое, это когда прикончили зверски, пытали. Суд в разных государствах карает по-разному. Когда приговор выносит международный суд, как, например, в Нюрнберге в 1945 году,— это суд всего человеческого общества планеты.

Сегодня государства, которые в этом суде участвовали, создают оружие, способное учинить не геноцид, не какое-нибудь «отдельное» массовое убийство, а... убийство всего человечества! И что же? Это даже не считается преступлением... Где же логика? Фашистские главари были повинны в гибели двадцати миллионов людей только в одном Советском Союзе. Их повесили. Теперь же че-

ловечество умоляет отдельных личностей закопать оружие, уничтожающее жизнь вообще, и эти личности — не преступники даже, они совершенствуют свое оружие, умножают его, но за это их не судят и не вешают... Так что же в сорок пятом, цирк разыгрывали?

Только это всего лишь мое мнение — рядового шахматиста, который после того, как ему саданули по голове шахматной доской очень давно, ни с кем играть не садился... а со стороны виднее не всегда.

Таймо мороз лишил элементарных удобств. В доме действовал единственный туалет в коридоре другого подъезда на втором этаже. Воду таскали в ведре за два квартала. В остальном жить было даже хорошо: домашне. Здесь я всегда чувствую себя совершенно изолированным, свободным. Хаос, конечно, и Таймо беспрерывно болтает, но... одно окно — на восток, и как красиво утро, когда солнце красноватыми бликами озаряет кухню, а после обеда оно начинает заглядывать через другое, западное, окно, причудливо освещая пурпурным золотом печь, цветы на стенах, вырезанные из журналов цветные снимки и все остальное разноцветное Таймино барахло.

Она давно перестала меня стесняться, и я отношусь к ней так же, как к воробью на подоконнике. Порою бегают по квартире в таких экстравагантных одеяниях, что и не сказать: какие-то рейтузы-трубочки, вытянутые на коленках, на ногах длиннющие (папины) шлепанцы, короткая архимодная вязаная кофточка, волосы растрепаны (подстригаю ее обычно я), старомодные круглые очки; прыгает, как бесенок. Ее укусила собака, Таймо отделалась легким испугом... пока, пострадал рукав пальто, царапнуло руку. Потом на Деревянном мосту на нее напали два подростка, повалили, вырвали сумку и убежали.

— А в сумке ничего не было, денег двадцать пять рублей, записная книжка, открытки новогодние, ножницы, носовых платков сопливых несколько, ах-ах-ха... пустяки.

Таймо даже довольна: «ребятишкам» досталось мало.

— Ты в милицию заявила?

— Нет,— Таймо отмахнулась.— Что милиция сделает, разве их найдешь?

— Неверно,— объясняю я Старой Даме ситуацию.— Конечно, могут и не найти, но надо, чтобы знали, чтобы это было зарегистрировано, потому что... «Если ни-

кто не звонит, значит, никто не приходил...» Так ведь?

Она уже не помнит свое кредо.

— Эти гаврики наверняка еще попробуют кого-нибудь обобрать, а то и убьют, а ты... выходи, их укрываешь.

Таймо, когда понимает, что неправда, слушать не любит. Она включает по-детски «глушитель»: «та-та-ра-ра». Она глушит мои слова, словно я — «голос Америки». Ведь по ее логике, если она моих обвинений не слышит, их нет.

— А еще что-нибудь случилось, Таймо?

Глушитель сразу отключается.

— Еще сосед помер... тот, за стеной, который все за тобой шпионил. А его жену, которая лишилась речи, забрала дочь. А та старушка, внизу, сломала ногу, лежит в больнице, я и осталась одна, как на острове.

Что и сказать, событий — хоть отбавляй. Не повезло старику: так меня и не увидел.

Таймо прячется от одиночества на работе, где она может поговорить с живыми людьми, ее знают и ждут те, кому она носит почту, приглашают на чашечку кофе, рассказывают о своей жизни. Нередко тоже одинокие встречаются, кому она пенсию приносит. Опять же собаки... А не будь этого, очень нужно пожилой женщине таскаться с тяжелой почтовой сумкой по заснеженным улицам, сугробам, заниматься «альпинизмом» по крутым подъемам; вечером едва ноги волочит, плечи болят, и она стонет: «До чего же я устала сегодня, ой, как устала!»

Я ей массирую плечи, а она не перестает рассказывать о том, как ей маленький «цыпленок», то есть мальчик, сказал спасибо за конфету, а она шла по городу и, чтобы не смеяться над ним громко, нарочно кашляла, а то подумают встречные, что она «того»... Что же ее так рассмешило? Я и не уловил. Как? Брат в Канаде перешел из пекарни на другую работу — сторожем? Чтобы было легче? У него красивая униформа, такая же, как у Таймо. Ах, остались они там совсем одни, то есть брат со своей женой, потому что их дети поженились, — это я понял.

Все же дети разбегаются. У брата Таймо в Канаде семеро разбежались. Моя мама осталась одна в Швеции, ее тоже забросили дочь и сын, она бабушка малоподвижная, в ней уже нет нужды, внучата выросли. А здесь, у нас, сколько родителей лишь мечтают о том, чтобы повидать иногда сыновей или дочерей...

Да, у нас с Таймо все поочередно: то она меня обстирывала и латала, когда приползал я к ней побитый, теперь же наоборот. То она мне больные ноги массажировала, теперь я — ее зудящие от тяжелых ремней почтовой сумки плечи.

Но сколько может Таймо спастись от одиночества в работе?

Пока есть здоровье, пока есть силы. А когда их не будет, что тогда? Она сломала палец, и я приехал из Москвы ей помочь. А если бы она ногу сломала и не смогла бы мне позвонить? У нее есть в республике родственники, но пока ее письмо до них дойдет... Да и у всех у них своя жизнь, переполненная заботами. Один из наиболее трудолюбивых и реалистично мыслящих эстонских писателей написал книгу, которая Таймо очень нравится: «Старый мужчина хочет домой». О человеке, лишившемся своего дома и умершем в доме престарелых от тоски. Таймо мне его напоминает.

Тоже хочется ей, чтобы была своя крыша, хотя жилье ее уже не соответствует нормальным представлениям о жилище. А перспектив на улучшение у нее никаких. Чего стоило мне добиться, чтобы ей хоть уборную отремонтировали!.. Для этого пришлось взять книгу, в которой напечатано, что Густав Матто и Таймо отдали две тысячи книг в библиотеки Нарвы и Тарту, немало ценностей, даже изделия из золота и серебра, которые стали достоянием музеев, — отдали обществу, когда жили сами в бедности. Теперь же общество не то что жилье — уборную не в состоянии человеку в порядок привести. Кое-как, конечно, сделали, но...

— Матто вам чужой человек, почему вы о ней так заботитесь? — спрашивали меня некоторые.

Это определение — чужой человек — как же оно вредно! Именно поэтому человечество сегодня на грани гибели: люди — чужие друг другу. Если бы каждый относился к другому как к близкому, как к своему, то, вероятно, не так кровавадно хотел бы жить лучше, чем другой.

Густаву Матто, школьному учителю, люди, видимо, не были чужими, ежели он посчитал, что они вправе распорядиться его ценностями, собранными им за всю трудную честную жизнь.

Таймо и Альма, Герберт и даже Роберт — отбушевали их бури, и они остались где-то на обочине глядеть

вслед мчавшейся вперед жизни, стремясь удержаться из последних сил хотя бы на краешке дороги. Так же и Зайчик в Москве, огромном городе. Чем больше город, чем больше людей, тем незаметней одинокий маленький человечек.

Помогая Альме, я ощутил, насколько этой старушке с ее кошкой важно снова обрести свой дом — свою крышу над головой. «Что же мне, в старости по чужим людям обитать?!» — недоумевала Альма. Стремление к независимости! И память. Вот это главным образом делает жизнь одиноких людей в доме престарелых печальной.

Я, конечно, поеду в Москву и отнесу в ту же редакцию, в которую когда-то принес «Записки Серого Волка», все то, что теперь написал. Что это? Роман? Критика? Раздумья? Сам не знаю. Раздумья в любом случае. В критике же я ничего не смыслю или смыслю неграмотно, то есть по-своему, то есть имею собственное мнение... Ведь как я ее понимаю?

Критика — это не только газетная статья, очерк. Это и отношение к скверному эстрадному певцу: ты ему не аплодируешь, другой, третий — никто не аплодирует, и ясно — плохо. Может, его больше не пригласят. Один не пригласит, другой, третий — глядишь, ему надо заняться общественно полезным трудом. Когда же наоборот — хотя он и дерьмо, но ему аплодируют, — значит, его кривлянье признают. Ну и лопайте себе на здоровье! Он и сам в себя поверит. Когда отношение к действительному реальное, не станет и возможности создавать халтуру за счет заказов от Гостелерадио, и со временем будет на что смотреть в телепередачах, и можно будет, наконец, включать радио. Все это вместе взятое улучшит у человека настроение: если ему больше не будет казаться, что его оболванивают, он, возможно, даже станет энтузиастом. В общем, похоже на то, как надо бороться с рыночными ценами: давайте дешевле хорошую продукцию, и на рынке торговец сдаст позиции.

Я, конечно, хочу, чтобы вещи назывались своими именами, поэтому и сам разделся перед читателем почти догола; я хочу, чтобы трудности назывались трудностями, глупость — глупостью, лицемерие и ханжество — так и назывались, то же самое жадность и воровство — жадностью и воровством; чтобы удачи и неудачи, достоинства и недостатки взвешивались на правильных весах и распределялись на правильные полки; чтобы дурак назывался

дураком, а новому человеку не прощались старые «отдельные» червоточины.

32

В купе нас было три мужика. Такое везение! Хуже нет, чем ехать с женщинами, и уж самое последнее дело, если женщина с грудным ребенком... А тут три гаврика. Превосходно! Свободно! Говорили как бог на душу положит, выражения не подбирали, тематику тоже. А когда в купе нет женщин, о чем еще и говорить, как не о них...

Один из нас — военный в гражданской одежде, до генерала, похоже, не дослужился, но по солидности можно заключить, что уже и не майор. Едет в командировку. Обмолвился между прочим, что над ним два начальства: в Риге и в Москве, и он обязан чуть ли не ежедневно докладывать и тут и там обстановку в полку по части пьянства — что пьянства нет, что слово «пить» употребляется только применительно к молоку. Видать, политработник. Поскольку он был в гражданском и находился вне службы, то признавался, что такие слова, как «водка», «коньяк», «вино», «пиво» у них действительно не произносят, заменив другими из более культурного лексикона; у них бутылка, например, называется книгой, томик в белой обложке в переводе означает бутылку водки; коньяк — это томик в коричневой обложке, изданный на армянском или грузинском языке; ресторан — читальный зал, винный магазин, естественно, книжный магазин, пивная — библиотека. А вагон-ресторан — о нем речь тоже зашла — в их кругу называется красным уголком; в настоящем красном уголке, само собой, властвует Политиздат, так что, сообщил товарищ в гражданском, идти туда смысла никакого — одни брошюры о гражданской обороне и журналы «Здоровье», то есть, по тому же словарию, минеральные воды да лимонад. Нечего читать!

Один из пассажиров все время торчал возле двери нашего купе, прислушивался, включился в беседу, признался, что он, грешным делом, обожает иностранную литературу в твердых обложках, разумеется, кубинские книжонки предпочитает, но недавно «Наполеона» прочитал в какой-то библиотеке на углу Калининского проспекта и улицы Арбат.

— Библиотечные работники там все мужчины,— доложил он.

— Зато в «книжных магазинах» одни женщины,— подключился еще один, с красным носом, начитанный товарищ. Ему, оказывается, удалось получить в Тарту за полчаса до открытия книжного магазина, то есть в половине второго, два тома русской литературы, так что он готов даже дать почитать... страниц сто, двести. И удивился, когда мы отказались.

— А еще такие образованные товарищи!..

Военный в гражданском объяснил, что от чтения у него голова будет болеть, глаза покраснеют от утомления, а ему в Москве к начальству явиться необходимо.

— А окнол вы читали? — поинтересовался тот начитанный товарищ в порядке обмена опытом. И, узнав, что мы окнол не читали, рекомендовал, когда более подходящего чтива под рукой не окажется, познакомиться.— Нашенские говорят, немного на порнографию смахивает. Эту литературу еще «Синеглазкой» называют в некоторых кругах.

— А в каких обложках? — поинтересовался военный в гражданском, который, совершенно очевидно, жене в домашних делах ни разу не помогал, раз не знает, в каких обложках выпускают окнол...

— В полиэтиленовых, разумеется,— ответил тот, начитанный, с красным носом.

Так мы и ехали в этом удивительном поезде номер сто семьдесят пять, курсирующем между Москвой и Таллином через Псков и Тарту и известном тем, что больше стоит, чем едет: когда бы ночью ни проснулся — поезд стоит то ли на станции, то ли где-то в пути. Нам было чертовски весело, хотя никто в «красный уголок» не ходил, а если бы и пошел — брошюрки, они брошюрки и есть. Но нам было весело; и не только в нашем купе, в других тоже раздавался смех, громкий, веселый говор. Ехали люди, и я ехал. Все друг другу что-то рассказывали. Никто, во всяком случае в нашем купе, не стремился познакомиться. Говорили обо всем просто так, даже спорили, будто было что-то ужасно важно уточнить. А за окнами мчались мимо освободившиеся от снега поля, леса, поселки. Да, снег в этом году удивительно быстро сошел, оставив сушить ветру примятую серую траву.

В эти самые часы где-то в Англии готовились к взлету американские бомбардировщики, чтобы атаковать города страны у Средиземного моря и обрушить там на спящих людей свой смертоносный груз. Люди в этих городах, возможно, тоже веселились или спали, а утром, когда наш поезд подъедет к Москве, — как это ни удивительно, ведь он все время как будто стоял! — многих в той стране уже не будет в живых.

Причем одна страна другой не объявляла войны, как это было принято когда-то, просто послала свои самолеты, они отбомбились и улетели. Потому что им так приказали. Приказали потому, что в маленькой стране у Средиземного моря кто-то не понравился в большой стране тому, кто приказал. Потом многие государства обратятся в ООН с жалобой, и в ООН начнут обсуждать случившееся, заседать, голосовать, а другие государства будут выражать соболезнование пострадавшей стране — мы сочувствуем, это варварство, бандитизм, мы осуждаем и, если нужно, дадим бинты и йод, и костыли пришлем, и консервы, а с дубинками — хуже, но консервы дадим, а больше ничего не можем, потому что сейчас такое время, когда разовые бомбежки считают мелочью, бомбы бросают без объявления войны, как уличные мальчишки, скажем, стреляют из рогаток, а война на большом уровне произойдет теперь атомными бомбами, так что, если начать вас как-то защищать, она того и гляди вспыхнет — погибнет все человечество. Поэтому потерпите, ждите, может, удастся договориться, обратимся в ООН и, может, больше бомбить не будут.

Но тот, кто бомбил, не хочет договариваться, какой ему смысл? Ему не впервые созерцать, как в ООН заседают и голосуют, так что он пока на время отступит... Так все и продолжится до тех пор, по-видимому, когда ему уже невозможно станет отступать, а тогда... Что будет тогда? Я себе этого не представляю.

ООН — словно какой-то статистический центр, огромный архив всевозможных обращений, заседаний, решений и зарегистрированных инцидентов: геноцид — да, был; вьетнамская война — да, была; израильская агрессия в Египте, в Ливане — да, была и есть; террор — имеется; угоны, похищения, заложники — все зарегистрировано. А ливанцев режут, ливийцев бомбят, негров при апартеиде стреляют. А наш поезд идет, стучит колесами, и мне ни с того ни с сего, не впервые, в голову пришла стран-

ная мысль: я ведь даже и не знаю, кто мой прадед по линии отца, также и по линии матери, не знаю своих прабабушек, а было бы здорово выяснить, кто был прадедом и прабабушкой моего прадеда и прабабушки, и еще хотелось бы докопаться, кто были прапрабабушка и дедушка моего прапрапра... Да разве узнаешь! Что там, собственных родителей многие не знают!

Мы приходим на кладбище и приносим цветы на могилы: вот здесь мой отец, здесь жена, а здесь дед, ребенок — все близкие, недавние, в сущности. На могилы дальних прапредков цветы приносим редко. Мы не ведаем, где они. А может, мои прапрапрадеды являются родственниками каким-нибудь татарам или англичанам, или итальянцам, или даже африканцам?

Вот ведь старый школьный учитель Густав оставил двоих детей, из них сын, родившийся в Нарве, дал жизнь семерым в Канаде. Они, в свою очередь, переженились с выходцами неизвестно откуда, а кто знает, на ком поженятся их праправнуки? Которые никогда не узнают о Густаве, школьном учителе из Нарвы... Жил очень хороший и порядочный человек, и он исчезнет из человеческой среды совершенно бесследно. Это как-то обидно. Посвящают произведения искусства большим художникам, героям, вождям. Но я, чтобы было справедливо, если эту мою работу напечатают, посвящу ее Густаву Матто, честному школьному учителю, обыкновенному человеку, оставившему дочь Таймо, которая меня, обормота, за что-то любит. Итак, внуки Густава Матто уже черт знает кто по национальности, а у меня явно имеются кое-какие итальянские наклонности: умение петь на всех языках. Да и французские наклонности наблюдались... А откуда эта безудержность в употреблении нехороших, но таких соблазнительных напитков? И тенденция во многом подражать другим? Дарвин утверждает, что люди произошли от обезьян, но недавно я где-то прочитал, что системой обмена веществ человек наиболее сходен со свиньей...

Поезд идет, скоро Москва. Пассажиры уже притихли, уже внутренне переключились на предстоящие дела, уже собраны сами и потихоньку собирают вещи.

А летчики, которые ночью совершили дальний полет из Англии до Ливии, наверное, еще спят от усталости.

Вспомнив их, я тут же наряду со всем, что видят глаза и слышат уши, как это со мною часто бывает,

когда я одновременно присутствую во всем мире — как однажды на хуторе, когда ждал Тийю,— я вспомнил о нас, о тех, кто одинок, и сообразил, что не такая уж плохая идея — организовать на хуторах тут и там небольшие коллективы из одиноких, но подходящих друг другу по душевным качествам людей, чтобы не было у них ощущения казенности или казарменности, или больничности, как в домах престарелых, где такое все-таки присутствует, несмотря на обеспеченность и удобства. В маленьких хуторных коллективах создавалась бы атмосфера семьи, все бы занимались делом, вместе вели бы хозяйство, проводили вместе вечера и пели о том, как народ Кунгла в древнее время шел в лес играть и петь песни; и рассказывали бы о своей жизни, как рассказывает Таймо мне уже много лет. Мне тоже было бы что поведать. Веселые получились бы компании. Так что естественный выход из одиночества — объединить одиноких. Как ни крути, как бы мы, люди, друг от друга ни уставали, как бы нам порою ни хотелось отгородиться, но спасение от всех бед — в коллективе. Именно, от всех бед.

Еще немного, и опять Москва. Я, естественно, мысленно у Зайца. Но не только у нее. Кажется, началось что-то новое в нашей жизни. Возможно, мне удастся при этом не только присутствовать. Жизнь не только продолжается, она и начинается всегда.

33

— А молоко забыл в холодильник поставить, склеротик ты несчастный! — услышал я, едва мы с Зайцем вернулись из леса.

Зайчик пожурила меня, как всегда, добродушно, но строго. Я действительно забыл молоко на столе, где оно целый день простояло, так что, наверное, прокисло. В оправдание что сказать?

Утром, когда я вскочил, солнце только что высунулось красным гребешком из-за горизонта, — я немного проспал. На цыпочках, чтобы не потревожить Зайца, я побегал на кухню и первым делом поставил чайник на газ, затем смолот кофе и приготовил заварочный чайник. Чай, чтобы залить в термос, — с собой. Кофе, естественно, на завтрак.

Затем я нарезал засыхающий хлеб на ломтики и на двух сковородках поджарил, а сковородки разные: одна алюминиевая, вторая железная. Следовательно, поджа-

ривают они по-разному: так что с них нельзя спускать глаз, а то хлеб на одной запросто может пригореть.

Затем надо было выжать белье, замоченное с вечера в ванне, иначе не принять душ. Я с вечера замачиваю по двум причинам: если бухнуть побольше порошка и залить ванну до самых краев, то за ночь грязь на белье основательно разъедается, заодно и ванна отбеливается превосходно.

Когда Зайчик встала, завтрак был у меня в ажуре, белье на балконе, чай в термосе. Единственно, я сам не успел еще побриться, а Зайчик не любит, чтобы ей мешали, когда она в ванне чистит зубы и принимает душ. Умывается она, действительно, как настоящий зайчик, намочит маленькую лапку и поводит ею по глазам — все умывание.

С десяток лет назад она грозилась каждое утро принимать прохладный душ для закали и заниматься физзарядкой — и действительно все это делала... три дня. Теперь ограничивается тем, что «гоняет жир» с помощью деревянного массажера, водит им осторожно (чтобы не было больно) по ребрышкам — вся физзарядка. Собственно, жир гонять ей тоже нет основания, она еще весьма дохленький Заяц.

Когда же наступает моя очередь мыться-бриться, Зайчик уже завтракает. Время от времени мне приходится быть наготове, чтобы услышать, как она тихонько по-вистывает по-детски: значит, надо подхватить протянутую тарелку или вилку, чтобы тут же их вымыть. У нас такой порядок: посуда моется сразу, а не складывается в раковине.

Потом мне надо свернуть и упаковать гамаки, посмотреть, не забыл ли я что-нибудь сделать, поторопить Зайца — она еще и не одета, — а через несколько минут нужно выходить, чтобы не опоздать на поезд.

Наконец Заяц примеряется к юбкам: которую надеть. У нее их аж две, так что есть над чем ломать голову. Но еще раздается ее «сердитый» возглас: «А постель кто заправлять будет? Пушкин?»

— По-моему, тот, кто последний встал. — В конце концов, есть у меня право голоса или нет?

Так и быть: заправляю постель. Но что это она делает у зеркала? Неужели хочет надеть какие-нибудь украшения, кольца? Так ведь Зайчик у меня свои «драгоценности» носит редко — обычно в тот час-другой,

когда выкупает в ломбарде, чтобы тут же и перезаложить.

Так и случилось, что молоко осталось все-таки на столе, я и не заметил. Тем более, что мысленно, когда выходили, я уже покупал Зайцу «Неделю» в газетном киоске, то есть гадал, в каком киоске можно найти «Неделю». Была пятница. «Неделю» в Москве продают по пятницам. Программу «Говорит и показывает Москва» — по четвергам, тогда я еще раньше встаю, чтобы успеть ее схватить,— Зайцу надо знать, что смотреть по телевизору.

Зайчик умеет быть ко мне и внимательной, она ведь тоже меня любит. Чтоб отблагодарить меня за вкусный завтрак, за мое внимание к ней, она говорит что-нибудь хорошее. Например:

— Когда я умру, Лапсетик, и буду там лежать, в земле, ты свари вкусный кофе и приходи ко мне на кладбище. Поставишь две чашки, нальешь и скажешь мне: «Зайчик, я тебе кофе принес»... Ты же знаешь, как я люблю кофе. А я к тебе приду во сне и скажу: «Во! До чего же вкусно было!»

Зайчик показывает большой поднятый палец, который сам по себе очень небольшой.

— А если ты раньше умрешь, я куплю хороший коньяк, себе возьму кофе, приду к тебе на кладбище, налью тебе стаканчик, себе кофе...

— А я тебе во сне скажу: «Что же ты мне такое притащила, старушенция милая! Забыла, что ли, что я с июньского переворота не пью!!!»

Да, мы собираемся в лес, идем поискать малины, земляники, черники, грибов — все равно чего. Зайчик обожает что-нибудь искать в лесу. Ах, какая радость, если находит! Это надо видеть. Я люблю это наблюдать. А для меня лесные поиски просто полезны оттого, что не люблю бегать ни трусцой, ни рысцой и не делаю физзарядку (выстираю полную ванну белья — вот и физзарядка), так что лишний раз наклониться за какой-нибудь ягодкой очень даже полезно.

Но я сейчас поймал себя на чем-то таком, что мне вообще-то не нравится ни в себе, ни в других. В средневековые настоящий мужчина не боялся смерти и дрался на шпагах, гарцевал на коне. Во все века мужчины преодолевали трудности: в этом и заключался как будто главный смысл мужественности. Конечно же, она заклю-

чает в себе еще и защиту слабых. Само собой, и благородство, великодушие.

Сегодня везде в печати стало модно укорять мужчин (у юмористов да сатириков эта тема — дежурное блюдо): в разных, весьма схожих пересказах говорится о том, как немужествен мужчина в наше время, не помогает жене в домашних делах и еще, подлец, меньше ее зарабатывает, а местами вообще болван болваном, так что многие мужчины (прижали бедных) не нашли ничего умнее, как стирать, убирать, одним словом, помогать женам. Но это как раз умно. А глупо другое: они стали об этом громко орать. Это уже не мужественно: помогать помогай, но не ори как дурак. Именно такую черту я в себе и заметил. В свое оправдание я единственно пытаюсь объяснить, что у меня это от чрезвычайного расположения к моему Зайцу.

Она, естественно, маленький человек, таких обычно не замечают, потому что они не лезут на глаза, им это не особенно, и вот — любовь! Какая?

Конечно, она мой друг уже более пятнадцати лет. Я не был в нее влюблен. Я никогда ее не ревновал. Ревновал я только Тийю во Фленсбурге. Но Зайчик настолько надежный друг, что ревности здесь просто-напросто негде пристать. Некоторые специалисты в вопросах любви утверждают, что если нет ревности — нет и любви. По мне — чепуха.

День обещает быть благосклонным к нам: небо чистое. Заяц с беспокойством спрашивает:

— Ножик не забыл в карман положить?

Не забыл. Складной нож, небольшой, он у меня в кармане на всякий случай: вдруг грибы попадутся. Но Заяц имеет в виду нечто другое, которое на ее языке называется «метр девяносто». Она боится того, который метр девяносто ростом, с серьгой в левом ухе. Его боятся и другие, действительно, не человек — зверь страшный. Он объявился в тех местах, куда мы в лес ходим. Насилует и убивает детей, режет на куски. Его ищут, не очень чтобы старательно, но ищут. На двери барвихинской почты выставлен фоторобот, напечатаны внешние данные и просьба к тем, кто с ним более близко знаком, сообщить органам милиции его адрес. Судя по слухам, таких знакомых у «метра девяносто» еще не отыскалось. Так что Заяц боится оправданно, хотя надеяться на складной нож...

Мы поднимаемся на перрон, минут через десять прибудет наш поезд. Пока прохаживаемся по платформе. Увидели очень смешного воробья. Тот, взлетев, как-то неожиданно исчез в железобетонном столбе. Таких столбов на железной дороге множество, в них небольшие круглые отверстия. Столбы пронумерованы, и мы пришли к выводу, что столб — дом воробья — номер тридцать пять.

— Зачем в столбах дырки? — тут же интересуется Заяц.— Может, это сами воробьи сделали?

Что ответить этому взрослому ребенку?

Подошел поезд. Нас чуть было не опрокинули плечистые мужики, нагруженные свертками, так они спешили ворваться в пустой вагон. Даже не извинились. Бог с ними, мы не стеклянные, в нас даже трещин не образовалось.

Мы устроились, расположились. Зайчик стала изучать «Неделю», а я все не мог расстаться с мыслью: куда люди везде и всюду спешат? Почему? Куда ни глянешь, всем некогда, все куда-то опаздывают, все бегом, все заняты, ни у кого нет свободного времени, всюду темп, всюду скорость, а жизнь в который раз требует опять ускорения.

Может быть, люди торопятся что-то главное сделать до прихода смерти? Но какой смысл? После смерти ведь никому ничего не нужно. Почему же не жить людям во всем мире размеренно-спокойно, со вкусом?

Бывает, надо спешить для личной выгоды. Так меня учил однажды не очень-то яркий писатель, автор детективных романов, в которых работники милиции все были ужасно милые, благородные, самоотверженные и душевные люди, даже не люди, а ангелы, кутившие для успокоения нервов трубки. «Надо тебе как можно больше писать,— учил он,— сейчас, пока ты еще молод; строчи и строчи, а деньги на книжку клади, потому как после, когда постареешь, много уже не напишешь; потому сейчас жми и денежки на книжку...»

Тут понятно: человек спешит обеспечить себя на черный день, боится в старости остаться без куска хлеба, хотя в нашей стране мне такое как-то не представляется. Но почему человечество спешит вообще?

В связи с этим вспоминаю интервью с другим писателем, который из скромности тоже не называет себя писателем (у многих из них это сейчас стало модно, меня такая тенденция не касается, потому что не имею

оснований быть нескромным). Но дело не в том, кем он себя считает — им написано достаточно много познавательных романов,— мне не понравилась его немного деланная жизненная позиция, образ жизни, который он как бы категорически считает единственно правильным. Он так и сказал: «Я живу правильно». Конечно, если ты никому не в тягость (а это еще неизвестно), если не живешь за чей-то счет, значит, в общем правильно. Но мне непонятна эта неестественная одержимость, когда: «Я не читаю художественную литературу — нет времени»; «Я пишу по ночам» (собственно, какое мне дело до этого, как и до того, сколько раз в день он питается); «Я встречаю Новый год за письменным столом — работаю»; «И в свой день рождения — работаю, и в праздники — все за письменным столом, и некогда мне отвлекаться (хотя не считает себя писателем.— А. Л.), потому что надо писать, писать, писать...»

Я и раньше таких встречал. Это особая категория людей. Они живут и пишут, представляясь такими мучениками труда, подвижниками, ежeminутно проявляющими героизм, словно они приносят себя в жертву во имя спасения человеческого рода. И все остальное вокруг — второстепенно. В жизни они капризные, но достаточно волевые, а как они строги!.. О, они — судьбы. Они жутко требовательны ко всему, даже если сами непринципиальны. Главное, им всегда некогда, они спешат. А я задаю себе вопрос: я работаю для того, чтобы жить, или живу для того, чтобы работать? Не хочу судить кого бы то ни было, сам же все-таки предпочитаю работать, чтобы жить, а не наоборот.

Я люблю жить. Люблю радоваться жизни. Нет, я не герой. Что же касается радостей — я сейчас рад, что рукопись последней книги про Серого Волка приняли. Но я и в недоумении: раньше мне объясняли, что направление у меня неверное, и я ушел в лес у Черного озера. Отсидевшись в лесу, вышел из него и оказался неожиданно на верном направлении. Как же я, сидя в лесу, на дороге выкарабкался?

Итак, я сдал рукопись и ждал, что скажут. Если скажут, что мысли мои — мое личное дело, это одно. Но если сообщат, что они пригодны для редакции, тогда это уже моя работа.

Ждать решения редакции хорошо нормальному человеку, признающему, что главный редактор — тоже человек

какой ни на есть, с этим нельзя не считаться. Поэтому ненормально звонить ему по ночам и грозить подпалить его дачу...

Дачу я не подпалил, но ждать было тревожно.

Рецензия оказалась короткой, деловой и, что важнее всего, положительной; главный редактор, правда, вспомнил о моем добром намерении относительно его дачи, даже «признался», что нарастил забор вокруг нее (можно, конечно, и подкоп сделать...), но в конце концов это было задолго до июньского переворота, когда везде еще свободно продавался дешевый одеколон.

Рецензент, известный критик, посоветовал автору пожертвовать многими страницами из рукописи. Он дал сей совет весьма деликатно. Я раньше не слышал об этом критике. Естественно, побежал в библиотеку и спросил, есть ли его книги. Их оказалось несколько. Прочитал. Согласился: свое дело знает. Во многом наши взгляды совпадали, особенно мнение о неискушенном читателе. Этот термин — «неискушенный» читатель — я узнал из редакционного заключения одного из давних моих редакторов, человека педантичного, дождавшегося с нетерпением (уже дождавшегося) выхода на пенсию. По его мысли выходило, что, когда пишешь, надо ориентироваться на с трудом работающие шурупы этого якобы существующего читателя. Потому что, если ты сумеешь написать так, что будет понятно и ему, тогда понятно всем, и редактор может спать спокойно. Но мне непонятно до сих пор, почему надо ориентироваться на дураков, чтобы и умные тебя понимали? Боюсь, что от такого моего старания сочтет меня болваном и неискушенный читатель.

Похожесть наших взглядов с критиком на сей предмет расположила меня к нему доверительно. Здесь-то я и догадался, почему в Эстонии авторам позволено самим себе выбирать рецензента (автор там рекомендует издательству отправить его рукопись такому-то), которого хорошо знает, кто и его, естественно, понимает: дело в доверии.

Краем уха подслушал я суждение о том, что в повествовании чрезмерно много эпизодов пьянства. Но их гораздо меньше, чем бывает в жизни у тех, кто выпивает. Не зря я вспомнил Джека Лондона и его «Джона Ячменное Зерно». У него сплошная пьянка, в которой до конца жизни участвовал на разных уровнях и сам Лондон.

Будучи честным человеком, он рассказал об этом предельно правдиво. Если бы он из каких-либо «нравственных» соображений в книге немного изменил жизнь, она в действительности не стала бы лучше, и автору дней не прибавилось бы. Что же касается наших дней — мы вовремя спохватились, но рано думать, что дело теперь обернется благополучно.

Конечно, что говорить, редакторы и читатели — народ придирчивый, но редактор больше, потому что читатель за то, что он прочитывает, ни перед кем не отвечает. Редактор же, поскольку он имеет специальное образование, должен все делать по своей науке, а это нелегко, потому что отыщется начальство, которое тоже бывает придирчивым: и это не так, и то не эдак, а читателю и начальству — им трудно угодить.

Но почему все-таки спешит человечество? Может быть, потому, почему и я утром чуть свет встаю, когда надо купить что-нибудь дефицитное? Может быть, потому, почему я в те очень ранние часы встречаю людей, спешащих занять очередь у нашего мясного магазина? Может быть, люди везде в мире наращивают темпы, чтобы быть во всем первыми, чтобы получить все, что получше и больше? Но почему спешат, лишая покоя себя и других те, у кого всего уже вдоволь? Все спешат, чтобы достать, умножить, обеспечить. Кого? Себя, близких своих — жен, детей, любимых. Конечно, я не один такой, который любит жизнь. Есть и другие, и они тоже имеют кого-нибудь, кому им хочется делать радость. В конечном счете, разве каждый нормальный человек не должен любить жизнь и испытывать удовольствие от радости близких?

Но ведь какой кошмар! Какой парадокс! Именно из-за этой самой любви к нашим детям, мне кажется, человечество и развивается в обратную сторону, потому что любовь к детям (неразумная любовь) стала питательной средой для взращивания эгоизма. Говорят, любовь слепа. То-то и оно. Дедушки и бабушки, пережившие трудное военное время, хотели, чтобы их детям жилось лучше, и в целом избаловали их.

Дети этих дедушек и бабушек, будучи сами воспитаны в духе всепоглощающего инстинктивного чадолюбия, естественно, не могли (это было бы даже нелогично) не испортить в свою очередь собственных детей, которые

затем это же передают своим детям, продолжая усиливать уже прилично развитый эгоизм. Так что, если все же встречаются в жизни маленькие люди, совершенно лишённые эгоизма, какими же они должны быть «выродками»!

Духовное развитие людей по такой схеме не может не привести человечество к катастрофе. Может быть, в этом и первопричина всех возрастающих скоростей — они от жадности? От стремления опередить, чтобы захватить. Захватить, чтобы иметь. Иметь, чтобы обеспечить... себя и детей своих.

При этом жизнь развивается странно, как бы двулично: одно лицо — перспективной ориентации, смотрящее в далекое будущее (расчеты экономического состояния через десять, двадцать, сто лет), другое лицо, всматривающееся в близкую гибель всей жизни на планете: все чаще встречаются обыкновенные люди, нормальные, но удрученные, которые обнаруживают в беседе тоскливую какую-то обреченность: «Ах, как стало жить неинтересно» (откуда у человека творческий запал, откуда энтузиазм, если жить стало неинтересно?!), но неинтересно потому, что в сущности стало страшно.

Действительно, сколько раз в день теперь нормальному человеку множество специалистов со всех экранов объясняют со знанием дела количество накопленной в мире взрывчатки, которой собираются ужокошить и его, и его детей (причем защищаться и прятаться смысла нет, потому что ты даже на лифте не успеешь спуститься, как ОНО или ОНА тебя настигнет). Что же тут в жизни интересного?!

Поэтому-то, видимо, и увеличивается с каждым днем «армия» уходящих в природу, чтобы здесь, на лесных тропах, отключиться, приостановиться в беге жизни, в этом бесконечном марафоне. Было бы, конечно, лучше, если бы приходящие в природу из города оставляли там, откуда они идут, некоторые свои привычки, хотя бы учли, что в лесу, увы, нет мусоропроводов.

В Барвихе, в Раздорах повсюду игровые площадки, собирающие людей всех сословий, здесь замечается особый кодекс общения, здесь люди немного другие, не такие, как в городе, хотя часто встречаются и те, кто и сюда приносит свои городские заботы. Но меня лично очень удовлетворяет то, что все больше и больше встречаем мы в лесу дедушек и бабушек, которые сумели освободить-

ся каким-то образом от господства своих внуков и внучат. Как сказала однажды Зайчишка: «Бабки-ёжки, костяные ножки, вырвались на свободу»... Хотя, не будь меня, она сама давно была бы «в плену». Правда, разговоры, как ни послушаешь, конечно же, о них — о молодежи, которая «ничего делать не хочет», и о внучатах. Душой-то они всегда с ними.

Встретили в лесу мужчину. Сообщил, будто ему из совершенно достоверных источников известно, что водка скоро опять будет везде свободно продаваться в любое время, очередей не будет, но стоимость станет одиннадцать рублей пол-литра... «И бери, сколько хочешь».

Я выразил сомнение, Зайчишка удивление: неужели? Мужчина — он тоже что-то искал в траве — авторитетно повторил: «Да-да, будет как было, только подороже...»

Подобные слухи и раньше доводилось слышать. Так высказывалось желаемое, мечта. Я не стал возражать, но Зайчишка испугалась: «Какой ужас! Какой кошмар!» Я объяснил, что этого не может быть, потому что не должно. Конечно, тяжело так сразу отвыкнуть от водки тому, кого десятки лет приучали к мысли, что виноделатели не зря ежегодно перевыполняют план, так что и потребителю необходимо поднажать; тяжело нормальному человеку такое (какое никому и не снилось) переосмыслить, но если будет еще тяжелее, он все-таки не помрет. Цены бесконечно поднимать смысла тоже нет, лишь прибавятся обездоленные дети, потому что алкаш семью обокрадет, но за водку любую цену заплатит. Так что слухи — они слухи и есть, иначе незачем было затевать драки, ведь обесценятся все авторитетные высказывания и благие намерения.

— О чем мечтаешь, Лапсет? — Зайчик оторвалась от своей любимой «Недели». — Вот пишут про жуликов, разоблачили, послушай...

Она редко прерывает мои «мечтания», но если в какой-нибудь газете она вычитает что-нибудь такое, о чем ей хочется сразу прочитать мне, — тут уж никуда не денешься. Я и не возражаю, мне это даже удобно. Я сам в последнее время стал лениться читать, не люблю уже почему-то, все кажется знакомым: или уже раньше что-то похожее читал, или говорили. А Зайчик то в одной, то в другой газете самое значительное вылавливает и в электричке вслух мне прочтет, всегда с напутствием: «обязательно прочти это».

Слушаю ее одним ухом, гляжу в окно одним глазом и думаю, что все возрастающая спешка была бы человечеству, пожалуй, не нужна, люди могли жить без нее, если бы жили мирно.

Опять чувствую себя одновременно везде в мире.

Почему у меня такое престранное мироощущение? Непонятно. Видимо, от сознания, что когда кончается моя жизнь — все равно как это произойдет, — для меня кончается жизнь на всей планете и во вселенной. Каждый человек объединен со всем в мире посредством жизни. Наверное, есть люди, которые это уже знают. Я же еще только стараюсь постичь.

Однажды в Тарту Волли (еще не Олев), который очень спешил, чтобы успеть в магазин до закрытия, когда я над ним за это насмехался, спросил чуть обиженно:

— А ты, значит, не спешишь?

Вообще-то, несмотря на мою не слишком спокойную жизнь, я действительно не проявлял нигде особой спешки, за исключением тех случаев, когда приходилось удирать.

— Ты, стало быть, не спешишь, и что... счастливый?

— А разве нет? — ответил я Волли. — Я зрячий человек, вижу, что делаю и как живу, на больных, но на своих еще ногах двигаюсь; не подвержен обжорству, пить и курить, слава богу, бросил наконец; и если мне кто-нибудь даже не поверит (какой-нибудь читатель), ничего удивительного — словам теперь мало кто верит, тем более словам того, кто бесконечно врет. Но мне-то надо было оставить эти радости не для того, чтобы кого-то убедить, а для того, чтобы раньше времени не окочуриться; дальше — меня уже давно не преследуют участковые инспекторы. А если меня опять прооперируют в какой-нибудь больнице — что ж, люди стареют, а их болезни молодеют. Но сказал же Кола Брюньон, что могло быть и похуже: я тоже мог и вовсе не родиться.

Если продолжить эту мысль: счастлив ли я? Конечно. Я никому не завидую, доволен едой и одеждой, потому что знал и голод и холод (а все познается в сравнении). Но главное в том, что я отучил себя завидовать тем, кто умнее и удачливее меня, — не все же люди жулики. Удача главным образом зависит все-таки от твоих способностей, таланта, знаний или стараний. Если же ты бестолочь и к тому же ленивый — за что тебе удача?

«Тогда тебе для жизни и овса довольно,— сказал бы Волли, если бы наш разговор имел продолжение,— как цыпленку или воробью... Дешево жить: не пьешь, не куришь, на вырезвитель не тратишь. Мясо тебе не нужно, только крупа и минералка... Ради чего тебе стараться?»

Что я мог бы ответить?

Однажды я лежал в траве на поляне, грелся на солнышке, а надо мною летали военные самолеты на большой высоте. Что они были не гражданские, о том говорило их поведение, а также скорость: самолет беззвучно пролетел, он уже черт знает где, а звук еще только надо мной. Я думал о летчике: как ему там? Хотелось бы ему поменяться со мной местами? Он, может, и хотел бы валяться, ни о чем не думать, но ему нельзя, он — летчик, это и профессия, и обязанность. Надо полагать, он не ради только собственного удовольствия под небом гремит, он задание выполняет, а задание, вероятно, в том заключается, чтобы проследить, не приблизится ли к столице что-нибудь ненужное; а еще, если поступит команда, пойти и обезвредить это «что-нибудь», даже если для него это верная гибель. Так что он дежурит, он там наверху, в сущности, на посту, охраняет мирную жизнь, в том числе и мою.

На горных пастбищах вожак горных козлов взбирается на возвышение обозревать окружность, чтобы никто незаметно не подкрался к его мирно пасущимся козлятам. Люди в древности тоже сторожили свои поселения на сопках или сидели на деревьях. Теперь с дерева уже ни черта не видно, надо подняться под небеса или в космос удалиться, чтобы быть в курсе земных дел и обеспечить жилищам своего народа безопасность. Работа эта, вероятно, не из легких. Но в метро мы ему место не уступаем, он — мужчина.

А я? Что могу сделать полезного для него? Я, который в траве валяется? Разве что справедливо и объективно осмыслить его сущность, его значимость для всей нашей жизни. И свою... в сравнении.

Людей в мире много. Все друг от друга отличаются. Есть гениальные, одаренные, простые. Совсем ничего не умеющих людей, наверное, быть не может. Кажется важным, чтобы то, что человек умеет, было полезно хоть сколько-нибудь: гениальный может быть полезным целым народам, одаренный — какому-нибудь количеству, просто человек труда — конкретному делу, но в результате —

всем. Так что для меня здесь вопрос не в том, сколько. Для меня он в том и заключается: что?

Много ли, мало ли, но в том, что мне делать доступно, в этом хочется добросовестным быть, и в конечном счете судьба каждого человека — не случайность, а результат, потому что о судьбе можно говорить уже на исходе человеческой жизни, когда она свершилась. Пока человек жив, судьба его может изменять свои очертания — зависит от самого человека. Следовательно, мне можно сказать: моя судьба — мое дело. И здесь-то уместно вспомнить одну из многих мыслей, высказанных старым учителем, отцом Таймо: «Даже неудачно сложившуюся судьбу надо честно дожить». Мудрая и справедливая мысль!

А что, собственно, значит «неудачная судьба»? Помнится, я однажды высказал свое соображение одному районного масштаба журналистике, чистой воды конторской крысе, написавшему обо мне шаблонную характеристику: человек с трудной судьбой. Это я? Нет, это он — человек трудной судьбы. В моей жизни были и тюрьмы и избиения, голод и страдания, любовь и ненависть, но это же нормально, это жизнь. Ему же я не завидую: примерный ученик, примерный комсомолец, примерный служащий, с начальством по телефону — стоя, всю жизнь в теплой душной конторе, идеалы — машина, дача, собака... Соответствующая жена, разумеется. И это жизнь? И это благополучная судьба? Мне-то мою судьбу честно дожить проще, чем такому.

Зайчик читает «Неделю». Наш поезд приближается к станции Ильинская. Затем будет Усово — конечная. Здесь нам выходить. Мы побежим на автобус, который следует до остановки Горки-II. Если же его не будет, пойдем пешком. Радио в нашем поезде многообещающе заскрипело, потом заговорило: «...молодежь, не держите двери, поезд не пойдет до тех пор, пока...»

Кто-то из пассажиров, сидящих сзади нас, говорит: «Никто там двери не держит, просто они испорчены — одни не закрываются, другие не открываются». Заяц выглядит озабоченной.

— Лапсет, если двери не работают, как же мы выйдем? — спрашивает она робко, на мордашке испуг.

— Зайчик, — объясняю «ребенку», чтобы не волновалась, — у двенадцати вагонов в нашем поезде двадцать четыре двери в одну и другую стороны, и никто не

сказал, что речь шла о дверях именно нашего вагона. Что тебе бояться?

...Если бы я объяснил Волли, что мне нужно доставлять радость и моим друзьям. Например, Таймо. Чужой человек? Как бы не так! Если меня упрекнули, что я люблю тех, кто ко мне хорошо относится, как же мне тогда быть с теми, кто относится ко мне с любовью? Это ведь накладывает ответственность. Что ждет Таймо в конце ее пути? Одиночество. Ей надо объединиться с другими такими же, и тогда — где это одиночество? Здесь, в Барвихе, люди общаются по двадцать лет; одинокие в городе, здесь они — в своем обществе и все равны — и генералы, и рядовые, ученые и рабочие. А чаще всего люди и не знают, кто есть кто. Человек! И того довольно. А кто человек, тот по поведению узнается. Таймо по своему поведению была бы причислена к очень хорошим людям. На игровых ли площадках, в походах ли с рюкзаками — все здесь в своей компании, даже если в одиночку бродят. В большинстве все друг к другу доброжелательны, во всяком случае не хамят, вернее, очень редко такое встречается. Домой идут лишь ночевать, и многие остаются одни, но... ночь минует — и впереди опять день в природе. Вот бы и Таймо приобщиться. Здесь, наверное, без моего участия не обойтись.

Она столько лет терпела твою совершенно ничтожную сущность, помогая освоить заново родной язык, который, будучи бродягой, ты забыл. Теперь и ее судьба — твоя забота, тем более, когда у человека нет близких и настанет время, когда ноги и плечи уже не смогут справиться с тяжестью почтовой сумки. А потом... Кто больше всех мне верит? Зайчишка очень скромна и малотребовательна в жизни, но и у нее, если ей удастся изредка насладиться бутербродом с икрой — праздник (а это бывало только когда выборы). Для этого мне тоже постараться надо!

— Вот это да! — Зайчишка на что-то показывает из окна. — Взобралась на самую верхушку... сидит, и голова у нее не кружится.

Это у вороны, оказывается, не кружится голова. Зайчишка не переносит высоты — теперь завидует вороне.

Осень. Ах нет, еще не осень, еще только август, но лето уже не как лето, а как... я сам теперь, когда мне стукнуло пятьдесят пять, когда уже «перевалило».

Погода стоит отличная, и вода в барвихинском «море» теплая, и воздух хорош, но... перевалило.

Здесь все напоминает мое милое Черное озеро в Эстонии, но мне уже пятьдесят пять, и лето перевалило к осени. С этим ничего не поделаешь. Заяц осенью всегда грустит — ей жалко расставаться с летним теплом. Утешаю ее всегда тем, что логично по сути своей: не будь осени — не бывать весне. А погода — что на нее роптать? Она всегда хороша: чем дольше нет дождя, тем он желанней; если долго льет дождь — тем радостнее солнце, когда появляется; если долго не везет в жизни — тем значительнее удача, пусть небольшая. А в постоянном везении теряется представление о счастье. Верно, Заячик? Простые премудрости.

ЭПИЛОГ

Однажды летом я прибыл в Тарту, как всегда, не предупредив Таймо. Когда я шел с вокзала на Пуйестее, город был еще сонный, но уже просыпался, уже спешили тут и там прохожие. На Пуйестее было тихо, недалеко от дома Таймо опять встретился трубочист. Как я и боялся, ключ свой вставить в замочную скважину не мог: ее ключ был оставлен изнутри в замке, специально, чтобы вор своим не мог открыть. Надо было бросать в окно камешки.

Таймо выглянула уже после второго броска. Не спится ей, подумалось мне. Ведь на почту еще рано. Таймо, отодвинув шторку, приставила ладонь к воображаемому козырьку, приветствуя меня таким образом по-военному. Вскоре она спустилась и открыла дверь.

— Ты опять не написал, я бы уборку сделала...

Ну ее с этой уборкой! Мне ли не знать, насколько это реально. Я был готов встретить как всегда беспорядок: невытую посуду и прочее мне уже привычное. Но...

То, что открылось моему взору, когда я вошел, было неожиданным даже для меня: меня обляяла маленькая черная, с гладкой шерстью, острыми ушками при остренькой мордочке собачка, не переставая в то же время махать хвостом и вилять задом наподобие современных эстрадных певцов, что говорило о ее неиспорченном еще доверии к людям; а иначе и быть не могло — ей было

всего лишь пять месяцев от роду, и была она сука, хотя звали...

— Это Понду-Накс,— представила ее Таймо, улыбаясь, с такой интонацией, какая свойственна мамам, когда они кому-нибудь представляют своего ребенка. Понду-Накс подпрыгивала, стремясь лизнуть меня в нос.

Но как выглядела кухня! Я не стану долго описывать этот свинарник: полно тряпок, одежды, обуви, бумаг, щепок, корок, костей... Но вот семь разной величины тарелок на полу свидетельствовали о том, что Понду-Наксу сервируют по утрам и первое, и второе, и компот, и кофе — все в различную посуду.

Когда же я вошел в комнату, то был сражен, ибо понял: я снят с пьедестала. Да, я оказался низвергнут: мой портрет в раме на телевизоре был заменен портретом Понду-Накса.

Наутро, когда я проснулся, из кухни слышался голос Таймо. Она разговаривала с Наксом, объясняя ей, куда она должна идти, что должна делать за день, что принесет Наксу из магазина вкусного, и она поинтересовалась, как по мнению Накса,— придет ли сегодня печник или нет... Накс не отвечала, был слышен частый стук, и я знал, этот стук издает Накс хвостом, которым, сидя, стучит об пол, глядя при этом влюбленно в глаза Таймо. Я сущность этой собаки в предыдущий день изучил; она со мной играла, ластилась, около меня спала даже, но ее ушки весь день выжидали ей знакомых и единственно важных звуков прихода Таймо. И тотчас я был забыт, а Понду-Накс вьюном вертелась у порога входной двери, издавая неподражаемые звуки собачьей радости: «ниу-ниу», «ниу-ниу».

Я крикнул им в кухню, что я проснулся. Обычно мне желали в таком случае доброго утра. Сейчас же на мой крик никто не отзывался. Спустя некоторое время мне тем не менее принесли и поставили на стол рядом с кроватью чашку черного кофе с куском черного хлеба без масла. Вероятно, у Таймо с деньгами туго, подумалось, и я ругал себя за то, что не догадался у нее об этом спросить. Когда же, одевшись, я вошел в кухню, чтоб уточнить обстановку, я в изумлении улицезрел, как Понду-Накс с огромной тарелки с голубой каемкой пожирает яичницу по меньшей мере из десяти яиц, с кусками чайной колбасы...

Уходя на работу, Таймо попросила, если буду выхо-

дить из дома, включать для Понду-Накса радио, особенно если будет скрипичный концерт: оказывается, Понду-Накс большая поклонница Паганини.

Когда я через несколько дней уезжал, Таймо и Накс провожали меня на вокзал. Садясь в поезд, я подумал: все естественно, логично и правильно, ибо друг, который приезжает лишь когда ему это удобно и нужно,— хуже друга, который никогда не уезжает.

Тарту, 1985

Ахто Леви

Л—36 Посредине пути: Роман.— М.: Современник,
1990—239 с.

ISBN 5-270-00732-0

Имя Ахто Леви известно читателю по его книгам: «Записки Серого Волка», «Бежать от тени своей», «Улыбка Фортуны». Новый роман «Посредине пути» — прямое продолжение прежних его книг. Это монолог человека, который вспоминает свою прежнюю непутевую жизнь, годы тюремного заключения и скитаний, людей, встреченных на жизненном пути.

4702010200—014 90—90
М106(03)—90

ББК84Р7

Ахто Леви
ПОСРЕДИНЕ ПУТИ

Роман

Редактор **О. И. Уварова**
Художник **В. И. Бобров**
Художественный редактор **А. В. Дианов**
Технический редактор **Е. А. Васильева**
Корректор **Т. Г. Люборец**

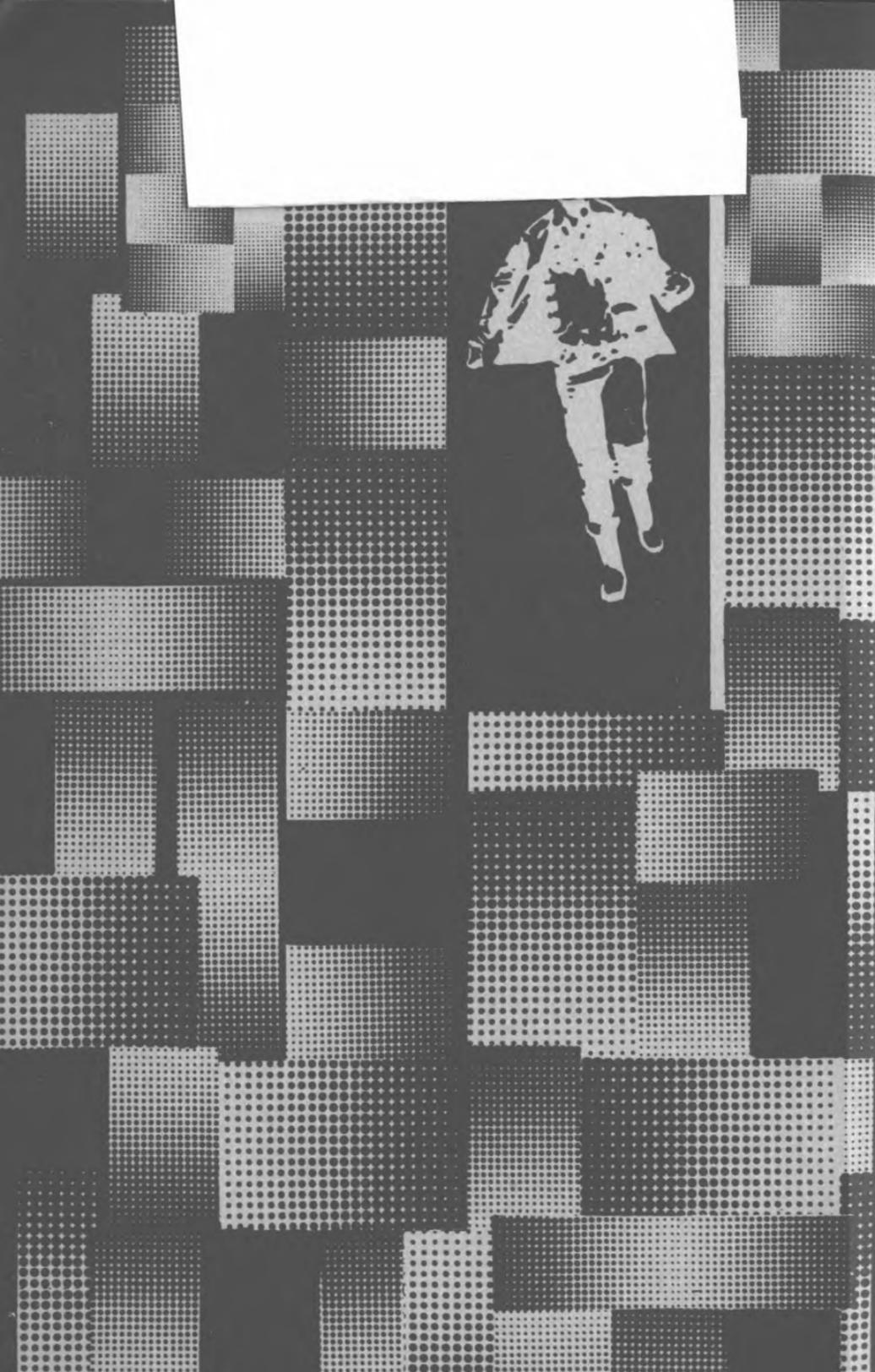
ИБ № 5546

Сдано в набор 10.05.89. Подписано к печати 13.10.89. Формат 84X108¹/₃₂.
Гарнитура литер. Печать высокая с ФПФ. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 12,6.
Усл. краск.-отт. 13,02. Уч.-изд. л. 13,68. Тираж 50 000 экз. Заказ 422.
Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей
РСФСР

123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Государственного комитета
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30





3 9352 01871644 9



PG
3483
E32
P67
1990

====

SUZALLO MAIN
COLLECTION